

СВОБОДА угнетать...

Писатели Англии
о США

«СВОБОДА угнетать...»

*Писатели Англии
о США*

Художественная
публицистика

Перевод с английского



Москва «Прогресс» 1986

Составитель и автор комментариев

к. ф. н. *М. П. Тугушева*

Автор предисловия д. ф. н. *В. И Шестаков*

Художник *Б. С. Казаков*

Редактор *А. Н. Панкова*

В работе над сборником принимал участие д. ф. н. *Д. М. Урнов*

Англичане и американцы связаны между собой многими узами. Прежде всего, это общность истории. Ведь именно англичане составляли большой процент иммигрантов, заселявших новый континент и основавших здесь колонии, в том числе и пуританскую «Новую Англию». Не последнюю роль играла, конечно, и общность языка. Ведь обе нации говорят и пишут на одном и том же языке — фактор, довольно редко встречающийся в истории. Наконец, США и Великобритания имели тесные экономические, политические и дипломатические связи на протяжении всей истории. Об этом написаны десятки исследований, научных трактатов и популярных книг¹. Наконец, обе страны входят в общий военно-политический блок, нацеленный против стран социализма и СССР. Американские военные базы и ракетные установки густо разбросаны по территории Англии. Все это служит не только для устрашения «потенциального противника», но и для превращения Великобритании в

¹ Cambell Ch. *Anglo-American Understanding. 1898—1903*. Baltimore, 1957; Nicholas H. G. *The United States and Britain*, Chicago and London, 1975; Roberts H. and Wilson P. *Britain and the United States: Problems in Cooperation*, N.Y., 1953; Russet B. *Community and Contention: Britain and America in the Twentieth Century*, Cambridge, 1963; McDonald J. *Anglo-American Relations since the Second World War*, Newton Albot, 1974; Nevins A. *America through British Eyes*, N.Y., 1948.

послушного союзника американской военной и политической мощи.

Однако при всем этом между англичанами и американцами существует множество различий, которые дают себя знать буквально в любой области, начиная от политического устройства и кончая особенностями национального характера. Различия существуют даже в общем языке. Не случайно Оскар Уайльд однажды остроумно заметил, что англичан и американцев разделяют барьеры общего языка. Этот парадокс верно характеризует особенности произношения, акцента, словоупотребления, характерные для обеих наций. Эти различия существовали в прошлом, существуют они и сегодня, и, думается, что они отнюдь не исчезают, не сглаживаются по мере усиливающейся американизации, которая распространяется на все страны Европы, в том числе и на Англию, а напротив, усиливаются и порождают естественный протест, выливающийся в спорадические взрывы антиамериканизма.

В особенной мере противоречия США и Великобритании отражаются в области культуры.

Образ Америки, каким он предстает в английской литературе и общественном мнении, отражает не только американскую действительность, но и специфические — социальные, культурные, психологические — противоречия, существующие между обеими странами.

Каждая страна по-своему открывала Америку. Есть своеобразие в отношении к этой стране, ее истории, культуре, традициям и у французов, и у немцев, и у русских, и у других наций. Именно это своеобразие и создает в целом тот неповторимый — своеобразный — образ Америки, который может быть понят только в контексте определенной национальной традиции. Это объясняется, очевидно, не в последнюю очередь тем, что каждая европейская нация рассматривала Америку под углом зрения своих собственных проблем, и именно поэтому для многих европейцев Америка была не столько географической, сколько психологической реальностью, тем, что определяется термином «американская мечта».

«Американская мечта стала частью культурной традиции Европы... — пишет американский ученый Дж. Чайнард. — Как состояние ума и как мечта Америка существовала задолго до того, как ее открыли. С самых ран-

них дней западной цивилизации люди мечтали о золотом веке... С первыми сведениями о Новом Свете возникло ощущение того, что мечты и стремления становятся фактом, географической реальностью, открывающей неограниченные возможности»¹.

Что же такое американская мечта? Какой круг представлений, моральных ценностей, политических идеалов она отражает?

Американская мечта — сложный комплекс идеалов, надежд и представлений, характерных для американского общественного сознания. Он включает в себя веру в будущее Америки, надежду каждого американца на достижение личного успеха, «равенство возможностей» и «стремление к счастью».

Американская мечта возникла как идеал победившей буржуазной демократии. Она была органично связана с освободительными традициями американской и французской революций, она возникла из недр борьбы за независимость. На исторической почве XVIII века — в период краткого подъема буржуазного общества — обрела свою силу и величие американская мечта, которая в то время носила ярко выраженный антифеодальный характер и по своему содержанию определялась идеалами буржуазной демократии. Главное содержание этой мечты заключалось в вере в безграничные богатства Американского континента, в надеждах на свободу от сословных и религиозных ограничений, на то, что каждый отдельный человек, если он будет упорно стремиться к цели, добьется успеха и получит свой шанс в «стремлении к счастью» — право, записанное в основном документе американской демократии «Декларации независимости».

Правда, по мере своей эволюции американская мечта постепенно утрачивала демократическое содержание. Она оказывалась в вопиющем расхождении с действительностью, вырождалась в официальный политический лозунг, в рекламу «американского образа жизни»².

¹ Литературная история Соединенных Штатов Америки. М., 1977, т. 1, с. 245.

² Об эволюции американской мечты и ее месте в американской культуре см.: Голенпольский Т. Г., Шестаков В. П. Американская мечта и американская действительность. М., 1981; Шестаков В. П. Судьбы «американской мечты» в художественной культуре США. — В сб. «Художественная культура США в социально-политическом контексте 70-х годов XX века». М., «Наука», 1982.

Америка, ее природа и люди, ее будущее и настоящее, идеалы и действительность, судьбы американской мечты — постоянная тема английской литературы. Английские писатели, побывавшие в Америке, описывали ее нравы, обычаи, быт, ее социальные институты и учреждения, характеризовали американскую политическую жизнь, судопроизводство, систему образования. К этой теме обращались Ч. Диккенс, Р. Стивенсон, О. Уайльд, Р. Киплинг, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Д. Г. Лоренс, О. Хаксли, Дж. Б. Пристли, Г. Грин и другие. В этих сочинениях живой интерес к Америке сочетался с ощущением противоречия между высокими принципами американской демократии и реальным их воплощением, между американской мечтой и американской действительностью. Все это в целом создает сложный и противоречивый образ Америки, увиденной глазами английских писателей.

Начало этой литературе было положено путевыми очерками. Большинство из описаний Америки английскими писателями и путешественниками представляют собой большой исторический, этнографический и культурологический интерес. Они знакомят с различными сторонами жизни в США: политическим и социальным устройством страны, религией, моралью, искусством, литературой, особенностями американского национального характера, поведения, привычек, юмора и т. д.

Однако нельзя не видеть, что в английской литературе в большинстве путевых очерков об Америке преобладает критический тон. В отличие от других европейских авторов, например француза А. Токвиля, который в своем сочинении «Демократия в Америке» дал обобщенную картину общественной жизни в США, увидев в Америке «будущее Европы», английские писатели и путешественники смотрели на Америку ревнивым взором как на страну-соперницу, которая была связана с Англией родственными узами, но оказалась строптивым и непослушным пасынком. Поэтому случается, что в описаниях американской действительности частное превалирует над общим, предвзятая точка зрения довлеет над объективным подходом. Таковы общие особенности английского «образа» Америки, которые мы обнаруживаем во многих описаниях английских авторов. Здесь соседствуют любопытство и скепсис, живой интерес к стране и ирония, часто перерастающая в политическую сатиру.

Следует, правда, отметить, что крупные английские авторы смогли подняться над узким горизонтом ущемленного национального самосознания и в своих описаниях создали объективный образ Америки с ее противоречиями, достоинствами и недостатками. В первую очередь это относится к великому английскому писателю-реалисту Чарльзу Диккенсу.

Диккенс совершил первую поездку в Америку в 1842 году. Он посетил многие американские города: Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Филадельфию, Ричмонд, Балтимор, Питтсбург, Цинциннати, Луисвилл, Сент-Луис, познакомился со многими общественными учреждениями: школами, университетами, больницами, тюрьмами, судами, встречался с различными представителями американского общества, от кучера до сенатора. В результате появились его «Американские заметки», написанные в популярном для того времени жанре путевых очерков, хотя, на наш взгляд, значение этого произведения выходит за пределы жанра.

Знакомясь с различными сторонами американской жизни, Диккенс по-разному оценивает увиденное, и в его заметках мы находим самые противоречивые чувства, от явного восхищения до горького разочарования. Следует отметить, что писатель уезжал в Америку полный самых радужных надежд и желания увидеть там пышные плоды свободы и демократии. В чем-то его надежды оправдались, в чем-то они не выдержали столкновения с действительностью.

Диккенс не без восхищения говорит об отсутствии в Америке сословных барьеров, которые так ощутимы в Европе, о простоте американского судопроизводства, о чувстве собственного достоинства, свойственном простым американцам. Об индейце, с которым писатель встречается на борту парохода по пути в Луисвилл, он говорит как о «самом безупречном и прирожденном джентльмене», какого ему доводилось видеть. Не без юмора, но с уважением Диккенс рассказывает о сапожнике, пришедшем к нему в гостиницу снять мерку с башмаков, который вел себя как джентльмен на приеме у губернатора. Диккенс неоднократно отмечает деятельный характер американцев. В связи с этим он говорит слова, которые с успехом могли бы служить эпиграфом ко всему его сочинению: «В тех случаях, когда англичанин крикнул бы: «Готово!» — американец кричит: «Пошел!», что в

какой-то мере отражает разницу в национальном характере двух стран»¹.

Но многое в Америке разочаровало Диккенса и вызвало его открытое неприятие. И это относится не столько к странной привычке американцев жевать табак, к непривычным для слуха англичанина «американизмам» или отсутствию у американцев чувства юмора, о чем он пишет в своих заметках². Не это определяет отношение Диккенса к стране.

Главный объект критики Диккенса — политическая система и рабство, два института, которые вызывают у писателя чувство гнева и ожесточенную полемику. Здесь мягкий юмор и ирония, свойственные Диккенсу, перерастают в острую политическую сатиру.

Вот как он описывает, побывав в Вашингтоне, политические нравы, царящие в Капитолии: «Я увидел... колесики,двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-либо изготовляли самые скверные инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисные сделки с государственными чиновниками; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетенки, а кинжалами — наемные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами»³.

Это не значит, говорит Диккенс, что среди американских политиков нет людей с умом, что им всем чужды патриотизм и благородство чувств, но все эти качества потонули «в общем потоке лихого авантюризма людей, приехавших сюда в погоне за прибылью и наживой»⁴.

Еще с большим возмущением Диккенс пишет о рабовладении, широко распространенном в стране, и в особенности на Юге. Здесь черные рабы низведены до уровня самых низких тварей, злая воля белого рабовладельца вершит над ними жестокий суд и расправу. Вся шестнадцатая глава «Американских заметок» — это острый памфлет против рабовладения в Америке, которое, по мнению писателя, разрушает все законы природы и

¹ Диккенс Ч. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1968, т. 9, с. 164.

² Действительно, не понимая грубоватого американского юмора, Диккенс считал, что американцам свойственны мрачность, угрюмость и «унылая деловитость».

³ Диккенс Ч. Там же, с. 164.

⁴ Там же, с. 151.

общества. «Темнота не кожи, а духа, которую чужестранцы встречают на каждом шагу, огрубление и уничтожение всех прекрасных качеств, какими наградила человека природа, неизмеримо превосходит самые худшие ожидания»¹.

Итоги своего путешествия по Америке Диккенс подводит в последней главе «Американских заметок». Здесь он говорит об особенностях американского национально-го характера, отмечает его достоинства и недостатки. Он отдает должное откровенности, храбрости, сердечности и гостеприимству американцев. Но наряду с этим он называет и три недостатка, которые, по его мнению, свойственны их духовному облику. Это, во-первых, всеобщее недоверие и подозрительность, во-вторых, изворотливость, умение ловко обделявать свои дела и, наконец, в-третьих, деловой склад характера, который делает их приверженцами всего грубо практического и материального. «Для американского народа в целом, несомненно, было бы куда лучше, если бы американцы меньше любили реальное и немного больше — идеальное. Было бы хорошо, если бы в них больше поощряли беззаботность и веселье и шире прививали бы им вкус к тому, что прекрасно, хотя и не приносит значительной и непосредственной пользы»².

Такова картина Америки и американского национального характера, представленная Диккенсом в его «Американских заметках». Книга эта вызвала горячие споры. Писателя обвинили в предвзятости, в излишней строгости суждений. Но следует отметить, что критика Диккенсом политической и социальной жизни в Америке не имела ничего общего с консерватизмом, напротив, она велась в целом с демократических позиций, с позиций обличения рабовладения и выражала разочарование в «американской мечте», протест против рабства и политического авантюризма. Не случайно, говоря о свободах в Америке, он считает, что главная из них — это «свобода угнетать».

Через четверть века Диккенс вновь побывал в Америке и на обеде в Нью-Йорке выступил с речью, в которой отметил значительные перемены, которые произошли во всех сферах американского общества. В этом выступле-

¹ Там же, с. 171.

² Там же, с. 300.

нии он как бы смягчил свой первоначальный приговор американскому обществу, но в истории английской литературы именно «Американские заметки» остаются самым значительным критическим произведением, посвященным Америке.

Впрочем, Диккенс был далеко не единственным в Англии критиком американского общества. В прошлом веке многие английские писатели совершали путешествие в Новый Свет, публикуя затем свои путевые очерки. Среди них английская писательница Фрэнсис Троллоп, которая в 1832 году опубликовала книгу «Национальные нравы американцев». В этой книге Ф. Троллоп описывает свое путешествие по Миссисипи в 1828 году и одновременно рассказывает о быте и нравах американцев, о праздновании в Цинциннати Дня независимости. Описания Троллоп не лишены сарказма. «Четвертого июля,— пишет она,—сердца американцев словно пробуждаются ото сна, длившегося триста шестьдесят четыре дня. Они становятся бодрыми, веселыми, оживленными, общительными, душевно щедрыми—во всяком случае, тратят деньги, не считая,—и, если бы они хотя бы на время этого священного праздника перестали сплевывать, я сказала бы, что по крайней мере четвертого июля американцы кажутся очень привлекательными людьми».

Не менее ироничны и описания литературных кружков в Цинциннати. Фрэнсис Троллоп рассказывает о своей встрече с неким господином, слывшим ученым человеком, автором и издателем книг, который на деле оказывается абсолютным профаном, ничего не знающим ни о Байроне, ни о Попе, ни даже о Шекспире, но с апломбом рассуждающим о литературе. «Существует много причин,—говорит Троллоп,—почему всеобщий интерес к литературе в Америке невозможен». Одна из них, по ее мнению,—широкое распространение газет, которым американцы посвящают слишком много времени.

Некоторые книги, посвященные Америке, напоминают памфлеты. Писательница Гарриэт Мартино в своей книге «Общество в Америке» (1837) резко критикует рабство и критически оценивает положение женщины в американском обществе. Критический взгляд на систему политического устройства в США излагает крупный английский прозаик Энтони Троллоп в своей книге «Северная Америка» (1862).

Интересный и сложный образ Америки, ее восприятие европейцами нарисовал известный английский писатель Роберт Стивенсон. В 1895 году вышел его путевой очерк «Эмигрант-любитель». Для него, как он сам признается, Америка долгое время была землей обетованной, единственной страной, где продолжает действовать исторический прогресс. «Греция, Рим и Иудея,— пишет Стивенсон,— навсегда ушли, оставив другим поколениям результаты своих завершенных трудов; Китай все еще продолжает развиваться, старый дом в только что возведенном граде народов; Англия, потеряв Штаты, уже клонится к закату; и потому умы англичан в юную пору надежд, естественно, поворачиваются в сторону самих этих Штатов, еще не развившихся, выросших, как новая Ева, из ребра их собственной старой родины»¹.

Стивенсон проявлял большой интерес к американской литературе. Ему принадлежит очерк о жизни и творчестве Генри Торо, одного из видных американских писателей-трансценденталистов, автора утопического произведения «Уолден, или Жизнь в лесу». Впервые американский мыслитель получает высокую оценку и становится предметом серьезного и пристального изучения.

Английские писатели, посетившие Америку в XIX веке, очень часто затрагивали вопросы американского национального характера. Некоторые черты американцев вызывали у них явное восхищение, другие — откровенное неприятие и высокомерную усмешку. Следует отметить, что критика не всегда была справедливой, порой она основывалась на предрассудках, привычных стереотипах.

Так, например, английские и европейские писатели постоянно отмечали подчеркнутое пренебрежение со стороны американцев к этикету, одежде, языку. Это воспринималось многими как грубость, невоспитанность и отсутствие вкуса. Но при этом забывали, что американец XIX века в манерах и поведении был подчеркнуто демократичен. Он отрицательно относился ко всем символам социальных или имущественных отличий, и чаще всего этим объяснялась его беззаботность в одежде и манерах. Американский историк Генри Коммаджер в

¹ Stevenson R. L. The Amateur Emigrant. N.Y., 1925, p. 82.

своей книге «Американский ум» писал: «Беззаботность была одной из отличительных качеств американца. Он не заботился о себе, своем языке, одежде, еде, манерах; те, кто плохо знал его, могли подумать, что он груб и невоспитан. Он не придавал значения классовым и сословным нормам, традициям, правам и прерогативам»¹.

С изрядной долей самоиронии об этой особенности американского характера писал Марк Твен: «Характерная черта американцев — невоспитанность. Мы нелюбезная нация. В этом мы переросли все народы, как цивилизованные, так и дикие (или не доросли до них). Нас называют изобретательной нацией, но другие тоже изобретательны. Нас называют хвастливой нацией, но другие народы тоже хвастливы. Нас называют энергичной нацией, но другие народы тоже энергичны. И только в нелюбезности, невоспитанности мы не имеем соперников — пока черти сидят в аду»².

Много писали англичане об искажении американцами английского языка. Но нельзя забывать, что формирование американского языка — важное условие развития американского национального характера. Этот язык, хотя и основывался на словарном запасе и грамматике английского языка, широко заимствовал слова и обороты из других языков, смело нарушая правила и законы английского. Автор фундаментального исследования об американском языке Г. Менкен писал: «Какова бы ни была цепь причин, американский английский язык упорно не желал становиться лощеным и продолжает оставаться чем-то вроде нарушителя грамматических, синтаксических и семантических законов вплоть до нынешнего дня... Короче говоря, формирование американского языка представляет собой чисто демократический процесс, а в политическом плане основывается на доктрине, что всякий американец так же хорош, как и любой другой»³.

Одной из характерных особенностей американского языка явились так называемые «американизмы» — слова, которые были неизвестны в Англии и которые родились непосредственно на американской почве. Эти слова с самого начала стали предметом пристального внимания

¹ Commager H. The American Mind. An Interpretation of American Thought and Character. 1950, p. 17.

² Твен М. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1980, т. 8, с. 474.

³ Литературная история США. М., 1978, т. II, с. 203—204.

не только лингвистов, но и историков и публицистов. В 1848 году выходит первое издание «Словаря американизмов» Джона Рассела Бартлетта, которое породило серию изданий этого рода.

Почти все исследователи отмечают тот факт, что американский язык проявил склонность впитывать в себя другие языки: голландский, немецкий, французский, испанский, индейский. Типичные «американизмы» возникали путем слияния двух слов в одно, путем придания широко известным английским словам нового смысла. Американцы с большой свободой, раздражающей англичан, превращали глаголы в существительные и, наоборот, существительное — в глагол.

В процессе формирования американского языка наряду с «американизмами» возникла такая особенность, как «слэнг», который следует считать типично американским изобретением. В отличие от диалекта, представляющего образ речи, характерный для узкой географической местности, «слэнг» стал особенностью всего национального языка. Причем литературный язык не отгораживался от него, а, напротив, активно ассимилировал. Как пишет известный американский историк Д. Бурстин, «американский язык стал апофеозом слэнга. Образованные американцы предпочитали принимать слэнг бедных слоев общества, чем культивированный или литературный британский язык»¹.

Таким образом, возникнув в XIX веке, «слэнг» стал средством эмансипации американского языка от английского и уже поэтому — важным средством формирования американского национального характера. Как отмечает английский историк Дж. Горер, «двести лет назад между англичанами и американцами было больше общности, чем различий. Однако различия в опыте и условиях развития за последние два столетия создали в США совершенно новую систему ценностей, новый взгляд на мир и новые представления о самих себе. Все это породило совершенно отличный от английского национальный характер»².

Достаточно резкое неприятие со стороны англичан вызывал и тот особый тип юмора, который получил название «американский». Англичане находили его гру-

¹ Boorstin D. The Americans. The National Experience, N.Y. 1965, p. 279.

² Gorrell G. The Americans. A Study in National Character, London, 1947, p. 3.

бым, вульгарным, экстравагантным. Английский врач Томас Николс писал в 1850 году: «Американский юмор состоит из огромного числа экстравагантностей, странных и необычных выражений. Многие из их юмора покажутся англичанам совершенно серьезным».

Такого рода суждения далеки от истины. Процесс становления американской нации породил новый тип юмора, который, по словам философа Джорджа Сантаяны, стал «формой национальной эмансипации». Этот юмор основывался на фольклорной традиции, его воплощали фольклорные герои: лошади и балагур Дэвид Харум, словоохотливый и грубоватый янки, Койот у индейцев, хитроумный Братец Кролик у негров.

Американский юмор отличался такими чертами, как подчеркнутая грубоватость, демократизм, не считающийся с сословными предрассудками, связью с речевой традицией, сатирой и самопародией. Ему были свойственны буйная фантазия и преувеличение. Именно поэтому, как отмечает американский литературовед Хэролд Томпсон, «наш национальный юмор... бывал часто грубым, но почти всегда полным сочувствия, доброты и мудрости. Юмор и сатира нераздельны там, где изображается человеческий характер, сформированный нашим обществом. И юмор всегда был демократичен, поэтому он служил делу нашего объединения»¹.

«Американский юмор», так же как и «американизмы» и «слэнг» в обиходном и литературном языке с трудом воспринимались англичанами, чаще всего они отождествлялись с грубостью и отсутствием манер.

Одним из главных объектов критики со стороны европейских авторов, в особенности англичан, была сфера американской духовной культуры. Уже с XIX века в Европе устанавливается прочное, почти стереотипное представление о том, что Америка — это страна без культуры, своеобразная «духовная пустыня». Впрочем, и сами американцы ощущали огромную культурную зависимость от Европы. Американский философ Эмерсон считал, что Англия имеет перед Америкой «огромное преимущество». Американская писательница Маргарет Фуллер писала в 1847 году в газете «Трибьюн»: «Хотя мы и независимы в политическом смысле, но с точки зрения искусства и литературы мы относимся к Европе как

¹ Литературная история США, т. II, с. 306.

колония».

Действительно, США долгое время оставались культурной колонией Англии. Американские писатели, поэты спасались от «культурной пустыни» Америки в Европе. Некоторые приезжали сюда на время. Другие оставались на постоянное жительство. Генри Джеймс переехал в Англию, приняв британское подданство, в 1875 году, мечтая создать здесь новый тип американской литературы. Вслед за ним в Европу поспешили Томас Элиот, Гертруда Стайн и другие американские писатели, не удовлетворенные провинциальным духом, царящим в их стране.

Следует сказать, что в XIX веке преимущество Англии перед США во всех сферах культуры ни у кого не вызывало сомнения. Английский поэт и критик М. Арнолд называл США «храмом газет и политики, лишенным культуры», и утверждал, что «во всем, что касается духовности, культуры и целостности, Америке далеко до нас»¹. Такое отношение к Америке было свойственно не только англичанам, но и представителям других европейских стран. «Америка? — заметил как-то Клемансо... — Это переход от варварства прямо к декадансу без остановки на стадии культуры». Джордж Сантаяна, испанец по происхождению, долгое время проживший в США, в своих очерках об Америке подчеркивал, что американцам недостает зрелой культуры, выросшей на основе глубокой традиции, осмысленного духовного опыта, артикулированной логики. «Я не могу утверждать, — писал он, — что американцам недостает вкуса, знания или эстетической мысли. Наоборот, большая озабоченность всем этим, а также жажда культуры, боязнь, как бы чего не упустить или не понять, являются главными причинами их духовной бедности»².

Отношения к Америке как стране без культурных традиций, как к «культурной пустыне» проявляется и у многих английских авторов на рубеже XIX—XX веков. В этом отношении любопытны заметки об американской культуре Оскара Уайльда, который в течение 1882 года читал в США лекции об оформлении интерьера. Уайльд делился со слушателями своими впечатлениями об американском искусстве и художественном ремесле. В этих

¹ Arnold M. Culture and Anarchy Cambridge, 1971, p. 13.

² Santayana on America. N.Y., 1968, p. 190.

лекциях нередко проявляются наставительные нотки. Уайльд сетует по поводу неразвитости художественного вкуса в американском обществе и высказывает свои суждения о том, как исправить это положение, предлагая, в частности, устройство специальных художественных школ, развитие художественных музеев и т. д.

Представление европейцев об Америке как о «культурной пустыне» было хотя и широко распространенным, но неверным. Правда, Америка — молодая страна, и ее культура не имела еще таких традиций, как, скажем, английская культура. Но уже в XIX веке в Америке появляются произведения, вошедшие впоследствии в сокровищницу мировой культуры. Прежде всего это связано с творчеством американских писателей — Торо, Готорна, Купера, Мелвилла, Эдгара По и других, положивших начало собственно американской литературе. То же самое можно сказать и о музыкальном искусстве в Америке, открывшем миру джаз, который впоследствии оказал огромное воздействие на всю мировую музыкальную культуру.

В начале XX века в английской литературе, посвященной американской теме, происходит значительный перелом, связанный прежде всего с ростом политической и экономической мощи США. Теперь Америка оценивается не просто как пасынок, отбившийся от рук, а уже как полноценный партнер, как страна с большими возможностями, имеющая свое самостоятельное будущее. Собственно говоря, так и называется книга известного английского писателя Герберта Уэллса «Будущее Америки», написанная в 1906 году.

Писатель задается вопросом: что такое американец, что такое американская нация? Это давний вопрос, которым задавался еще Гектор Кревкер в «Письмах американского фермера». Уэллс считает, что в известной степени понятие «нация» — абстракция. Ведь это и не богатые и не бедные, не капиталисты и не трудящиеся, не республиканцы и не демократы, а какая-то всеобщая абстрактная множественность. К тому же неизвестно, где искать типичного американца — в штате Мэн, в Канзасе или на далеком Западе. И тем не менее это понятие обладает рядом устойчивых параметров. Как говорит Уэллс, американец — это «англоговорящая личность, сохранившая, несмотря на значительную примесь немецкой, скандинавской, ирландской крови, поразительно четкие

свойства англичанина. Он испытывает недоверие к странным теориям, к логике и неохотно говорит об идеалах. Он поглощен, он занят своими делами, и в то же время—я чувствую это в атмосфере самой жизни—он думает»¹.

Таков портрет американца, который рисует Уэллс. Нельзя не видеть, что этот портрет весьма противоречив. С одной стороны, Уэллс отмечает, что американцы отказались от «безумного самодовольства», которое было свойственно им в XIX веке, и «обратились к самопознанию, не имеющему аналогов в истории». С другой стороны, он не без иронии относится к «типичному американцу», подчеркивая его индивидуализм и практицизм.

Кроме того, Уэллс говорит о трудностях, которые стоят перед американским обществом. «Америке приходится сталкиваться с целой системой крайне сложных и запутанных юридических проблем, она наследует самую мощную в мире традицию индивидуализма, ее политическая система вырождается, и все в большем количестве на нее надвигаются чужеземцы, неспособные адаптироваться к ее коренным основаниям,—негры, крестьяне с юга Европы, евреи,—эти и иные проблемы становятся все острее»². Далее, характеризуя Америку, Уэллс специально говорит о коррупции, о нищете, которая существует наряду с огромным богатством, об использовании детского труда в угольных шахтах. Писатель-фантаст обосновывал реалистический подход к американскому опыту, подчеркивая многозначность и противоречивость образа Америки.

Большое внимание вопросам о путях развития Америки, о взаимоотношении английской и американской культур уделял Джон Голсуорси. В 1919 году были опубликованы его «Речи в Америке». Голсуорси одним из первых обратил внимание на опасность стандартизации, потребительства и вульгарного гедонизма, которые охватили США после первой мировой войны. Он предупреждал, что все это может в конце концов привести к трагическим результатам. В своей речи в Колумбийском университете он говорил: «Американцы довольно жадно ищут знаний, им свойственна также, при всей поглощенности

¹ Wells H. G. *The Future in America*, Leipzig, 1907.

² Ibid.

успехом, способность мечтать. Они, конечно, желают добра и стремятся к нему. Эти качества в сочетании с материальной мощью открывают перед американцами большие возможности. Однако, если Америка не встанет грудью против бессмысленной жажды развлечений, нам всем предстоит путь по наклонной плоскости. Если она и дальше будет похвастаться собственной силой, если станет стремиться к количеству, а не к качеству, нас всех ожидает стандартизация. Если она подцепит болезнь гордыни, порождаемую толщиной кошелька, военным могуществом, а также идеей успеха, мы все обречены на новый пожар».

Голсуорси почти с пророческой силой подчеркивал опасность превращения США в «мирового полицейского», так как претензии американского империализма на руководство миром проявились уже после первой мировой войны. Поэтому он рисовал трагическую альтернативу, вставшую перед Америкой и всем миром: «Америка стоит на пороге молодости. Выйдет ли она на мировую авансцену как великий руководитель? Теперь, когда война кончилась, от Америки могут зависеть судьбы цивилизаций в будущем столетии. Если она оступится, если она прежде всего не укрепит способность критически глядеть на себя с той особенной иронией, что была свойственна великому Линкольну, то вскоре она разовьет у себя исполненный нетерпимости провинциализм, который так часто приводил к катастрофам на земле, уничтожая целые народы».

Нельзя не заметить, что Голсуорси в своих высказываниях об Америке обладал даром предвидения. Будущее подтвердило его самые мрачные опасения. Современный американский империализм угрожает миру самой страшной термоядерной катастрофой.

Английские писатели пристально следили за развитием американской литературы. О. Уайльд писал об Уитмене, Р. Стивенсон — о Торо, Дж. Голсуорси выступил с блестящей речью на столетнем юбилее Д. Р. Лоуэлла. Известный английский писатель Д. Г. Лоренс опубликовал в 1922 году книгу «Исследования классической американской литературы». Не лишенная влияния фрейдистской эстетики, эта книга содержала попытку дать общую характеристику американской литературы, ее особенностей и отличия от европейской литературы.

Лоренс считает, что отрыв от европейских

традиций еще не определяет внутреннего содержания американской культуры. Это содержание не сводится к абстрактным лозунгам свободы. Оно должно еще проявиться, и это дело далекого будущего. «Подлинный день Америки,—пишет Лоренс,—еще не начался. Или, во всяком случае, еще не наступил рассвет. Была только ложная заря. То есть прогрессивному американскому сознанию свойственно лишь одно настоятельное стремление—разделаться со старым. Разделаться с хозяевами, возвеличить волю народа. Но воля народа—это всего лишь фантом, возвеличение немногого стоит. Итак, во имя воли народа избавьтесь от хозяев. Но когда вы избавитесь от хозяев, останется лишь фраза о воле народа. Тогда остановитесь, поразмыслите и попытайтесь восстановить собственную целостность».

Особое внимание многих английских писателей было уделено судьбам «американской мечты», ее отражению в культуре и литературе США. Как отмечает английский критик У. Аллен, различие между английской и американской литературой заключается в том, что первая основана на длительной литературной традиции, а вторая—на мечте, на представлении об идеальном будущем Америки¹.

Именно эта тема стала предметом глубокого рассмотрения известного английского писателя и драматурга Дж. Б. Пристли. В 40-х годах Пристли опубликовал серию очерков об Англии, Америке и России, которые вышли под названием «Тайная мечта». Писатель рассматривает содержание и судьбы «американской мечты», начиная с момента ее зарождения и кончая сегодняшним днем.

Прежде всего, Пристли выражает веру в реальность «американской мечты», в ее воздействие на американскую жизнь и культуру. «Никто не сомневается,—пишет он,—что американская мечта существует. Сами американцы постоянно вспоминают об этом. Она мелькает в речах политиков, трудах историков, в патриотических декларациях, в поэтических радиокомпозициях. А не столь давно американская мечта обрела спутника в лице „американского образа жизни“»².

По словам Пристли, содержанием американской меч-

¹ Аллен У. Традиция и мечта. М., 1970.

² Priestley J. B. The Secret Dream, an Essay on Britain, America and Russia, London, 1946, p. 14.

ты с самого начала была мечта о равенстве, и эта мечта была реализована в результате Американской революции. Американцы верят в реальность своей мечты, и она оказывает глубокое воздействие на все их мировоззрение.

Действительно, говорит Пристли, Американская революция увенчалась успехом, она устранила все то, что было связано с европейским политическим, социальным и сословным неравенством, религиозным угнетением. Правда, эта победа принесла и обратный результат, она и до сих пор является причиной самодовольства американцев, причиной их нежелания и неспособности понять цели и стремления других наций и народов.

«Американская мечта», по словам Пристли, носила несомненный демократический характер, она была доброй и простодушной, наивной и невинной. Она соответствовала политическому сознанию американцев XVIII века, она воплощалась в таких понятиях, как «предприимчивость», «успех», «хороший парень». Но попытки использовать эти понятия в XX веке представляются не чем иным, как политическим инфантилизмом, который так свойствен американскому характеру.

Мнение Пристли об инфантилизме американцев перекликается со многими аналогичными оценками американского характера, принадлежащими другим писателям. Томас Манн писал о «варварском инфантилизме» американцев, о том, что Америка — «по-детски усердная, но наивно-авантюристическая страна».

Действительно, американцам, как молодой нации, присущ инфантилизм. Сами американцы часто признают, что они, как нация, большие дети. «Иногда мне кажется, что мы страна детей», — пишет У. Стайрон в романе «И поджег этот дом». Порой эта ребячливость, эта наивная инфантильность подкупает, она представляется проявлением непосредственности, физического и духовного здоровья. Но когда эти качества характера переносятся в социальную сферу, в область политики или международных отношений, они представляют серьезную опасность.

«Американцы, — пишет Пристли, — хорошие люди, еще не испорченные жадностью и страстью к господству. Им мешает открыть новые общественные границы взамен старых, географических, ликвидировать разрыв между мечтой и действительностью прежде всего их доктринерский педантизм, который цепляется за явно недостаточ-

ные формулировки XVIII века, а также — самодовольство общества, которому слишком часто льстят его политики и пресса. Американцы — все еще дети своей некогда славной революции. И мечта о равенстве еще не утрачена. Она все еще преследует их, она так сродни почти общему для них, заветному желанию возвратиться домой и жить попросту, дружить с соседями и не участвовать в конкурентной гонке, не лезть из кожи вон»¹.

Но Пристли указывает и на другую вполне реальную альтернативу развития американского общества. Ориентация на традиционный индивидуализм, неприятие социалистического пути развития наряду с экономическими трудностями и безработицей могут, по его мнению, «качнуть страну к своеобразной, фашистского толка экономической политике... Величайшая демократия в мире может стать самым непримиримым врагом развивающейся идеи подлинной, политической, экономической и социальной демократии, идеи, обладающей великой освободительной силой. Тогда американская мечта о равенстве, такая простодушная, невинная и добрая по сути своей, как и сами американцы, будет утрачена, а мир в результате этой потери станет более опасным и страшным»².

Можно поражаться пронизательности этих суждений Пристли, высказанных в 40-х годах. Они звучат сегодня крайне актуально. Они подтверждаются попытками американской администрации строить свою политику на концепции военной мощи и на доктрине особой исторической миссии США в мире, которые положены в основу всей послевоенной политики США.

Другая тема, вокруг которой постоянно вращалась мысль английских писателей, — это опасность возникновения «массовой культуры», которая, появившись в Америке, все в большей мере становилась угрозой развитию культуры во всем мире. С этой темой связано творчество двух видных английских писателей-сатириков Олдоса Хаксли и Ивлина Во.

Острой и едкой критике подверг американскую стандартизированную «массовую культуру» Олдос Хаксли. Эта критика содержится и в его путевых очерках, связанных с поездкой в Америку в 1926 году, и в его литературно-

¹ Ibid., p. 26.

² Ibid.

критических статьях, и в его художественных произведениях, в частности в его сатирической утопии «Прекрасный новый мир».

Посетив Америку, Хаксли увидел здесь торжество «машинерии» — идеологии, прославляющей машину и технизм. Он назвал эту идеологию новой религией — фордизмом и яростно обрушился против ее антигуманной сущности. «Фордизм,— писал Хаксли,— утверждает, что мы должны принести в жертву животного человека (и вместе с животным большую часть думающего, духовного существа), но не богу, а машине. Из всех аскетических религий фордизм в наибольшей степени утверждает жесточайшие увечья человеческой души. Рьяно исповедуемая несколькими поколениями, эта ужасная религия машины вконец разрушила человеческий род»¹.

Еще одна тема, к которой постоянно возвращался Хаксли,—это широко пропагандируемая в 20-х годах в США, в это, по словам Фицджеральда, «десятилетие джаза», этика гедонизма. Бездумное наслаждение, которое является целью всей общественной жизни, становится, по мысли Хаксли, опасным, оно превращается в удобное средство манипуляции сознанием масс. Вот как описывает Хаксли Лос-Анджелес, этот «город удовольствий», в своей книге «Смеющийся Пилат»: «А какие удовольствия существуют в этом городе? Удовольствие торопиться, быть постоянно занятым, удовольствие не иметь времени думать, танцевать под грохот дикарской музыки, удовольствие от веселого пения. Удовольствие громко хохотать и говорить высоким голосом ни о чем, удовольствие пить запрещенное виски, красить щеки. И как искренне люди города удовольствия посвящали себя «хорошему» времяпрепровождению. Развлечения Рима и Вавилона, Византии и Александрии были глупыми, бесполезными и ничтожными в сравнении с современной Калифорнией»².

Эту критику фордизма и вульгарного гедонизма, которые Хаксли обнаружил при своем посещении США, он впоследствии продолжил в сатирической утопии «Прекрасный новый мир». Здесь он изобразил общество будущего, исповедующее религию Форда и использующее самые разнообразные удовольствия как наиболее эффек-

¹ Huxley A. On Art and Artists. N.Y., 1960, p. 73.

² Huxley A. Jestling Pilate, N.Y., 1926, p. 300—301.

тивное средство духовного порабощения людей. Несомненно, что прототипом этого общества явилась Америка, какой писатель увидел ее в 1926 году¹.

Существенные изменения в отношениях между Европой и США происходят после второй мировой войны. В это время политика США основывается на развязывании «холодной войны», на плане Маршалла, проложившем путь Североатлантическому пакту. Европа для США представлялась своеобразным бастионом антисоветизма и антикоммунизма. США намеревались укрепить свое доминирующее положение на Европейском континенте всеми возможными средствами, включая экономическую, идеологическую и политическую экспансию.

Этот переход администрации США от войны с фашистской Германией к политике «холодной войны», к постепенному экономическому и политическому закабалению своих европейских союзников не остался без внимания для многих европейских деятелей культуры. Характерна в этом отношении эволюция взглядов на роль Америки в современном мире со стороны Томаса Манна. Как и многие другие прогрессивные деятели культуры, МANN бежал от фашизма в Америку и даже принял американское гражданство. Но впоследствии его заметки об Америке становятся все более негативными. В 1946 году он пишет: Европа «в большей мере alive (жива), может быть, чем эта могучая страна здесь, где слепые, устаревшие силы со злобным упорством отбиваются от новых потребностей и, вероятно, заставят эту страну пройти через все, пройденное Европой, в том числе через фашизм, против которого мы вроде бы воевали»². Незадолго до возвращения в 1952 году в Европу Томас МANN писал, что «в общем европейское мышление не может тягаться со здешним в варварской инфантильности»³.

Герман Гессе высказался еще более резко. В 1946 году в письме Томасу Манну он писал: «В Германии самые опасные преступники, садисты и гангстеры — это уже не наци, и они не говорят по-немецки. Это — американцы».

Американский писатель Генри Миллер, проживший большую часть своей жизни в Европе и со стороны

¹ См. об этом: Шестаков В. П. Социальная утопия Олдоса Хаксли: миф и реальность. — «Новый мир», № 6, 1969.

² МANN Т. Письма. М., 1975, с. 211.

³ Там же, с. 292.

наблюдавший свою родину, в 1946 году опубликовал роман «Кондиционированный кошмар», посвященный послевоенной Америке. «Война ничему нас не научила,—с горечью писал Миллер.—Мы привыкли думать о себе как об эмансипированном народе, называть себя демократичными, любящими свободу... Все это—прекрасные слова, полные возвышенных, идеализированных чувств. На самом деле мы вульгарная, легко управляемая толпа, чьи страсти легко мобилизуются демагогами, журналистами, религиозными шарлатанами, агитаторами и тому подобными. Страна великих возможностей стала страной бессмысленного труда и борьбы друг с другом. Цель наших усилий давно забыта... В этой огромной, пустой стране нет места для тех, кто, подобно отцам-основателям, приехал сюда искать убежища»¹.

Английский писатель-сатирик Ивлин Во высмеял стандартизированную американскую культуру в повести «Незабвенная», которая не случайно носит подзаголовок «Англо-американская трагедия». Английский писатель Грэм Грин в своем романе «Тихий американец», обратившись к теме «американской невинности», показал ее опасность, когда она пытается навязать насильственным путем «американскую мечту» всему миру.

Все эти критические голоса не были случайными. Дело в том, что начиная с послевоенного времени вместе с «экономической помощью» в Европу хлынул поток стандартизированной американской «массовой культуры», которая представляла подлинную угрозу для национальной культуры многих европейских стран, стремясь стереть национальные черты в архитектуре, музыке, живописи, литературе, кинематографе.

Английское кино, которое достигло значительных успехов в послевоенные годы, постепенно было вытеснено голливудской продукцией, производство и прокат английских фильмов захватили в свои руки могущественные американские кинокомпании.

Политика США в области культуры, наметившаяся в последние десятилетия, характеризуется откровенной экспансией коммерческой культуры, которой США наводняют европейский рынок. Эта тенденция откровенно выражена во многих официальных документах, в американской прессе, в частности в статье «Американская культура

¹ Miller H. The Air-Conditioned Nightmare, N.Y., 1966, p. 18.

штурмует мир», опубликованной в журнале «ЮС ньюс энд уорлд рипорт»¹. Ее автор утверждает, что американская культура все энергичней захватывает различные регионы земного шара, причем он рекламирует не культурный обмен, не двусторонние связи в области культуры, а захват американской индустрией «массовой культуры» рынков целого ряда стран, что приводит фактически к удушению национальных культур в этих странах.

Одним из главных каналов экспансии «массовой культуры» на европейский, и в особенности на английский, рынок является кино и телевидение. В английском кинопрокате до 70% составляют американские фильмы. Как признает директор Британского кино Антони Смит, английская кинематография — единственная в мире, лишенная собственной промышленности, она почти полностью принадлежит американским кинокомпаниям. Одновременно происходит «перекачка мозгов» в США. Большинство крупных английских режиссеров и сценаристов покинули Великобританию и переселились в Голливуд. Зато английский культурный рынок испытывает все большее влияние американской «массовой культуры». Как пишет журнал «Тайм», «европейским фильмам становится все труднее привлечь к себе внимание, в особенности на американском кинорынке. Если европейские кинотеатры 60-х годов были своеобразными «объединенными нациями кино», то теперь они становятся прибежищем того потока фильмов, которые производятся в окрестностях Лос-Анджелеса. Кинокритики, поклонявшиеся раньше Бергману и Феллини, теперь отдают предпочтение Стивену Спилбергу и Сиднею Поллаку. Интеллектуальное превосходство европейского кино уничтожено»².

Все это вызывает озабоченность многих европейских деятелей культуры. В Англии все чаще раздаются голоса в защиту национальной культуры и необходимости противостоять «культурному империализму». Об этом пишут английские авторы в сборнике «Суперкультура: американская популярная культура и Европа», в котором с тревогой говорится о все большей американизации английской и в целом европейской культуры, о проникновении американской «массовой культуры» во все области,

¹ "US News and World Report", 1977, June 27, p. 54.

² „Time“, 1983, January 24, p. 44.

начиная от литературы и кино и кончая дешевой американской пищей и американским «слэнгом»¹.

Для многих деятелей культуры в Англии вопрос о том, сохранится ли своеобразие английской культуры, английского искусства, наконец, английского языка, остается открытым. Вокруг этого вопроса в английской прессе ведется оживленная дискуссия, и следует отметить, что поиски средств спасения национальной культуры от американизации далеко еще не закончены.

Таким образом, в настоящее время отношения между американской и европейской культурами существенно изменились. Если сто лет назад считалось, что в культурном отношении США представляют собой колонию европейской культуры, то теперь, напротив, Европа превращается в культурную колонию американской «массовой культуры».

Все это объясняет остроту, которую сегодня принимает обсуждение проблем культурных отношений между Европой и Америкой. Эти отношения значительно влияют и на восприятие образа Америки в европейских странах. Здесь все чаще преобладают негативные оценки. Так, даже В. Вагнер, политолог явно «проамериканской» ориентации, в статье «Европейский образ Америки» отмечает, что «в Европе происходит постоянная борьба двух взглядов на Америку, позитивное отношение сменяется негативным. И пока происходит борьба между этими двумя взглядами, трудно предположить, что в будущем возникнет какой-нибудь иной, третий взгляд»².

Политика американского империализма в области культуры, получившая на многих международных форумах название политики «культурного империализма», которая выражается в уничтожении национального своеобразия других культур, экспансии американизированной «массовой культуры», монополизации средств информации, вызывает все больший и больший протест прогрессивных английских писателей и деятелей культуры, таких, как Кеннет Тайнен, Джек Линдсей, Джеймс Олдридж и другие. Этот протест порой перерастает рамки культурных дебатов и затрагивает актуальные

¹ Superculture: American Popular Culture and Europe. Ed. by B.W.E. Bigsby, London, 1975.

² Wagner W. European's Image of America.—Jn: „America and Western Europe”, Lexington, Mass., 1977, p. 30.

вопросы политики. Писательница-коммунистка Эмма Смит на международной встрече писателей в Софии сказала: «Основа социализма—мир, и если в чем и нуждается он для расцвета—это во времени, в перспективе мирного развития; дайте социализму время, дайте ему мир без войны, и он окажется несокрушимым адвокатом собственной правоты—ни у кого на этот счет не остается сомнений. Отсюда и следует обращение капитализма к политике, цель которой—не дать социализму мира, не дать ему времени. Отсюда тотальная монополия на средства массовой информации, отсюда и запрограммированный курс на ложь, извращение фактов».

В наше время многим английским деятелям культуры становится ясно, что борьба за национальное своеобразие и суверенность культуры неотделима от антиимпериалистической борьбы, от борьбы за сохранение мира на земле.

Сегодня более остро, чем когда-либо, воспринимается конфликт между фундаментальными основами американской демократии, явившимися завоеванием американской революции, и современным американским обществом, между «американской мечтой» и американской реальностью. «Американские обещания», к которым с надеждой относились европейцы, оказались невыполненными.

Генри Коммаджер, завершая свою книгу об американском национальном характере, писал: «Американцы стали задаваться вопросом о жизненности их традиционного морального кодекса, но смогут ли они сформулировать новый кодекс, такой же эффективный, как тот, с которым они готовы покончить? Они сохраняют свои моральные стандарты и привычки, смогут ли они предохранить их от коррупции и упадка? Они были идеалистами, но смогут ли они выполнить идеальную работу? Они были прагматиками, но смогут ли они предохранить свой прагматизм от вульгаризации? Они были великодушны, но сможет ли их великодушие подняться до моральной сферы? Они были разумными, но сможет ли их разумность решить проблемы будущего? Американцы обладают атомной энергией, будут ли они использовать ее в целях цивилизации или разрушения? Они достигли такой мощи, которой не обладает никакая другая нация. Но сможет ли любовь к миру, которую Генри Адамс называл главной чертой американского характера, победить

стремление построить *Pax Americana* (американскую империю.— В. Ш.)? Весь мир хочет узнать ответы на эти вопросы, которые поставила сама история»¹.

Эти слова были написаны в 1950 году. В 80-х годах все эти вопросы по-прежнему остаются актуальными, и ответы на них до сих пор еще не получены.

В. Шестаков

¹ Commager H. The American Mind. An Interpretation of American Thought and Character. 1950, p. 442.

АМЕРИКАНСКИЕ НРАВЫ

Город Натчез красиво расположен на одном из тех холмов, которые изредка нарушают утомительно ровную линию плоских берегов Миссисипи выше Нового Орлеана. Климат тут в жаркое время года не менее губителен, чем там, иначе Натчез привлекал бы множество новых поселенцев. Яркая зелень холма особенно радует глаз по контрасту с угрюмыми полосами темного леса по обеим его сторонам. Пышно разросшиеся веерные пальмы, папайи и апельсиновые деревья, редкое разнообразие благоухающих цветов—все это превращает его в подобие оазиса среди пустыни. Натчез—наиболее северное место по Миссисипи, где апельсиновые деревья плодоносят под открытым небом и хорошо переносят зиму, никак не укрытые от холода. За исключением этого города, все городки и селения, мимо которых мы проплывали, показались мне на редкость убогими. Едва Новый Орлеан остался позади, как все свидетельства богатства и комфорта, которыми отмечены его окрестности, мгновенно исчезли, и, если бы не два-три скопления деревянных домишек, именующих себя городами и щеголяющих звонкими названиями, заимствованными по большей части у Древней Греции или Рима, мы, пожалуй, вообразили бы, что первыми из всего рода людского вторглись в эти владения медведей и аллигаторов. Впрочем, время от времени на берегу можно было различить хижину лесоруба, который снабжает пароходы топливом в обмен на доллары и виски, пренебрегая тем, что ему угрожает, а вернее, что его ожидает: безвременная смерть. Зимой река затопляет почти все эти печальные жилища, и лучшие из них построены на сваях, так что злополучные обитатели не тонут, даже когда вода поднимается особенно высоко. Эти бедняги неизбежно становятся жертвами

лихорадки, но относятся к ней с полным пренебрежением и лишь старательно подкрепляются горячительными напитками. Их несчастные жены и дети являют собой столь жалкое зрелище, что на них невозможно смотреть без ужаса, и, хотя нам встретилось немало таких семейств, привыкнуть к их виду мне не удалось. У женщин кожа синевато-бледная, точно у больных водянкою. У всех до единой. И личики бедных крошек отливают той же жуткой синевой. Возле самых добротных из этих лачуг стоит, свидетельствуя о зажиточности их хозяев, тощая коровенка, да две-три свиньи бродят в воде по колено. В целом должна сказать, что мне никогда не доводилось видеть человеческий род столь униженным, каким он предстает в хижинах лесорубов по берегам Миссисипи.

Говорят, что некоторые места этой мрачной реки кишмя кишат крокодилами, и ужас перед их нападением еще увеличивает бремя страданий тех, кто живет в этих местах. Нам рассказали историю поселенца, который, выбрав участок на берегу, приступил к постройке хижины. Много времени на это там не требуется, так как немногочисленные соседи, движимые чувством товарищества и любовью к виски, собираются со всей округи валить деревья и подтаскивать их к воздвигаемому жилищу, пока оно не будет готово. Так произошло и на этот раз. Жена и пятеро детей поселенца расположились в своем новом доме и крепко уснули после долгого пути. В предрассветный час муж и отец семейства пробудился от слабого стога и, приподнявшись, увидел на полу останки трех своих детей, а рядом огромная крокодилица с крокодилиатами продолжали свою жуткую трапезу. Он оглянулся в поисках оружия, но ничего подходящего рядом не было, и, сознавая свое бессилие, бесшумно привстал на кровати и выскользнул в окно в надежде, что его жена и двое уцелевших детей, которые продолжали спать, не будут обнаружены до его возвращения. Он кинулся бегом к ближайшему соседу и умолил того поспешить на помощь. Не прошло и получаса, как он вернулся с двумя мужчинами. Все трое были вооружены. Но увы! Они опоздали. Жена и двое младенцев лежали растерзанные на окровавленной кровати. Расправиться с объевшимися рептилиями оказалось нетрудно, а затем, когда мужчины осмотрели участок, оказалось, что хижина построена неподалеку от входа в огромную нору, почти пещеру, где чудовище вывело свое гнусное потомство.

Зловещим зрелищем, каких немало в этой унылой местности, были и багровые зарева над горящими лесами, которые мы созерцали чуть ли не каждый вечер после захода солнца. И если так было угодно ветру, дым пожара тонкой пеленой затягивал небо над нашими головами. Ни новизна, ни бескрайность окружающих пейзажей не искупали их неизбывной мрачности, и она все больше угнетала душу. Быть может, причину этого следовало поискать также в обедах и ужинах, которые я описала выше, но, во всяком случае, после того как мы неделю дивились нескончаемости лесов, сперва восхищались, а потом пресытились причудливыми фестонами испанского мха, научились различать среди попадавшихся нам навстречу или огибаемых нами бесчисленных древесных стволов «коряги», «бревна» и «топьяк», а также окончательно решили, что господа военные из Кентукки и Огайо принадлежат к совсем иному роду, чем те, кого мы видели в Тюильри или Сент-Джеймском дворце, мы начали жалеть о том, что неспособны больше часов отдавать сну. По мере того как мы продолжали плыть на север, нас все меньше радовали красивые ряды веерных пальм по берегам и даже замеченный совсем близко спящий крокодил уже не возбуждал ни малейшего любопытства.

И вот, когда единственным утешением стала мысль, что каждая оставшаяся позади миля приближает к Мемфису, нас смертельно перепугал внезапный страшный толчок.

— Это топьяк! — воскликнула одна.

— Это коряга! — вскричала другая.

— Мы сели на мель, — сказал капитан.

— На мель? Силы небесные! И долго мы здесь останемся?

— Бог знает, но полагаю, мое терпение успеет полностью истощиться.

А бедные английские дамы, каково пришлось им?

Два завтрака, два обеда и один ужин откушали они в обществе господ из Огайо и Кентукки, прежде чем пароход сдвинулся с места хотя бы на дюйм. Пока мы пребывали в этом плену, мимо проплыло немало пароходов, но одни были так маломощны, что и пытаться не могли снять нас с мели, другие же пытались — но тщетно. В конце концов к нам приблизился могучий великан, зацепил нас крюком и за три минуты стащил с мели.

Вновь мимо нас быстро заскользили деревья и илистые берега, а пассажиры на палубе громкими восклицаниями выразили общую радость.

Наконец мы имели удовольствие услышать, что прибыли в Мемфис. Однако удовольствие это было в значительной мере испорчено часом, когда мы туда прибыли. Произошло это в полночь и под проливным дождем.

Мемфис стоит на высоком обрыве и в эту ночь оказался почти неприступным. Ливень, хлеставший много часов, затруднил бы любой крутой подъем, но там, к несчастью, прокладывали новую дорогу, и она заманила нас в свою бездонную грязь, заставив покинуть более надежную каменистую тропу. Ботинки и перчатки равно исчезли под жидкой глиной, так как нам пришлось опираться на все наши конечности, и до гостиницы мы добрались в самом плачевном состоянии.

Мисс Райт там хорошо знали, и едва стало известно о ее приезде, как все принялись соперничать друг с другом, стараясь оказать ей достойный прием, и нас незамедлительно водворили в самый лучший номер. Здание гостиницы было построено совсем недавно и, на мой взгляд, совершенно лишено комфорта, но тогда я еще не знала Западной Америки и не привыкла к их манере «перебиваться», как они выражаются. Словечко это у них в большом ходу и, видимо, обозначает существование с возможно меньшим количеством удобств.

Тем не менее спали мы крепко и проснулись в надежде скоро сменить эту пахнущую штукатуркой обитель на уют дома мисс Райт.

Однако тут же выяснилось, что после ночного ливня ехать через леса Теннесси даже в самом добротном экипаже — предприятие весьма опасное. И нам пришлось провести дни в нашей неприветливой гостинице. На пароходе мне очень прискучило есть за общим столом, и я с радостью пообедала бы жесткой олениной под персиковым соусом в уединении отведенного нам номера, но мисс Райт заверила меня, что об этом и помыслить нельзя. Хозяйка сочла бы подобную просьбу личным оскорблением, да к тому же, вне всяких сомнений, решительно ее отклонила бы. Последний довод выглядел убедительным, и, когда из окна верхнего этажа позвонили в большой колокол, мы направили свои стопы в столовую. Почти все места за столом, накрытым на пятьдесят персон, были заняты. Мы имели честь сидеть

подле «хозяйки», но гордость, которую могло бы породить подобное отличие, была заранее усмирена, ибо мой слуга Уильям сидел почти напротив меня. Общество состояло из всех лавочников городка. Присутствовал там и мэр, давний знакомый мисс Райт. Этот приятный человек с манерами истинного джентльмена кажется в маленьком городке на Миссисипи каким-то загадочным странником. Нам объяснили, что с тех пор как открыли гостиницу, все мужчины города завели обычай завтракать там и обедать. Трапезовали они в полном безмолвии и с такой поразительной торопливостью, что завершили свой обед, когда мы только приступили к нашему. Проглотив последний кусок, они выскочили из-за стола, так и не нарушив угрюмого молчания, которое хранили все время своего пребывания в столовой, а их места заняла следующая партия, и ее члены сыграли свои роли без слов в точно такой же манере. Тишину нарушал только стук ножей и вилок под аккомпанемент покашливания и прочего и прочего. Если не считать нашей хозяйки и нас, дам за столом не было. Достойные обительницы Мемфиса не препятствуют своим супругам и повелителям вкушать индеек и оленину миссис Андерсон (благо это освобождает их от необходимости готовить обед), пока сами они остаются дома и улаживают себя кукурузной кашей с молоком.

Десятого февраля мы прибыли в Цинциннати. Город живописно расположен на южном склоне холма, полого поднимающегося прямо от воды. Впрочем, сам город красотой не блещет. Ему не хватает куполов, башен и колоколен. Однако пристань великолепна и тянется почти на четверть мили. Она отлично вымощена и окружена добротными, хотя и неказистыми зданиями. Я видела, как возле нее одновременно стояло пятнадцать пароходов, а места хватило бы еще на столько же.

Высадившись, мы отправились в гостиницу «Вашингтон» и поздравили себя, услышав, что успели как раз вовремя к обеду за табльдотом. Но едва дверь столовой отворилась, как мы в смятении отступили, увидев, что за столом уже сидят шестьдесят мужчин. Мы пообедали с женской половиной семьи владельца и тотчас отправились на поиски дома, который могли бы снять на длительный срок.

Начали мы с конторы посредника, который, по его утверждению, вел запись всех сведений такого рода, и

объяснили ему, какой дом нам требуется. Он не стал чинить нам никаких затруднений, а поручил своему посыльному проводить нас и показать все, что могло нам подойти. Мы согласились, и мальчик повел нас по одной улице туда, а затем по другой обратно, и мне показалось, что он не ведет нас ни к какой определенной цели. Я тотчас остановилась и спросила, где находятся дома, которые нам предстоит осмотреть.

— А те, где есть билетики в окнах,—ответил он.—Я их и выглядываю.

Я подумала, что выглядывать билетики мы можем и без его помощи, о чем сразу же ему и сказала. Тогда он с самым деловым видом принялся стучать подряд во все двери, мимо которых мы проходили, и осведомляться, не сдастся ли этот дом. Терпеть его поведение не было никаких сил, и мы отправили нашего проводника восвояси, хотя после мне пришлось уплатить доллар за его услуги.

Однако счастье нам улыбнулось, и довольно скоро мы нашли себе жилище, после чего вернулись в гостиницу с твердым намерением перебраться в свое новое обиталище, как только оно будет приведено в порядок.

Не испытывая желания делить вечернюю трапезу ни с господами в столовой, ни с полдюжиной трактирных дам, я распорядилась, чтобы чай мне подали в номер. Вперед выступила добродушная ирландка, с покровительственным видом взяла меня за руку и сказала:

— Ох, деточка моя. Так ты же сейчас только приехала со старой родины! Я пригляжу, деточка, чтобы чайку ты попила у себя.

Получив такое заверение, мы удалились в мой номер, внушительных размеров и хорошо обставленный, но без ковра и с бумажными шторами, которые скатываются в рулон, когда требуется впустить внутрь свет или свежий воздух, а затем закрепляются веревочкой на раме, что весьма неудобно. Впоследствии эти шторы встречались мне по всей Америке.

Вскоре появилась наша ирландская приятельница и подала нам чай с неизменным его американским сопровождением, состоящим из тонких ломтиков копченой говядины и сладостей, цветом и вкусом напоминающих патоку. Мы неторопливо пили чай и обсуждали наши дальнейшие намерения, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Вслед за моим «войдите!» в номере появился

дородный господин и объявил, что он владелец гостиницы.

— Вы что, больны? — начал он.

— Благодарю вас, мы совершенно здоровы, — ответила я.

— В таком случае, сударыня, должен вас предупредить, что на подобных условиях вам у меня проживать не придется. У нас тут отдельные чаепития не заведены и все должны столоваться либо с моей женой, либо со мной.

Объявлено это было с безапелляционностью, которая исключала возражения, но я все же решила сослаться на то, что мы путешественницы и не знакомы с обычаями этого края.

— Наши обычаи — очень хорошие обычаи, и никакие английские новшества нам не требуются.

Хозяин «Вашингтона» вспомнился мне впоследствии, когда я читала «Анну Гейерштейнскую» Вальтера Скотта. Он, бесспорно, весьма походил на содержателя гостиницы, которого Скотт обессмертил в этом романе. Тот также принуждал своих постояльцев есть, пить и спать там, тогда и так, как ему было угодно. Я больше не возражала, но приняла решение покинуть его кров со всемерной поспешностью. Что мы и сделали на следующий же день, к большому нашему удовольствию.

Мы скоро устроились в нашем новом жилище, которое выглядело достаточно чистым и уютным, но незамедлительно обнаружили, что оно лишено почти всех тех удобств, без которых европейцы не мыслят благопристойности и комфорта. Ни насоса, ни цистерны для сбора воды, ни хоть какого-нибудь стока для нечистот, ни тележки мусорщика, ни других видимых средств избавления от отбросов, которые в Лондоне исчезают столь молниеносно, что не успеваешь вспомнить про их существование. Но в Цинциннати они накапливаются с такой быстротой, что я послала за домохозяином узнать, как и куда выкидывают мусор.

— Пусть ваша прислуга выносит его на середину улицы. Только, старуха, смотри, бросай его точно на середине. Вам же навряд ли известно, что у нас есть закон, запрещающий выкидывать отбросы по сторонам улицы. Их надобно оставлять на середине, а уж там свиньи с ними разделаются.

И действительно, свиньи изо дня в день совершают

этот подвиг Геркулеса во всех кварталах города. Разумеется, не так уж приятно проживать бок о бок со стадами этих нечистоплотных животных, однако их многочисленности и тому усердию, с каким они выполняют обязанности мусорщиков, можно лишь радоваться, ибо без них улицы вскоре были бы завалены всяческой дрянью, как гниющей, так и уже сгнившей.

Мы столько слышали о Цинциннати—о его красоте, богатстве и неслыханном процветании,—что, отправляясь туда из Мемфиса, почти так же захлебывались от восторга, как послушница у Руссо: «Un voyage à faire, et Paris au bout!»¹ А потому, едва мы устроились в нашем доме, как тотчас отправились осматривать это «чудо Запада», эту «магически растущую тыкву пророка», этого «младенца Геркулеса». И вряд ли когда-либо путешественники осматривали город с такой готовностью найти его прекрасным. С тех пор как мы расстались с великолепием Лондона, прошло три однообразных месяца, и чуть ли не весь этот срок мы созерцали только ту архитектуру, которую можно было обнаружить на нашем корабле, а затем на пароходе, и, если не считать Нового Орлеана, почти не видели мест человеческого обитания. Вот почему вид кирпича и штукатурки доставлял нам искреннее удовольствие, а трехэтажный дом казался дворцом. Мы нагладелись на немалое число таких дворцов, после чего узрели кирпичную церковь с двумя крохотными шпилями, из-за которых ее называют «двурогой церковью». Но увы! Сколь пресна действительность после того, как воображение хорошо поработало! Право, не знаю, чего я ожидала от этого города, только-только поднявшегося среди дикой глуши, хотя, бесспорно, он не так уж мал и по величине может сравниться с Солсбери, но ни единое из его зданий не претендует на красоту, а с большим городом его равняют лишь шум и суета на улицах. Жителей в нем больше, чем можно заключить по его виду. Отчасти причину следует искать в многочисленности свободных негров, которые живут обособленно на окраине, прозванной «Малой Африкой», а отчасти в плотности населения вокруг бумажных и прочих фабрик. Если не ошибаюсь, число жителей в нем свыше двадцати тысяч.

Мы приехали в Цинциннати в феврале 1828 года, и я описываю город таким, каким он был тогда. С тех пор

¹ «Путешествие! И в Париж!» (фр.).

там построили несколько небольших церквей, и их башни приятно разнообразят скучные скопления домов. В то время, насколько помню, главная улица, пересекавшая город из конца в конец, была единственной, вымощенной целиком. Тротуары выложены из кирпича, причем вполне сносно, но их заливает после каждого дождя, ибо стоков в Цинциннати нет никаких. Подобное упущение представляется тем более удивительным, что само расположение города и облегчило бы их прокладку, и настоятельно их требует. Цинциннати стоит на склоне холма над рекой, и, будь он обеспечен самыми незатейливыми стоками, частые здесь ливни постоянно их промывали бы. Теперь же ливни моют улицы, расположенные выше, оставляя унесенный мусор на первом же ровном месте, каковым оказывается улица, пересекающая главную под прямым углом и почти не уступающая ей в важности, так как на ней находятся почти все крупнейшие склады города. Эти отложения чрезвычайно неприятны и в жаркую погоду, несомненно, порождают миазмы.

Цинциннати строился на манер, если не ошибаюсь, большинства американских городов, то есть квадратами, которые состоят—или будут состоять, когда строительство его по нынешнему плану завершится,—из квартала зданий, обращенных фасадом на север, восток, запад и юг. Задняя дверь каждого выходит в узкий проулок. Обладай город необходимым количеством стоков, такой план был бы неплох. Но при нынешнем положении вещей эти проулки превратились в зловонные свалки, и с каждым годом, я не сомневаюсь, кучи мусора в них будут расти и расти.

С севера Цинциннати ограничен цепью лесистых холмов, настолько крутых и обрывистых, что они не подходят ни для какого-либо строительства, ни под распахку. Но они не настолько высоки, чтобы с них можно было бы любоваться видом. Узкие овраги, сухие летом, но бурлящие бешеными потоками зимой, разделяют гряду на множество отдельных вершин, и лишь они одни разнообразят довольно унылый ландшафт вокруг города. Огайо—прелестная река и чарует взор, когда ее удастся увидеть. Однако любоваться ею можно лишь с улицы, проходящей по ее берегу. Холмы Кентукки, поднимающиеся за рекой примерно на том же расстоянии, образуют южную границу впадины, в которой расположен Цинциннати.

Если бы в любом другом городе, какие мне довелось посещать, я бывала на званных вечерах столько раз, сколько в Цинциннати, уж конечно, я могла бы немало поведать об умных разговорах, какие велись бы в моем присутствии, но, хотя я внимательно перечла мои записки и всемерно напрягала память, чтобы восполнить этот пробел, мне так и не удалось припомнить ни единой беседы, которая заслуживала бы упоминания. То немногое, что все же пришло мне на ум, я приведу в своем месте. Впрочем, каковы бы ни были дарования тех, кто составляет тамошнее общество, само устройство вечера, его распорядок парализуют всякий разговор. Дамы неизменно собираются в одном углу, а мужчины в другом. Но будем справедливы к Цинциннати: такой обычай присущ отнюдь не только этому городу или даже всей области к западу от Аллеганских гор. Порой робкая попытка музицировать воссоединяет часть разобщенных гостей: наиболее смелые молодые люди, гордясь завитыми волосами и франтовскими жилетами, подходят к фортепьяно и начинают что-то невнятно бормотать хорошеньким и очень юным девицам, которые сравнивают, кто больше «взял музыкальных уроков». Если дом настолько обширен, что может похвастать двумя гостиными и роялем, маленькие барышни и стройные кавалеры предоставляют самим себе, и из их приюта часто доносится веселый смех. Но судьба более почтенных гостей, остающихся в первой гостиной, тягостна до чрезвычайности. Джентльмены сплевывают, высказывают свое мнение о ближайших выборах и о ценах на сельские продукты и снова сплевывают. Дамы разглядывают наряды друг дружки, пока не запомнят все до единой булавочки, и обсуждают проповедь преподобного Такого-то о Судном дне или новейшие пилюли доктора Имярек от несварения желудка, пока не будет доложено, что «чай» подан, а уж тут они дружно возмещают себе те страдания, которые терпели, борясь со сном, и ублажаются чаем, кофе, заварным кремом, горячими бисквитами, кукурузными бисквитами, кукурузными оладьями, кукурузными лепешками и вафлями, мочеными персиками и маринованными огурцами, ветчиной, индейкой, копченой говядиной, яблочным соусом и солеными устрицами в количествах, какие никогда не подавались ни в одной другой стране подлунного мира. По завершении этой обильной трапезы они возвращаются в гостиную, где, как мне всякий раз

казалось, остаются в обществе друг друга, покуда хватает терпения, а затем поднимаются все как одна, облачаются в мантильи, шляпки, шали и удаляются восвояси.

Цинциннати не может похвалиться изобилием достопримечательностей, но среди имеющихся там есть два музея естественной истории, и в обоих можно увидеть немало достойного внимания, особенно в коллекции мистера Дорфейла, который, кроме того, обладает весьма интересными индейскими редкостями. Он отличается и вкусом, и ученостью, однако коллекция, составленная строго по их велению, отнюдь не удовлетворила бы эту духовную столицу американского Запада. Здешние обитатели питают неукротимую страсть к восковым фигурам, и оба музея стараются превзойти друг друга, выставляя все новые образчики этого варварского искусства. Так как мистер Дорфейл в поисках приманок для посетителей не может положиться на ученость, он пустил в ход изобретательность, и она оказалась куда более надежной помощницей. Верхний этаж своего музея он отдал под паноптикум, в котором выставил все ужасы, какие только могла сочинить его плодовитая фантазия: карлики, которые с помощью скрытых механизмов на глазах у зрителей превращаются в великанов, бесенята из черного дерева с огненными глазами, чудовищные рептилии, пожирающие юных красавиц, озера из пламени, горы из льда — короче говоря, воск, краска и пружины сотворили чудеса. Дабы сделать зрелище «эффектней», он оградил фигуры массивной железной решеткой, прутья которой соединены проволоками с электрической машиной в соседней комнате. Едва чья-то дерзкая рука или нога просунется между прутьями, как ее бьет электричество, причем удар нередко поражает и стоящих рядом, а так как причина остается неизвестной, эффект создается весьма комичный. Ужас, удивление, любопытство, пробуждаемые в зрителях, способствуют тому, что «дорфейловская преисподняя» доставляет поистине редкостное развлечение.

Есть в Цинциннати и картинная галерея, представлявшая для нас большой интерес, так как мистер Г., наш друг, сопровождавший мисс Райт в Америку, надеясь найти там спрос на исторические картины, намеревался начать именно с Цинциннати. Но было бы жестоко описывать эту картинную галерею, так как я убеждена, что через несколько лет она будет выглядеть совсем, совсем иначе.

И вот настало Четвертое июля — величайший из всех американских праздников. Четвертого июля 1776 года в филадельфийском законодательном собрании была подписана декларация их независимости.

На мой взгляд, холодность и угрюмость — главные недостатки американской манеры держаться, а потому я с истинным удовольствием наблюдала выражение общих чувств, которые вызывает этот день. Четвертого июля сердца американцев словно пробуждаются ото сна, длившегося триста шестьдесят четыре дня. Они становятся бодрыми, веселыми, оживленными, общительными, душевно щедрыми — во всяком случае, тратят деньги не считая, — и, если бы они хотя бы на время этого священного праздника перестали сплевывать, я сказала бы, что по крайней мере четвертого июля американцы кажутся очень привлекательными людьми. Правда, женщины почти не причастны к пышным зрелищам и веселью, которыми знаменуется этот день, но в остальном можно только восторгаться столь искренним празднованием милой их сердцу годовщины. И если бы у них к тому же хватило хорошего вкуса и добрых чувств не произносить ежегодно речи, полные брани по адресу старой родины, не говоря уж о цитировании воинственного манифеста, именуемого Декларацией независимости, то сам наш все милостивейший монарх мог бы с одобрением взглянуть на празднование этого дня и даже порадоваться, что двенадцать миллионов энергичных душ в четырех тысячах миль от его трона и его алтарей издают собственные законы и пьют чай так, как им нравится.

Особенно приятно в Цинциннати мне было познакомиться с мистером Флинтом, одним из самых даровитых людей, каких мне доводилось встречать, автором нескольких весьма примечательных книг и издателем «Вестерн мансли ревью». Он превосходный собеседник, и я не могу вспомнить другого человека, в ком склонность к тонкой сатире и даже сарказмам никак не умаляла бы доброты характера и любезности в обращении. Сила и острота некоторых его критических статей не уступят самым лучшим образчикам этого жанра, какие только мне доводилось читать. Он горячий патриот и американец до мозга костей, а потому, разумеется, мы далеко не всегда придерживались одинаковых мнений о предметах, которые обсуждали. Тем не менее он — единственный американец, чьи безоговорочные хвалы его стране не казались

мне ни преувеличенными, ни смешными, хотя заключалась ли причина в убедительности и блистательности его речей, искренности чувств или же в обходительности и благородстве его манер, судить не берусь.

Однажды мне довелось провести вечер—но не у мистера Флинта!—в обществе джентльмена, слывшего человеком ученым и чрезвычайно начитанным. Кроме того, он был, как говорится, «серьезным» господином и, несомненно, получал немалое удовольствие, полагая, что его достоинства признаются и в том и в другом отношении. Среди присутствовавших была очень приятная «серьезная» дама, в которой он, видимо, находил поддержку своим небесным устремлениям, мне же была представлена честь убедиться в его земном превосходстве. Разница между мной и ею заключалась в том, что к ней он обращался как к особе, если не вполне ему равной, то все же заслуживающей почтения, и улыбался ей, как архангел Михаил мог бы улыбнуться Еве. А со мной он говорил, точно апостол Павел со злословившими евреями. Правда, своих одежд он не отрясал, однако помахивал носовым платком с той же целью, и, хотя не завершал каждую фразу возгласом «я чист!», его тон, выражение лица и жесты более чем восполняли такое упущение.

Как нетрудно предположить, мишенью всех стрел его крохотного черного колчана служил наш бедный лорд Байрон. До этого вечера ни один серьезный господин при мне не превращал лорда Байрона в предмет своих назиданий, и я слушала очень внимательно. Сразу же стало очевидно, что все величавые строфы, навеки запечатлевшиеся в сердцах истинных любителей поэзии, остались неизвестны сердитому господину. А вот то, что великому поэту все же лучше было бы не писать, он столь же очевидно знал наизусть. Я так прямо ему и сказала и не скоро забуду, каким взглядом он на меня посмотрел.

О других авторах он знал весьма мало, но его критика была очень забавна.

Про Попа он сказал:

— Он так прочно забыт, что у нас в стране всякое упоминание о нем отдает напыщенным педантизмом.

Однако я не отступила и сослалась на «Похищение локона» как на свидетельство кое-какого таланта, да к тому же столь безупречного тона, что ему и сейчас не возбраняется доступ в гостиные. Но ссылка на эту поэму

привела серьезного господина почти в такое же негодование, каким он кипел, рассуждая о «Дон Жуане», и я непритворно не понимала причины его гнева, пока он не буркнул:

— «Похищение»! Заглавие, кажется, само за себя говорит!

Я назвала Драйдена, и он улыбнулся улыбкой, которая яснее всяких слов говорила: «Какой вздор болтает эта старуха!»

— Нам, сударыня, Драйден известен только по цитатам, а они встречаются лишь в книгах, которые давно уже никто не читает.

— Ну а Шекспир, сударь?

— Шекспир, сударыня, непристойен, и мы, благодарение богу, сумели в этом разобраться! Если уж нам приходится терпеть такое неблагочестие, как театральные зрелища, то пусть их хотя бы отличает просвещенность века, в который мы живем.

Вот уж поистине то, что называется быть *au courant du jour*¹.

О Мессинджере он не знал ничего. Про Форда и не слыхивал. Грей устарел. Прайора сам он не читал, но, насколько ему известно, это был препустой автор. Чосера и Спенсера он поставил рядом и уничтожил единым махом, объявив, что, по его мнению, авторов, которые писали на языке, теперь уже никому не понятном, упоминают только желая пустить пыль в глаза.

Вот самый литературный разговор из всех, в каких мне довелось участвовать в Цинциннати*.

Впрочем, есть много причин, почему всеобщий интерес к литературе в Америке невозможен. Разумеется, я делаю исключение для повсеместного чтения газет. Иначе мне пришлось бы сделать вывод, что нигде в мире не читают с таким усердием, как в Америке. Ведь там, какой бы слой общества ни взять, начиная с богатого коммерсанта, находящегося на самом верху, и кончая домашней прислугой, находящейся в самом низу, все постоянно заняты делом, а если выпадает свободная минута, ее тратят на то, чтобы проглядеть газету. Видимо, по этой

¹ В курсе современных событий (*фр.*).

*Приятные, непринужденные, безыскусственные беседы, которые велись в семейном кругу мистера Флинта, совсем не походили на те, что мне довелось услышать в других домах Цинциннати.— *Прим. автора.*

причине американские газеты более походят на журналы, и коммерсант, протягивая руку за накладной, может усладиться «Стансами» госпожи Хеманс или беспорядочными отрывками из «Жизни Байрона» Томаса Мура, а адвокат, штудирюя документы очередного дела, успевает ознакомиться с бесценными выводами какого-нибудь американского критика, полагающего, что «романы Булвера решительно превосходят романы сэра Вальтера Скотта», и даже аукционщик, торопясь к своей бочке или помосту, имеет возможность подкрепить свои претензии на образованность, пробежав цепким взглядом литературную колонку и узнав, что «описания мисс Митфорд поистине неопишуемы». Вы заходите в лавку купить ленту, и галантерейщик, перед тем как отмерить требуемую длину, отложит в сторону газету, а может быть, и две, и три. Я сама видела, как возчик с пивоварни, примостившись на оглобле своей подводки, читал газету, зажимая под мышкой еще одну. В другой раз я зашла в домик башмачника по фамилии Гаррис и увидела там газету, наполовину заполненную «оригинальными» стихами и адресованную Мэдисону Ф. Гаррису. Чтобы удостовериться, я спросила, не зовут ли его Мэдисоном.

— Да, сударыня, мое имя Мэдисон Франклин Гаррис! Боюсь, свое время он делил в равных долях между колодками и чтением поэзии, так как был бледен и выглядел бедняком.

По-видимому, это и есть всеобщее просвещение, которым так любят хвастать в Соединенных Штатах, но сомневаюсь, чтобы подобная всеобщность приносила населению большую пользу.

Среди тех, с кем мне довелось познакомиться, начитанны были лишь люди, сделавшие литературу своей профессией, и многие из них могли бы подняться гораздо выше в великой Республике (не американской, но изящной словесности), если бы писали для читателей, менее преданных журналам и газетам. И они поднялись бы еще выше, если бы писали для немногих, а не для множеств. Признаюсь, я совсем по-детски все время находила соответствия между внешним и внутренним отсутствием изысканности и изящества в книгах, написанных и изданных в этой стране. В них не найти отточенности мысли и тщательной завершенности, к какой стремится тот, кто знает, что читать его будут люди высокообразованные и обладающие истинным вкусом, а

их грязновато-голубая бумага и неряшливые шрифты* бесконечно далеки от той утонченной элегантности, которые делают каждую книгу достойной прикосновения и взгляда самого взыскательного литературного эпикурейца. Первой книгой, которую я купила в Америке, была «Кэнонгейтская хроника». Осведомившись о цене, я с приятным удивлением услышала, что она равна полутора долларам, то есть примерно шестой части суммы, которую я платила в Англии за эти томики. Но стоило мне перелистать серые, словно закопченные страницы, и у меня пропала охота считать свое приобретение дешевым. Бесспорно, удовольствие от сияющей белизной страницы с четким шрифтом теряется в пылком, стремительном, волшебном полете воображения, едва вы погружаетесь в новый роман автора «Уэверли». Так было и со мной, пока я не лишилась этого скромного удовольствия, и мне стыдно признаться, сколь часто, пока я переворачивала тонкие тусклые страницы, мой бедный суетный ум отвлекался от пиршества духа, тоскуя по веленовой бумаге.

1832

* Однако следует сделать исключение для «Америкэн куотерли ревью». По виду он ничем не отличается от английского «Куотерли ревью». — *Прим. автора.*

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЖЕНЩИНА

«Долина возвышает холм. В мире мало дружбы, и особенно между равными, хотя ее-то часто и восхваляют. А если дружба и существует, то меж тем, кто стоит выше, и тем, кто стоит ниже, ибо жребии их дополняют друг друга».

Бэкон

Для оценки цивилизации нет мерки надежнее, чем положение той половины общества, над которой властвует вторая половина,— чем способы, какими осуществляет право сильного. Приложение такой мерки показывает, что американская цивилизация вопреки другим признакам состояния американского общества отнюдь не столь уж высока. В своем отношении к женщинам американцы много ниже не только собственных демократических принципов, но даже обычаев, принятых в разных странах Старого Света.

Низкую степень их цивилизации в этом отношении вполне обличает хотя бы то, что обе стороны равно не замечают, в какое тяжелое положение поставили женщину те, в чьих руках власть. Умственное развитие женщины ограничивают, ее нравственное чувство подавляют, ее здоровье губят, слабости поощряют, а силу характера карают, и в то же время ей внушают, будто она живет в женском раю—в мире не найти другой страны, которая так похвалялась бы «рыцарственным» с ней обхождением. Иными словами, в дилижансе ей отводятся лучшие места и, если в комнате не хватает стульев, мужчины стоят; в речах, произносимых по тому или иному торжественному случаю, она слышит панегирики женам и домашнему очагу и риторические воззвания к женщине; волосы ее мужа встают дыбом при одном намеке на то, что она могла бы зарабатывать себе на жизнь, и он трудится в поте лица, чтобы обеспечивать ее; ей предоставлена свобода отдавать свой пыл религии, лишь бы мораль,

политика и философия оставались вне поля ее зрения, а собственная ее нравственность оберегается строжайшим соблюдением приличий в ее присутствии. Короче говоря, женщину снисходительно балуют, лишая ее права на справедливость. В принципе ее положение отличается от положения рабов только тем, что снисходительность эта повсеместна и почти обязательна, а не диктуется чьими-то капризами и прихотью. Но в обоих случаях справедливость бесцеремонно подменяется волей сильного. И в обоих случаях покорность многих перед насилием и жгучее возмущение, которое оно возбуждает у незначительного меньшинства, свидетельствуют, с одной стороны, о духовной деградации всего класса, а с другой — доказывают, что человек в полной мере достоин пользоваться всеми данными ему правами.

Умственное развитие женщины ограничивается. С доказательствами этого я столкнулась сразу же. В первые десять дней после моего приезда я встретила среди дам, с которыми меня познакомили, трех несноснейших педантов в юбке, а затем, путешествуя по стране, наблюдала такое разнообразие и широту женского педантизма, какого в Европе не увидишь на протяжении всей жизни. Я могла бы до конца книги рисовать портрет за портретом, но воздержусь из уважения к тому же самому педантизму. Там, где развитию ума не ставятся препоны, педантизма не найти ни среди мужчин, ни среди женщин. Он возникает, когда ум не может оставаться совсем уж пустым, но вынужден доказывать свою силу в тисках моральной узости. Педантизм свидетельствует о первых попытках ума вырваться из своих оков, а потому в нем следует видеть обнадеживающий симптом.

Умственное развитие женщины ограничивается ничем не оправданным убожеством обеих сторон образования — как обучения, так и жизненного опыта. Хотя для каждого индивидуума хронологически первое предшествует второму, обучение в целом является прямым следствием жизненного опыта. Поскольку у женщин нет в жизни назначения, которое требует истинного образования, его им и не дают. Женское образование в Америке мало чем отличается от английского. Существует ряд предметов, которые преподаются, так как их принято знать. Они помогают заполнить досуг, безобидно коротать время, поддерживать разговор, а также позволяют женщине быть собеседницей мужа и чему-то учить своих детей. Но

даже то, что дается, воспринимается по большей части пассивно и главным образом бездумно запоминается. О тщательном продумывании различных воздействий, способствующих развитию ясной и логической умственной деятельности, и речи нет, за исключением редчайших случаев. Если же живость ума превосходит пределы, облегчающие работу учителя, она вызывает страх и ее подавляют. И это вполне естественно, раз женщинам недоступны обязанности, к которым готовят мужчин. До тех пор пока женщинам возбраняется осуществление ряда естественных прав, пока их справедливые требования никем не выслушиваются и им даже в воображении закрыт доступ к большим целям, умственная деятельность опасна — или, по местному выражению, неприлична. А потому женщине оставляется одна-единственная цель — замужество. Философией она может заниматься, лишь рискуя стать посмешищем за такую прихоть, наука для нее сводится к развлечению, оплачиваемому той же ценой. Правда, формально ей доступна область искусства, но ее лишают необходимого обучения и — что даже еще важнее — подлинного знакомства с жизнью, которое совершенно необходимо. Утверждается, что ей открыто литературное поприще, но какой ценой и при каких ограничениях? Заключительные три страницы разбора последнего романа мисс Седжвик в «Норт америкен ревью» наглядно подтверждают все, что можно сказать о том высокомерии, с каким в Америке трактуется женский интеллект. Да, мне известно, что многие краснеют от стыда за эту статью и уверяют, что ни в чем с ней не согласны, но самый факт, что кто-то в этой стране мог написать подобную статью, что нашелся издатель, ее санкционировавший, и что такому оскорбительному издательству было дозволено увидеть свет, уже неопровержимо свидетельствует об унижении женщины. Следовательно, для нее не остается ничего, кроме замужества. А религия? — таково неизбежное возражение. Но религия — это удовлетворение определенной духовной потребности, а не призвание и не занятие. Это та нравственная атмосфера, в которой люди живут и действуют. Однако человек живет не для того, чтобы дышать. Он дышит для того, чтобы жить. Некая немецкая дама большого ума и редкой образованности с удивлением сказала мне, что все познания американок опираются на богословие. У нее на родине, продолжала она, богосло-

вию отведено свое место наряду с другими занятиями, но никогда до знакомства с американками ей не доводилось слышать, чтобы его делали основой всех наук. Впрочем, и в своем осуждении эта дама была излишне снисходительна. У американских женщин нет необходимых условий для подлинного изучения богословия. Им даже неизвестно различие между богословием и религией, между наукой и духовными потребностями. В занятие они превращают как раз религию, и потому на их поступки, а уж тем более на развитие ума, она почти никакого влияния не оказывает. И вновь мы вынуждены возвратиться к замужеству как единственному узаконенному назначению женщины и сделать нижеследующий неопровержимый вывод: сущность женского образования в Америке, как и в Англии, сводится к тому, чтобы внушить женщинам убеждение, что цель их жизни — замужество, однако им полагается делать вид, будто это не так.

Нравственное чувство женщины подавляется. Если существует какая-то всеобщая человеческая способность, обязанность и привилегия, то она заключается в принятии принципов и законов долга. Поскольку каждый индивидуум, будь то мужчина или женщина, обладает рассудком и совестью, открыть и принять названные принципы и законы он должен сам. Однако это не только почти не по силам тем, кто, подобно американским женщинам, лишен выбора жизненных целей, но и вся машина общественного мнения обрушивает оскорбительное презрение на женщин, которые проявляют свободу мысли, самостоятельно решая, в чем заключается их долг и как именно следует его выполнять. Беспристрастного наблюдателя нисколько не удивляет, что женщины страдают положению рабов — рабынь-матерей и рабынь-жен, а также духовно сломленных мужчин — и готовы для его облегчения сделать все им доступное; лишь естественно, что им стыдно за тех белых рабов на Севере, которые позволили запугать себя и не решаются воспользоваться свободой слова и печати для помощи угнетенной расе, как естественно и то, что сами они не желают следовать подобному примеру. Можно только восхищаться тем, как эти женщины, каждая сама по себе, используют нравственную свободу, пренебрегая грозящими им за это карами. Однако поистине беспредельны усилия подавить деятельность женщин, решивших вот так применить свои

человеческие способности в вопросе об освобождении рабов,—и не только саму их деятельность, но влияние ее на тех, кто наблюдает со стороны и, возможно, вдохновленные красотой того, что увидели, уже готовы к ним присоединиться. Ведь это женщины осуществили право собраний и свободы обсуждений в тот день, когда Гаррисон подвергся в Бостоне нападению толпы. По всему городу были затем расклеены афиши, поносившие этих женщин за то, что они забыли об украшающей их пол утонченности и деликатности чувств. Газеты, превозносящие светских дам за усердие, с каким они занимаются благотворительностью, собираясь в разного рода комитетах и произнося целые речи, на этот раз были полны всяческого рода намеков и даже брани, а выпущенные по этому поводу брошюры все осуждали женщин, которые последовали велению долга, сами определив, в чем он заключается. Одна дама, весьма талантливая и с самой высокой репутацией, чьи книги пользовались большим успехом до того дня, когда она, повинуясь редчайшему сознанию своего долга, совершила истинный подвиг, стоящий больше создания любой книги, и объявила себя аболиционисткой, с тех пор превратилась чуть ли не в изгоя. Дамы одной семьи, снискавшие большое уважение в обществе как учительницы за свои таланты и умение преподавать, потеряли всех учениц, едва присоединились к противницам рабства. И во всех подобных многочисленных случаях, о которых я слышала, в упрек женщинам ставятся не их убеждение в недопустимости рабства, но то, что они позволяют себе действовать в согласии с этим убеждением. Постоянные вопли о стыдливой скромности прекрасного пола доказывают, что, по мнению суровых критиков, верность велениям совести несовместима с этой скромностью. Если так, то пусть отступит скромность. Ведь оказаться в опасности при таких обстоятельствах может лишь ложная скромность. Без сомнения, и в Древнем Риме находились люди, возмущенные неприличной смелостью христианок, которые во имя своей веры выходили на арену цирка, чтобы отдать себя на растерзание львам. Несомненно, в английской армии многие джентльмены считали вопиющим нарушением стыдливой скромности прекрасного пола тот факт, что жены и дочери героев Войны за независимость становились ее героинями. Но обаяние самого события обладает удивительным свойством воздействовать на окончательный

приговор. Бесстрашных христианок, храбрых американских жен и дочерей, от которых нас отделяют полвека, почитают за подобные поступки, но их смелые, достойные своих бабушек внучки, повинующиеся своему нравственному чувству, теперь становятся обличительницами и мученицами наших дней.

Я могла бы привести множество разговоров и случаев, показывающих, как подавляется нравственное чувство женщины, но место у меня здесь найдется лишь для одного. А потому я выбираю нижеследующий. Дама, слышущая на редкость рассудительной и добросердечной, если только дело не касается трудных вопросов, однажды с весьма большой похвалой упомянула трактат о рабстве преподобного доктора Чаннинга, но добавила:

— Не кажется ли вам, что сейчас о рабстве говорят и пишут слишком уж много?

— Нет. По моему мнению, это и необходимо, и вполне естественно.

— Но как люди, разделяющие веру доктора Чаннинга в жизнь будущую, могут с убедительностью доказывать, что положение рабов столь уж плохо? Раз наша жизнь — лишь миг в сравнении с ожидающей нас вечностью, настолько ли важно, какова она?

— Но если бы речь шла о ваших детях? Будь они обращены в рабство, утешила бы вас мысль, что рабами они останутся лишь семьдесят библейских лет?

— О, нет! И все же кажется, что жизнь кончается так быстро!

— А что вы скажете о том, какими они встретят ее конец? Выполнят ли они ее назначение?

— Видите ли, рабы не понесут кары за то, чем они стали. Ибо их вины в том нет. Отвечать за это будут их господа, а не они.

— Возлагайте ответственность на кого вам угодно. Однако неужели вы в согласии с вашей верой полагаете вовсе неважным, вступит ли человек в жизнь будущую совершенно невежественным и низведенным до положения неразумного животного или же таким, каким, по вашим словам, был доктор Чаннинг?

— Нет, это очень важно. Но с другой стороны, нас все это не касается. Во всяком случае, нас, женщин.

— А мне казалось, вы считаете себя истинной христианкой.

— Да, разумеется. Вы скажете, что христиане должны

помогать страдальцам, кем бы они ни были и где бы ни обретались. Но ведь к женщинам это, бесспорно, приложимо отнюдь не во всем.

— А где христианство, которое вы исповедуете, приводит подобное разделение?

Она сумела ответить лишь, что, по ее мнению, женщинам следует ограничиваться своими домашними делами. Я спросила, как повелело бы ей поступить ее христианское милосердие, если бы она увидела на улице, что большой мальчик избивает маленького?

— О, на днях я уняла на улице такого! Пройти мимо и не вмешаться было бы дурно!

— Прекрасно. Но если тысячи сильных мужчин на Юге избивают десять тысяч слабых рабов и вы могли бы способствовать прекращению этого избиения, во всеуслышание объявив, что вы о нем думаете, разве христианский долг не обязывает вас провозгласить свое мнение независимо от того, мужчина вы или женщина? При чем тут ваш пол?

До какой ужасной степени подавлено нравственное чувство женщины, видно хотя бы из распространенного убеждения, будто существуют особые мужские добродетели и особые женские. Поразительно, что общество, всячески подчеркивающее свое христианство, почти повсеместно лелеет подобное заблуждение и не замечает, что, будь оно право, не Христос являл бы собой средоточие и пример всех добродетелей, но существовало бы особое евангелие для женщин и другие апостолы распространяли бы его.

Что касается занятий, которыми американские дамы заполняют свой досуг, то все сказанное выше уже ясно показывает, насколько они пустяковые и как мал их выбор. Значительная часть предается благотворительности, принося пользу или вред в зависимости от просвещенности своего ума. В Новой Англии весьма много времени отдается присутствию на проповедях и всяческих религиозных собраниях и посещению в религиозных целях бедных и сирых. Приводит подобная деятельность к точно тем же результатам, как повсюду, где она наблюдается. В той мере, в какой она не дает очерстветь душе и помогает взаимному знакомству разных сословий, ее можно считать полезной. Но она вредна в той мере, в какой внушает благотворительницам ложные представления, порождает нездоровую жажду религиозного экстаза,

поощряет вмешательство в чужую жизнь и ханжество, а также развращает или порабощает тех, кто мало нуждается в подобных услугах, и отталкивает тех, кому они действительно необходимы. Я склоняюсь к мысли, что пользы много, но и вреда не меньше. Однако если женщины заняты настоящим делом, делают добро или предлагают религиозное утешение, когда представляется случай, не превращая это в особое занятие, пользы бывает много больше, вреда же никакого.

Все американские дамы более или менее начитанны, и некоторые обращаются к чтению в самых похвальных целях — чтобы избежать умственной пустоты. Читательниц более чем достаточно, но умеющих думать самостоятельно куда как мало. Умы чрезвычайно пассивны, и потому весьма культивируется знание языков. Когда мне рекомендовали какую-нибудь женщину как очень осведомленную особу, я заранее догадывалась, что она — полиглот. Я познакомилась со множеством дам, читающих по-латыни, а некоторые выучили греческий, другие — древнееврейский, третьи — немецкий. За последним исключением, практической пользы их знания им не приносили, а лишь служили невинным способом скрашивать досуг. Примеры подлинной умственной деятельности и общей силы характера я чаще наблюдала среди дам, отдававших книгам мало времени, чем среди тех, которые слыли очень начитанными. В Штатах мне не довелось встретить ни единой сносной художницы. Хороший рисунок мне выпало увидеть лишь раз, а хорошую музыку услышать всего два раза. Полная неудача всех поползновений рисовать и по сей день остается для меня тайной. Попытки эти непрерывны и повсеместны, но результаты ниже всякой критики. Натурфилософией женщины серьезно не занимаются, хотя кое-кто и претендует на занятия логической и нравственной философией. Но чем меньше об этом будет сказано, тем лучше.

Такое положение вещей нельзя не назвать прискорбным. Возможно, у кого-то возникнет соблазн спросить: «Но что же такое — американские женщины?» Провидение дает им образование куда лучше того, которое они получают от учителей. Их жребий, как жребий всего человечества, — это труд, испытания, радость и горе. Они хорошие жены и, наученные природой, хорошие матери. В пределах своего круга деятельности они отличаются приятным умом, приятным характером и

приятными манерами. Красота их поразительна, как, на мой взгляд, и остроумие. Милосердия у них предостаточно, но, к сожалению, оно не сочетается с просвещенностью, и складывается впечатление, что без религии они существовать не способны. Религиозность повсюду в избытке, но в ней есть нечто не совсем здоровое. Такой отзыв может показаться излишне суровым, но ведь признано, что религиозность заложена в природе, в нравственном состоянии индивидуума. Так разве не ясно, что религиозность не может быть здоровой, если природа эта не находит полного выхода, а нравственное состояние не обрело гармоничности?

«Рыцарственность» же, с какой стране благоугодно относиться к своим женщинам, имеет то прискорбное и вредное следствие, что женщинам здесь трудно, а порой и невозможно самим зарабатывать свой хлеб. Там, где хвастливо гордятся, что женщины не работают, труд их не поощряется и не вознаграждается. Именно так обстоит дело в Америке. В некоторых местах уже столько женщин вынуждены сами заботиться о своем пропитании, что дурная традиция волей-неволей должна уступить силе обстоятельств. Пока же участь неимущих женщин очень тяжела. До появления фабрик у них было лишь три возможности — учить, шить, содержать пансион или гостиницу. Теперь появились фабрики, а в типографии женщин берут не только брошюровщицами, но и наборщицами.

Я позволила себе коснуться этой темы лишь слегка. Долго останавливаться на ней бесполезно, ибо корень зла лежит в системе, которая принижает женщин, закрывая им доступ к подавляющему большинству занятий, а не во второстепенных условиях, которые можно было бы улучшить, придав гласности те или иные их дурные стороны. Но я попросила бы филантропов всех стран осведомиться у врачей, каково состояние здоровья швеек, а затем подумать, не противоречит ли простой человечности тот факт, что женщины вынуждены зарабатывать свой хлеб лишь этим ремеслом. Пусть узнают, как оплачивается такого рода труд, а затем пусть удивляются, если могут, что свои жертвы распутники особенно часто находят именно в этом сословии. Пусть почитают силу духа тех, кто хранит добродетель, хотя труд, который медленно и неумолимо разрушает их здоровье, едва их кормит, грех же оплачивается роскошью и приятным бездельем. В

нынешнем веке, лежащем между феодальными временами и грядущей эрой, когда жизнь и все поприща будут открыты для женщин наравне с мужчинами, положение работниц таково, что, получи их страдания достаточную известность, все общество содрогнулось бы от ужаса и стыда.

Женщинам, страшащимся жребия швей — почти одинаково тяжкого и у модной модистки, и у самой смиренной штопальщицы чулок, — тем, кто чурается его из гордости или из боязни нищеты, болезни и соблазна, остается лишь одно — учить детей. Есть ли обязанности, сопряженные с большей ответственностью и требующие большей подготовки, а потому, казалось бы, и более почетные, нежели обязанности наставника юности? Есть ли труд, для которого требуется большее призвание, если не сказать — талант? И тем не менее в Америке, как и повсюду, гувернантками становятся те, кто учит только потому, что нуждается в хлебе насущном, а при иных обстоятельствах и не подумал бы этим заниматься. Немногим, очень немногим обучение и воспитание детей доставляют истинное наслаждение, несмотря на все сопряженные с этим трудности и заботы. Для остальных же такая обязанность тягостна, а если ей сопутствуют бедность и унижение, то и вовсе невыносима. Пусть филантропы полюбопытствуют, какую долю занимают гувернантки среди обитателей приютов для умалишенных. Ответ на этот вопрос был бы и обличающим и поучительным. В каком положении должен находиться женский пол, если на каждое вакантное место домашней учительницы находится множество желающих, и обладающих всеми необходимыми для этого качествами, и ничем не обладающих? Чего можно ожидать от поколения детей, доверенных заботам наставниц, пусть даже скрупулезно добросовестных, но не любящих своих обязанностей, замученных нуждой, унылых?

Самые лучшие гувернантки Соединенных Штатов в семьях южных плантаторов получают в год долларов шестьсот, если обязуются обучать всему. На Севере им платят меньше. Однако не только на Севере, но и на Юге невозможно обеспечить себя на случай болезни и на старость. На Севере женщины, заслужившие глубокое доверие общества, могут в течение нескольких лет обрести финансовую независимость, открыв школу, но в целом скудость вознаграждения за женский труд в Аме-

рике кладет пятно на страну, как уже несколько лет назад указывали американские филантропы. Надеюсь, они не отступятся, хотя никакие благотворительные усилия не помогут исправить зло. Слишком глубоко оно коренится, ибо его источник — подчиненное положение женщин. Однако обличения и призывы филантропов могут привлечь внимание общества — а главное, внимание самих женщин — именно к этой изначальной причине. Прогресс или эмансипация любого класса обычно, если не всегда, осуществляется теми, кто сам принадлежит к этому классу. Так должно быть и в этом случае. Каждая женщина должна узнать правду о положении всего своего пола и о своем собственном положении. И неминуемо наиболее высокие духом среди них рано или поздно сумеют сплотиться и стать нравственной силой, которая ниспровергнет власть ханжества и порвет узы (шелковые в одних случаях, но железные в других) феодальных предрассудков и традиций. А пока следует сделать вывод, что принципы Декларации независимости попросту не касаются половины человечества? Если так, то на каком основании? А если не так, то каким образом угнетенное и зависимое положение женщин согласуется с утверждением, что «Творец наделил всех людей некоторыми неотъемлемыми правами, в число которых входит право на жизнь, свободу и стремление к счастью»?

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мои читатели имеют возможность сами разобраться, действительно ли существовали в Америке те влияния и тенденции, которые заставили меня насторожиться, или это только плод моего воображения. Они могут сами установить, проявлялись ли с тех пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смогут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свидетельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мной отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит, я имел основания писать то, что я написал. Если же они таких фактов не обнаружат—значит, я ошибся, но без всякого умысла.

Никакого предвзятого мнения у меня нет и никогда не было—а если оно и было, то в пользу Соединенных Штатов. У меня в Америке много друзей, я с приятною и интересом отношусь к этой стране и верю и надеюсь, что она успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества. Выставлять меня человеком, относящимся к Америке злобно, холодно или враждебно, просто глупо, а сделать глупость—всегда легко.

1842

ИЗ ГЛАВЫ III

Во всех общественных учреждениях Америки царит величайшая учтивость. Значительный сдвиг в этом направлении наблюдается и в иных наших департаментах, однако многим нашим учреждениям—и прежде всего таможене—не мешало бы взять пример с Соединенных

Штатов и не относиться к иностранцам с такой оскорбительной неприязнью. Угодничество и алчность французских чиновников вызывают только презрение, но хмурая, грубая нелюбезность наших служащих не только омерзительна для тех, кто попадает к ним в лапы,—она позорит нацию, которая держит таких злобных псов у своих ворот.

Ступив на американскую землю, я был просто поражен тем разительным контрастом, какой являла собой местная таможня в сравнении с нашей,—тем вниманием, любезностью и добродушием, с какими ее служащие выполняли свои обязанности.

В Бостон мы прибыли—вследствие какой-то заминки у причалов—только к вечеру, и я впервые увидел город утром, на другой день после нашего прибытия—а было это воскресенье,—когда направился пешком в таможню. Замечу кстати, что, не успев еще покончить с нашим первым обедом в Америке, мы получили столько официальных приглашений посетить на следующее утро церковь, что я не рискую даже назвать их число—могу сказать лишь, не впадая в излишнюю точность, что, по самым скромным подсчетам, нам было предложено такое множество мест, что можно было бы рассадить на них целую дюжину, а то и две солидных семейств. Не менее многочисленны были и те верования и религии, представители которых искали нашего общества.

Поскольку пойти в этот день в церковь из-за того, что у нас не было свежего платья, мы не могли, нам пришлось отклонить любезные приглашения все до одного; и я волей-неволей вынужден был отказать себе в удовольствии послушать доктора Чаннинга, который впервые после долгого перерыва должен был прочесть в то утро проповедь. Я называю имя этого почтенного и превосходного человека (с которым я очень скоро имел счастье лично познакомиться), желая воздать скромную дань восхищения и преклонения его высоким качествам и благородному характеру, а также той смелости и человечности, с какими он неизменно выступал против рабства, этого позорнейшего клейма и мерзкого бесчестья.

Но вернемся к Бостону. Когда я вышел в то воскресное утро на улицу, воздух был такой прозрачный, а дома такие яркие и веселые, вывески такие кричащие, золотые буквы на них такие золотые, кирпич такой красный, камень такой белый, ставни и ограды такие зеленые,

дощечки и ручки на дверях такие начищенные и блестящие и все такое хрупкое и нереальное, что казалось, меня окружают декорации к некоей пантомиме. Торговцы — если у меня достанет смелости назвать кого-либо торговцем, когда здесь одни коммерсанты, — редко селятся над своими лавками в деловых кварталах, а потому в одном доме подчас соседствуют представители нескольких профессий и весь его фасад испещрен вывесками и надписями. Идя по улице, я то и дело запрокидывал голову, втайне ожидая увидеть на их месте что-то другое, а завернув за угол, каждый раз искал глазами клоуна или Панталоне, который, несомненно, скрывается где-нибудь за дверью или в портале. Что же до Арлекина и Коломбины, то я сразу решил, что они поселились (ведь в пантомиме они только и делают, что ищут, где бы поселиться) в крошечной одноэтажной лавчонке часовщика, возле нашей гостиницы: среди всяких эмблем и вывесок, почти сплошь закрывавших фасад этого предприятия, там висел огромный циферблат, наверно для того, чтоб сквозь него прыгать.

Предмесья Бостона — если только это возможно — выглядели еще менее реально. Белые деревянные домики с зелеными ставнями (до того белые, что глазам больно) в таком беспорядке раскиданы и разбросаны по всем направлениям, а церквушки и часовенки так яркие и нарядны и так расписаны, что, кажется, их можно сгрести в кучу, как детские кубики, и уложить в совсем маленькую коробочку.

Бостон — красивый город и, по-моему, не может не произвести самого приятного впечатления на приезжего. Жилые дома — по большей части вместительны и изящны, магазины — отличны, а общественные здания — красивы. Дом, в котором разместилось правительство штата, построен на вершине холма, сначала уступами поднимающегося от берега реки, а потом резко устремляющегося ввысь. Перед домом — огороженный сад, именуемый общественным. Выглядит все это премило; к тому же с высоты открывается чудесный вид на весь город и его окрестности. Помимо множества удобных помещений для различных правительственных органов, в здании есть две красивейшие комнаты: в одной заседает палата представителей штата, в другой — сенат. Заседания, на которых я здесь присутствовал, проводились со всею серьезностью и с соблюдением всех формальностей — безусловно, в расче-

те на то, чтобы снискать внимание и уважение.

Жители Бостона отличаются утонченностью интеллекта и на голову выше обитателей других городов, что, несомненно, следует отнести за счет незаметного влияния Кембриджского университета, находящегося в трех или четырех милях от города. Профессора этого университета — джентльмены многосторонне образованные; и, должен сказать, любой из них украсил бы любое общество в нашем цивилизованном мире и оказал бы ему честь своим присутствием. Многие из числа бостонской и окрестной аристократии — да, очевидно, и многие из местных представителей свободных профессий — окончили это заведение. Каковы бы ни были отрицательные стороны американских университетов, в них не насаждают предрассудков; не взращивают фанатиков и ханжей; не ворошат давно потухший пепел суеверий; не мешают человеку в его тяге к совершенствованию; никого не исключают за религиозные убеждения, а главное — на протяжении всего периода обучения не забывают, что за стенами колледжа лежит мир, и притом довольно широкий.

С неизъяснимым удовольствием наблюдал я неприметное, но несомненное влияние, которое оказывает университет на маленькое население Бостона: на каждом шагу я подмечал привитые им гуманные вкусы и стремления; тесную дружбу, зародившуюся еще в его стенах; доказательства того, сколько чванства и предрассудков рассеяно им. Златой телец, которому поклоняются в Бостоне, — сущий пигмей в сравнении с гигантскими идолами, установленными в других отделениях огромной конторы, обосновавшейся по ту сторону Атлантического океана, а всемогущий доллар вовсе не кажется таким уж значительным в пантеоне более могущественных богов.

Но главное — я искренне убежден, что общественные организации и благотворительные учреждения в столице Массачусетса настолько близки к совершенству, насколько могут этому способствовать внимательное и чуткое отношение, благожелательность и человечность. Никогда в жизни не наблюдал я большего довольства и счастья — несмотря на увечья и горечь неполноценности, — чем в стенах тех заведений, которые я посещал.

Самым замечательным и приятным является то, что учреждения эти в Америке существуют либо под покровительством, либо при поддержке государства — или же (в случае, если они не нуждаются в помощи) осуществля-

ют свою деятельность в согласии с государством и, следовательно, народом. Имея в виду самый принцип обращения с людьми труда, чей дух нуждается в поощрении или поддержке, я полагаю, что общественная благотворительность неизмеримо лучше любых, самых щедрых, частных фондов. У нас в стране, где вплоть до недавнего прошлого правительство не очень склонно было проявлять излишнее внимание к огромным народным массам или видеть в них существа, поддающиеся исправлению, расцвела неслыханная в истории земного шара частная благотворительность, принесшая несчастным и обездоленным неизмеримое благо. Но на долю правительства нашей страны, ни словом, ни делом не принимавшего в этом участия, не падает даже самой малой толики благодарности за эту деятельность; а поскольку, кроме работного дома и тюрьмы, оно не предоставляет несчастным иного пристанища или помощи, то они, естественно, склонны видеть в нем сурового хозяина, скорого на расправу и наказание, а не доброго покровителя, милостивого и чуткого в час нужды.

Благотворительность, существующая у нас в стране, как показывают отчеты Бюро прерогатив при Докторс-Коммонс, может служить наглядной иллюстрацией к поговорке «добро худо переможет». Какой-нибудь несметно богатый старый джентльмен или старая леди, окруженные толпой нуждающихся родственников, составляют, как минимум, одно завещание в неделю. Этот старый джентльмен или леди, и в лучшие-то времена не отличавшиеся кротостью нрава, сейчас только и знают, что охать: и везде-то у них болит, и всюду колет,—а сколько у них причуд и капризов; сколько нытья, подозрительности, недоверия и предубеждений. Такие люди только тем и занимаются, что аннулируют старые завещания и составляют новые; а их родственники и друзья (иных с малых лет воспитывали в твердой уверенности, что они унаследуют большое состояние, и потому их чуть не с самой колыбели намеренно отучали от полезного труда) столь часто, столь неожиданно и столь бесповоротно сначала лишаются наследства, потом восстанавливаются в правах, потом снова их лишаются, что всю семью богача вплоть до третьего колена непрерывно трясет лихорадка. Наконец всем становится ясно, что старому джентльмену или старой леди недолго осталось жить; и чем это яснее, тем отчетливее понимают старая

дама или старый джентльмен, что все их родственники состоят в заговоре против несчастного умирающего; а раз так, то старая леди, или старый джентльмен, составляет заново свое последнее завещание — на сей раз действительно последнее, — прячет его в фарфоровый чайник и наутро выпускает дух. Тогда выясняется, что все имущество покойного, движимое и недвижимое, поделено между полудюжиной благотворительных заведений и что, отбыв в мир иной, он из чистой злобы совершил много добра, породившего немало злопыхательства и горя.

ИЗ ГЛАВЫ VI

Прекрасное сердце Америки далеко не такой чистенький город, как Бостон, но многие его улицы отличаются теми же характерными особенностями; только краска на домах чуть менее свежая, вывески чуть менее кричащие, золотые буквы чуть менее золотые, кирпич чуть менее красный, камень чуть менее белый, ставни и ограды чуть менее зеленые, ручки и дощечки на дверях чуть менее начищенные и блестящие. Здесь множество переулков, почти столь же бедных чистыми тонами красок и столь же изобилующих грязными, как и переулки Лондона; здесь есть также один квартал, известный под названием Файв-Пойнтс, который по грязи и убожеству ничуть не уступает Севен-Дайелсу или любой другой части знаменитого района Сент-Джайлс.

Многим известно, что большой проспект, служащий местом для прогулок, называется Бродвеем: это широкая и шумная улица, которая тянется мили на четыре от Бэттери-Гарденс и до противоположного конца города, где она переходит в проселочную дорогу. Не присесть ли нам на верхнем этаже отеля «Карлтон» (расположенного в лучшей части этой главной нью-йоркской артерии), а когда надоест смотреть на жизнь, кишашую внизу, не выйти ли рука об руку на улицу и не смешаться ли с людским потоком?

Тепло! Солнечные лучи, проникая сквозь открытое окошко, припекают голову, как будто их направляют на нас сквозь зажигательное стекло; день в самом разгаре, и погода для этого времени года стоит удивительная. Есть ли в мире еще такая солнечная улица, как Бродвей? Каменные плиты тротуаров отполированы до блеска

бесчисленным множеством ног; красные кирпичи домов выглядят так, словно они все еще находятся в раскаленных печах, а при взгляде на крыши омнибусов кажется: пролей на них воду, и от них столбом пойдет пар и дым и запахнет горелым. Омнибусам здесь нет числа! Не менее шести проехало мимо за такое же количество минут. И масса наемных кэбов и колясок: двуколки, фаэтоны, тильбюри на огромных колесах и собственные выезды — довольно неуклюжие и мало чем отличающиеся от омнибусов; они рассчитаны на плохие дороги, начинающиеся там, где кончаются городские мостовые. Кучера — негры и белые; в соломенных шляпах, черных шляпах, белых шляпах, в лакированных фуражках, в меховых шапках; в куртках бурого, черного, коричневого, зеленого, синего цвета, нанковых, холщовых или из полосатой бумазеи; а вот — единственный в своем роде (смотрите, пока он не проехал, а то будет поздно) — экипаж со слугами в ливреях. Это какой-то республиканец с Юга, который нарядил своих негров в ливрею и, преисполненный сознания собственного великолепия и могущества, надулся, точно какой-нибудь султан. А там, подальше, где остановился фаэтон, запряженный парой серых лошадей с аккуратно подстриженными хвостами и гривами, стоит грум из Йоркшира, совсем недавно прибывший в эти места. Он с грустью осматривается вокруг, ища кого-нибудь в таких же, как у него, высоких сапогах с отворотами, и, возможно, ему с полгода придется ездить по городу, так и не увидев такого. Но дамы — бог мой, как они разодеты! За десять минут мы видели столько всевозможных расцветок, сколько в другом месте за десять дней не увидишь. Какие разнообразнейшие зонтики! Какие радужные шелка и атласы! Какие розовые тонкие чулки и узкие остроносые туфли; как развеваются ленты и шелковые кисти и что за выставка роскошных накидок с пестрыми капюшонами и на яркой подкладке! Молодые люди, как видно, любят носить отложные воротнички, заботливо холят бакенбарды и еще заботливей — бородку, но и по одежде и по манерам им далеко до дам, ибо, по правде говоря, они принадлежат к совсем особой разновидности рода человеческого. Проходите мимо, байроны конторки и прилавка, дайте взглянуть, что это за люди шагают позади вас — те двое труженников в праздничной одежде: один из них держит в руке измятый клочок бумаги и старается прочесть на нем

трудное имя, а другой смотрит по сторонам, отыскивая это имя на всех дверях и окнах.

Оба — ирландцы. Это можно было бы распознать, даже если б они были в масках, по их длиннополым синим сюртукам с блестящими пуговицами, а также по брюкам бурого цвета, которые они носят, как люди, привыкшие к рабочей одежде и чувствующие себя неловко во всякой другой. Трудно было бы вам наладить жизнь в ваших образцовых республиках без соплеменников и соплеменниц этих двух тружеников. Ведь кто в таком случае стал бы копать землю, и выполнять черную домашнюю работу, и прорывать каналы, и прокладывать дороги, и осуществлять великие замыслы по благоустройству страны? Оба — ирландцы, и оба крайне озадачены, не зная, как найти то, что они ищут. Подойдем и поможем им из любви к родине, из уважения к духу свободы, который учит нас ценить честные услуги, оказываемые честным людям, и честный труд ради честного куска хлеба, каким бы этот труд ни был.

Ни днем ни ночью мы нигде не встречали нищих, но всяких других бродяг — великое множество. Бедность, нищета и порок пышно процветают там, куда мы сейчас направляемся.

Вот оно, это переплетение узких улиц, разветвляющихся направо и налево, грязных и зловонных. Такая жизнь, какую живут на-этих улицах, приносит здесь те же плоды, что и в любом другом месте. У нас на родине, да и во всем мире, можно встретить грубые, обрюзгшие лица, что глядят на вас с порога здешних жилищ. Даже сами дома преждевременно состарились от разврата. Видите, как прогнулись подгнившие балки и как окна с выбитыми или составленными из кусочков стеклами глядят на мир хмурым, затуманенным взглядом, точно глаза, поврежденные в пьяной драке. Многие из уже знакомых нам свиней живут здесь. Не удивляются ли они иной раз, почему их хозяева ходят на двух ногах, а не бегают на четвереньках? И почему они говорят, а не хрюкают?

Почти каждый из домов, которые мы до сих пор видели, представляет собой таверну с низким потолком; стены баров украшены цветными литографиями Вашингтона, английской королевы Виктории и изображениями американского орла. Между углублениями, в которых

стоят бутылки, вкраплены кусочки зеркала и цветной бумаги, так как даже здесь в какой-то мере чувствуется любовь к украшениям. И поскольку завсегдатаи этих притонов — моряки, на стенах красуется с десятков картинок на морские сюжеты: прощание матроса с возлюбленной, портреты Уильяма из баллады и его черноокой Сьюзен, храброго контрабандиста Уила Уотча, пирата Поля Джонса и тому подобных личностей; королева Виктория вкупе с Вашингтоном изумленно взирают своими нарисованными глазами на эту странную компанию и на те сцены, которые частенько разыгрываются в их присутствии.

Что это за место, куда ведет эта убогая улица? Мы выходим на подобие площади, окруженной домами, словно изъеденными проказой; в иные из них можно войти, лишь поднявшись по шаткой деревянной лестнице, пристроенной снаружи. Что там, за этими покосившимися ступенями, которые скрипят под нашими ногами? Убогая комнатенка, освещенная тусклым светом единственной свечи и лишенная каких-либо удобств, если не считать тех, которые предоставляет обитателю жалкая постель. У постели сидит человек; опершись локтями на колени, он сжал ладонями виски.

— Чем болен? — спрашивает полицейский, входя первым.

— Лихорадка, — угрюмо отвечает человек, не поднимая головы.

Можете себе представить, какие картины проносятся в лихорадочном мозгу больного в подобном месте!

Поднимитесь в непроглядной тьме по этой лестнице — только смотрите не оступитесь: тут может не хватать одной из расшатанных ступенек, — и ощупью проберитесь вслед за мной в это мрачное логово, куда, видно, не проникает ни луч света, ни дуновение свежего воздуха. Подросток-негритенок, пробужденный ото сна голосом полицейского — который достаточно хорошо ему знаком, — но успокоившийся после заверения, что полицейский пришел не по делу, угодливо суетится, стараясь зажечь свечу. Спичка вспыхивает на мгновение, освещая груды пыльных лохмотьев на полу; затем огонек гаснет, и наступает еще большая тьма, чем прежде, если тут вообще применимы степени сравнения. Негритенок, спотыкаясь, бежит вниз по лестнице и тотчас возвращается, прикрывая рукой неровное пламя огарка. И тогда груды

лохмотьев начинают шевелиться, медленно приподнимаются, и взору вдруг предстает множество просыпающихся негрятенок; их белые зубы стучат, блестящие глаза, моргая от удивления и страха, смотрят со всех сторон — словно некое забавное зеркало многократно повторило одно и то же черное лицо с застывшим на нем выражением изумления.

Поднимемся теперь с не меньшей осторожностью по другой лестнице (тут немало западней и ловушек для тех, у кого нет такой надежной охраны, как у нас) и взберемся на самый верх: голые балки и стропила перекрещиваются у нас над головой, а безмятежная ночь глядит сквозь щели в крыше. Откроем дверь одной из этих тесных клеток, набитых спящими неграми. Ого! Да у них тут разведен огонь и в воздухе пахнет паленым — то ли горячей одеждой, то ли обожженным телом, так близко они пристроились к жаровне; комната полна удушливых испарений, от которых режет глаза. Обводим взглядом это мрачное убежище и видим, как из всех углов выползают полусонные существа, словно близится Страшный суд и каждая мерзкая могила извергает своего мертвеца. Сюда, где даже собаки погнушались бы лечь, крадучись пробираются на ночлег женщины, мужчины и дети, заставляя потревоженных крыс отправляться на поиски лучшего обиталища.

Есть в этом квартале тупики и переулки, мощенные грязью, доходящей до колен; подвалы, где эти люди пляшут и играют, — стены в них украшены примитивными рисунками, изображающими корабли и крепости, а также флаги и бесчисленных американских орлов; разрушенные дома, все нутро которых видно с улицы, а сквозь широкие бреши в стенах просвечивают другие развалины, словно миру порока и нищеты нечего больше показать; отвратительные притоны, названия которых взяты из языка воров и убийц. Все, что есть гнусного, опустившегося и разлагающегося, — все вы найдете здесь.

ИЗ ГЛАВЫ VIII

Во время моих разъездов по городам Америки меня иногда спрашивали, не поразили ли меня *головы* законодателей в Вашингтоне, причем подразумевались не руководители или лидеры, а буквально их собственные, лично

им принадлежащие головы, на которых растут их волосы и которые, на взгляд френолога, отражают духовный склад каждого законодателя; и не раз вопрошавший лишился от возмущения дара речи, услышав мой ответ: «Нет, что-то не припомню, чтобы они меня поразили». Поскольку, каковы бы ни были последствия, я вынужден повторить свое признание, я подкреплю его рассказом — по возможности немногословным — о своих впечатлениях.

Прежде всего — быть может, в силу некоторого несовершенства моего органа преклонения, — помнится, я никогда не падал в обморок и не умилялся до слез при виде какого бы то ни было законодательного собрания. Я перенес палату общин, как подобает мужчине, и не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна, в палате лордов. Я присутствовал при выборах в боро и графства и никогда (какая бы партия ни победила) не испытывал желания испортить шляпу, подбросив ее в порыве восторга в воздух, или сорвать голос, вознося хвалы нашей славной конституции, благородной неподкупности наших независимых избирателей или безупречной честности наших независимых членов парламента. Поскольку я выдержал эти мощные атаки на твердость моего духа, можно предположить, что я по натуре бесчувствен и холоден, а в подобных случаях становлюсь и вовсе ледяным, и потому мои впечатления от живых столпов вашингтонского Капитолия надлежит воспринимать с некоторой поправкой, которой, очевидно, требует это мое добровольное признание.

Узрел ли я в этом общественном органе собрание людей, объединившихся во имя священных понятий Вольности и Свободы, чтобы при обсуждении всех вопросов поддерживать целомудренное достоинство этих двух богинь-близнецов, тем самым возвышая в восхищенных глазах всего света Вечные Принципы, носящие их имена, а равно и самих себя и своих соотечественников?

Всего неделю тому назад почтенный, убеленный сединами человек, слава и гордость породившей его страны, который, подобно своим предкам, честно служил родине и которого будут помнить через десятки и десятки лет, после того как черви, что заведутся в его разложившемся теле, обратят я в прах, — всего неделю тому назад этот старец в течение нескольких дней держал ответ перед этим самым собранием, судившим его за то, что он осмелился назвать позорной отвратительную торговлю,

где товаром являются мужчины, женщины и их еще не рожденные дети. Да, так оно было. А ведь в том же городе в золоченой раме под стеклом выставлена для всеобщего обозрения и восхищения Совместная Декларация Тринадцати Соединенных Штатов Америки, где торжественно провозглашается, что все люди созданы равными и создатель наделил их неотъемлемым правом на жизнь, свободу и поиски счастья,—ее показывают иностранцам не со стыдом, а с гордостью, ее не обернули лицом к стене, не сняли с гвоздя и не сожгли!

Не больше месяца тому назад это собрание спокойно сидело и слушало, как один из его членов угрожал перерезать другому глотку и сыпал при этом такими ругательствами, каких не позволил бы себе бродяга в пьяном виде. Вот он сидит среди них — не раздавленный презрением всего собрания, а такой же почтенный человек, как любой другой.

Пройдет всего лишь неделя, и еще один из членов этого собрания будет судим остальными, обвинен и предан суровой каре за то, что выполнял свой долг перед теми, кто послал его сюда; за то, что в этой республике потребовал свободы выразить их чувства и довести до всеобщего сведения их мольбы. Это действительно тяжкое преступление, ибо несколько лет тому назад он поднялся и заявил: «Толпу невольников — мужчин и женщин — отправляют на продажу; они, точно скот, прикованы друг к другу железными цепями; вот они открыто проходят по улице, под окнами вашего Храма Равенства! Смотрите!» Но много есть всяких искателей счастья, и они по-разному вооружены. Некоторые из них обладают неотъемлемым правом действовать соответственно собственному понятию о счастье: вооружиться плетью и бичом, припасти колодки да железный ошейник и (неизменно во имя Свободы!) с гиком и свистом умножать кровавые полосы на теле раба, под музыку позвякивающих цепей.

Где же сидят эти многочисленные законодатели, которые, забыв о том, как их воспитывали, изрыгают угрозы, сквернословят и дерутся, точно подгулявшие утольщики? И слева и справа. Каждая сессия бывает отмечена развлечениями такого рода, и все актеры на местах.

Признал ли я в этом собрании орган, который, взяв на себя задачу исправлять в новом мире пороки и обманы старого, расчищает пути к Общественной Жизни, мостит

грязные дороги, ведущие к Поста́м и Вла́сти, обсуждает и создает законы для Всеобщего Блага и не знает иной приверженности, кроме приверженности Родине?

Я увидел в них колесики,двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-либо изготовляли самые скверные инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисные сделки с государственными чиновниками; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетенки, а кинжалами — наемные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами, которые домогаются возможности ежедневно и ежечасно сеять при помощи своих продажных слуг новые семена гибели, подобные драконовым зубам древности во всем, кроме остроты; поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном мнении и искусное подавление всех хороших влияний; все это — короче говоря, бесконечные интриги в самой гнусной и бесстыдной форме — выглядывало из каждого уголка переполненного зала.

Видел ли я здесь ум и благородство чувств — настоящее, честное, патриотическое сердце Америки? Кое-где алели капли его живой крови, но они тонули в общем потоке лихого авантюризма людей, пришедших сюда в погоне за прибылью и наживой. Такова ставка, на которую ставят эти люди, стремящиеся превратить органы власти в арену ожесточенной и грубой политической борьбы, настолько пагубной для достоинства всякого уважающего себя человека, что натуры чувствительные и деликатные держатся от нее подальше, а им и им подобным предоставлена полная свобода без помех драться за свои корыстные интересы. Так и идет эта безобразная потасовка, а те, кто в других странах благодаря своему уму и положению больше всех стремились бы к законодательной деятельности, здесь норовят отойти как можно дальше от этого срама.

Не приходится говорить, что среди представителей народа в обеих палатах и во всех партиях встречаются люди благородной души и больших способностей. Наиболее выдающиеся из этих политических деятелей, известные в Европе, уже описаны, и я не вижу оснований отступать от избранного мною правила: воздерживаться от всякого упоминания имен. Достаточно добавить, что я безоговорочно и от чистого сердца подписываюсь под

самыми благоприятными отзывами о них и что личное и непосредственное общение с ними породило во мне еще большее восхищение и уважение, а не привело к результату, указанному в весьма сомнительной поговорке. Эти люди поражают с первого взгляда, их трудно обмануть, они не медлят в действии, они энергичны, как львы, каждый из них настоящий Крайтон в своей области; у них стремительные движения и блестящие глаза индейцев, упорство и великодушие американцев, и они столь же успешно представляют честь и мудрость своей страны у себя дома, как distinguished джентльмен — ее нынешний посол при английском дворе — поддерживает ее достоинство за границей.

Во время моего пребывания в Вашингтоне я бывал в обеих палатах чуть ли не каждый день. При первом моем посещении палаты представителей там возникли споры по поводу резолюции, предложенной председателем; однако председатель победил. Когда я был там вторично, кто-то прервал оратора смехом, и оратор передразнил его, как это делают дети, ссорясь друг с другом; при этом он прибавил, что «заставит сейчас своих уважаемых противников запеть другую песню». Но прерывают редко; обычно оратора слушают в молчании. Тут больше ссорятся, чем у нас, и чаще обмениваются угрозами, чем это в обычае у джентльменов любого известного нам цивилизованного общества, но сюда еще не импортировано из парламента Соединенного Королевства подражание звукам скотного двора. Самая характерная и самая излюбленная черта здешнего ораторского искусства — постоянное повторение одной и той же мысли или подобия мысли, только в новых выражениях; в кулуарах же спрашивают не «что он сказал?», а «сколько времени он говорил?». Впрочем, это лишь более широкое толкование принципа, который принят всюду.

Сенат — орган почтенный и благопристойный, и в его заседаниях больше торжественности и порядка. Обе палаты убраны прекрасными коврами, но невозможно описать, в какое состояние они приведены благодаря всеобщему невниманию к плевательницам (которыми снабжены все государственные мужи) и какие необычайные усовершенствования внесены в рисунок этих ковров брызгами и струйками, разлетающимися по всем направлениям. Могу лишь заметить, что я настоятельно советовал бы иностранцам не смотреть на пол, а если им

случится уронить что-либо, будь то даже кошелек, ни в коем случае не поднимать его голыми руками.

Вид стольких благородных джентльменов с раздутыми щеками кажется поначалу зрелищем в своем роде примечательным, и оно не становится менее примечательным, когда вы обнаруживаете, что опухоль эта происходит от солидной порции табаку, которую они ухитрились засунуть за щеку. Довольно странно видеть также, как почтенный джентльмен откидывается в своем покойном кресле, кладет ноги на стоящий перед ним письменный стол, отрезает перочинным ножом изрядный «кляп» от пачки жевательного табака и, подготовив его для употребления, выбрасывает старую жвачку изо рта, как пробку из духового ружья, а на ее место закладывает новую.

К своему удивлению, я заметил, что даже заядлые старые жевальщики, обладающие большим опытом, не всегда являются меткими стрелками; это заставило меня несколько усомниться во всеобщем умении американцев обращаться с огнестрельным оружием, о чем мы столько слышали в Англии. Меня посетили несколько джентльменов, и за время беседы им не раз случалось не попасть в плевательницу с расстояния в пять шагов, а один (но он, несомненно, был близорук) принял закрытое окно за открытое на расстоянии трех шагов. В другой раз, когда я был в гостях и сидел перед обедом с двумя дамами и несколькими джентльменами у огня, один из нашей компании шесть раз недоплюнул до камина. Впрочем, я склонен думать, что он вовсе и не метил в камин, поскольку перед решеткой лежала белая мраморная плита, которая была удобнее и, возможно, больше подходила для его намерений.

Патентное управление в Вашингтоне служит изумительным образцом американской предприимчивости и изобретательности, так как огромное количество содержащихся в нем моделей представляет собой изобретения только за последние пять лет (вся прежняя коллекция погибла во время пожара). Изящное здание, где они хранятся, существует больше в проекте, чем на деле, так как из четырех секций возведена лишь одна,—тем не менее строительные работы приостановлены. Здание почтамта очень вместительно и очень красиво. В одном из департаментов среди коллекции редкостей и диковинок выставлены подарки, поднесенные в свое время амери-

канским послам иностранными монархами, при которых они были аккредитованы как представители республики: закон не разрешает оставлять эти дары себе. Признаюсь, мне не слишком приятно было смотреть на эту выставку: она, казалось мне, давала отнюдь не лестное представление об американском мериле неподкупности и честности. Вряд ли с высокими принципами морали вяжется предположение, что джентльмена с добрым именем и солидным положением, находящегося при исполнении своих обязанностей, можно подкупить, подарив ему табакерку, или саблю в богатых ножнах, или восточную шаль! И уж конечно, стране, облакающей своих слуг доверием, служили бы, по всей вероятности, много лучше, чем той, которая возводит на них столь низкие и мелочные подозрения.

В Джорджтауне, одном из предместий Вашингтона, имеется иезуитский колледж; он расположен в очаровательном месте, и, судя по всему, что я видел, дело в нем поставлено неплохо. Я полагаю, что многие люди, не принадлежащие к римской церкви, прибегают к помощи этих заведений, чтобы дать хорошее образование своим детям. Здесь, над рекою Потомак, тянутся очень живописные холмы, и жить тут, по всей вероятности, не так вредно, как в Вашингтоне. Воздух в горах прохладный и свежий, а в городе он так и обдаёт жаром.

Особняк президента и снаружи и внутри больше всего похож на английский клуб. По окружающему его парку проложены дорожки; они красивы и радуют глаз, однако и у них все тот же неуютный вид, словно их сделали только вчера, а это отнюдь не делает парк более привлекательным.

Впервые я посетил этот дом на следующее утро после приезда; меня повез туда один чиновник, который любезно взял на себя труд представить меня президенту.

Мы вошли в просторный вестибюль и, позвонив раза два-три в колокольчик, на что никто не отозвался, без дальнейших церемоний прошли по комнатам первого этажа, где праздно прогуливались разные джентльмены (многие были в шляпах и держали руки в карманах). Одни из них привели с собой дам, которым они показывали помещение; другие сидели развась на диванах и в креслах; третьи, изнемогая от безделья, тоскливо зевали. Большинство присутствующих явилось сюда главным образом для того, чтобы подчеркнуть собственное превос-

ходство над простыми смертными, ибо, по всей видимости, никакого дела у них здесь не было. Несколько человек пристально рассматривали предметы обстановки, словно стараясь удостовериться, что президент (который был далеко не популярен) не вывез отсюда часть мебели и не продал с выгодой для себя.

Посмотрев на этих бездельников, рассеявшихся в красивой гостиной, выходящей на террасу, откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности, и взглянув на тех, что слонялись по более просторной приемной, известной под названием «восточной гостиной», мы прошли наверх, в комнату, где несколько посетителей ожидали аудиенции. При виде моего спутника чернокожий в штатском платье и мягких желтых туфлях, бесшумно скользивший по комнате и шепотом успокаивавший самых нетерпеливых, кивком показал, что узнал его, и скользнул за дверь, чтобы о нем доложить.

Перед этим мы заглянули еще в одну комнату; вдоль стен ее шел большой голый деревянный прилавок или стойка, где лежали комплекты газет, в которых рылись всякие джентльмены. Но там, где мы находились сейчас, не было ничего, что помогло бы скоротать время,— все было так же безнадежно скучно, как в приемной любого нашего государственного учреждения или в гостиной врача в часы, когда он принимает больных на дому.

В комнате было человек пятнадцать—двадцать. Один—высокий, жилистый, крепкий старик с Запада, загорелый и смуглый; он сидел выпрямившись, положив на колени светло-коричневую шляпу, поставив между ног гигантский зонтик, и, нахмурившись, глядел на ковер; в углах его рта залегли глубокие упрямые складки, словно он решил «вбить в мозги» президенту то, что собирался ему сказать, и не намерен был отступить ни на шаг. Другой—фермер из Кентукки, ростом в шесть футов шесть дюймов,—стоял в шляпе, прислонясь к стене, и, засунув руки под фалды сюртука, колотил каблуком по полу, словно под его пятой находилась голова Времени и он в буквальном смысле «убивал» его. Третий—желчного вида человек с продолговатым лицом, с коротко подстриженными гладкими черными волосами и досиня выбритыми щеками и подбородком—сосал набалдашник толстой трости, время от времени вынимая его изо рта, чтобы поглядеть, что из этого получается. Четвертый только по-вистывал. Пятый только поплеывал. Вообще все

перечисленные джентльмены так упорно и энергично предавались этому последнему занятию и в таком изобилии расточали ковроу свои щедроты, что горничные президента, я уверен, получают большое жалованье, или, выражаясь изысканнее, изрядную «компенсацию» — это слово употребляют в Америке вместо «жалованья», когда речь идет о государственных служащих.

Мы не прождали и нескольких минут, как появился чернокожий посланец и провел нас в комнату поменьше, где за письменным столом, заваленным, как у дельца, бумагами, сидел сам президент. Он выглядел несколько усталым и озабоченным — что не удивительно, поскольку он на ножах со всеми, — но выражение его лица было мягкое и любезное, и держался он на редкость просто, благородно и приятно. Я подумал, что осанка и манеры его удивительно соответствуют посту, который он занимает.

Мне сказали, что по этикету республиканского двора путешественник вроде меня может, отнюдь не нарушая приличий, отклонить приглашение на обед, каковое я получил, когда уже закончил свои приготовления к отъезду и собирался покинуть Вашингтон за несколько дней до того, что был указан в этом приглашении, а потому я посетил дом президента только еще раз. Это было по случаю одного из тех раутов, которые происходят в установленные дни между девятью и двенадцатью вечера и довольно непоследовательно именуются «левэ».

Мы с женой отправились на этот раут около десяти часов. Двор был забит экипажами и людьми, и, насколько я мог уразуметь, гости прибывали и уезжали, не следуя какому-либо особому распорядку. Тут не было полицейских, которые успокаивали бы перепуганных лошадей, дергая их за уздечку или размахивая дубинкой у них перед глазами, и я готов поклясться, что ни одного безобидного человека не ударили с размаху по голове, и не толкнули изо всей силы в спину или в живот, и не довели при помощи какой-либо из этих мягких мер до столбняка, и не отправили затем под стражу за то, что он не двигался с места. И все же тут не было ни суматохи, ни беспорядка. Наш экипаж, когда настала его очередь, подъехал к подъезду, и никто при этом не неистовствовал, не ругался, не орал, не осаживал лошадей и вообще не производил никакой суматохи: мы высадились с такой легкостью и удобством, словно нас эскортировала вся полиция столицы от А до Z включительно.

Анфилада комнат первого этажа была ярко освещена, в вестибюле играл военный оркестр. В маленькой гостиной, окруженные группой гостей, стояли президент и его невестка, игравшая роль хозяйки дома,—очень интересная, изящная дама, истинная леди. Один из джентльменов в этом кружке, видимо, взял на себя обязанности церемониймейстера. Ни других чиновников, ни лиц из свиты президента я здесь не видел, да в них и не было нужды.

Большая гостиная, о которой я уже упоминал, равно как и другие комнаты нижнего этажа, была набита до отказа. Собравшееся общество нельзя было назвать избранным в нашем понимании этого слова, поскольку здесь были люди, стоящие на самых разных ступенях общественной лестницы; здесь не было и большого количества дорогих туалетов, выставленных напоказ,—по правде говоря, иные костюмы вполне можно было бы назвать весьма нелепыми. Но ни одно грубое или неприятное происшествие не нарушило этикета и приличий; и каждый—даже из тех, что толпились в вестибюле и были впущены сюда без всяких билетов или приглашений, просто чтобы поглазеть,—казалось, чувствовал, что он является неотъемлемой частью Белого дома и несет ответственность за то, чтобы всегда быть в наилучшем и наидостойнейшем виде.

Эти гости, каково бы ни было их общественное положение, обладали некоторой утонченностью вкуса и умением оценить умственную одаренность в других, а потому питали благодарность к тем, кто, применяя на мирном поприще свои большие дарования, открывал своим соотечественникам новые горизонты и новую прелесть жизни и поднимал их престиж в других странах; прекрасным доказательством тому послужил сердечный прием, оказанный здесь моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу, который незадолго до того был назначен посланником при испанском дворе и в этом новом ранге находился в тот вечер среди гостей Белого дома—в первый и последний раз перед своим отъездом за границу. Я искренне верю, что при всем сумасбродстве американской политики лишь немногие общественные деятели были столь искренне, преданно и любовно обласканы, как этот совершенно очаровательный писатель; и не часто широкое собрание внушало мне такое уважение, как эта пылкая толпа, когда на моих глазах

она, вся как один, отвернулась от шумных ораторов и государственных чиновников и в благородном и честном порыве устремилась к человеку мирных занятий — гордая его возвышением, бросающим яркий отсвет на их общую родину, и всем сердцем благодарная ему за изящные фантазии, которые он рассыпал пред ней. Пусть долго раздаст он эти сокровища неоскудевающей рукой и пусть долго с такими же похвалами вспоминают о нем!

ИЗ ГЛАВЫ XII

Покинув Цинциннати в одиннадцать часов утра, мы направились в Луисвилл на пакетботе компании «Пайк»: на нем везли почту, и потому он был более высокого класса, чем тот, на котором мы плыли из Питтсбурга. Поскольку на весь переезд требуется часов двенадцать-тринадцать, мы решили, что выберем такой пароход, который к ночи прибывал бы в Луисвилл, так как нас никогда не прельщал ночлег в каюте, если можно было поспать где-нибудь еще.

Случилось так, что на борту этого судна, помимо обычной унылой толпы пассажиров, находился некто Питчлин, вождь индейского племени чокто; он послал мне свою визитную карточку, и я имел удовольствие долго беседовать с ним.

Он превосходно говорил по-английски, хотя, по его словам, начал изучать язык уже взрослым юношей. Он прочел много книг, и поэзия Вальтера Скотта, видимо, произвела на него глубокое впечатление — особенно вступление к «Деве озера» и большая сцена боя в «Мармионе»: несомненно, его интерес и восторг объяснялись тем, что эти поэмы были глубоко созвучны его стремлениям и вкусам. Он, видимо, правильно понимал все прочитанное, и, если какая-либо книга затрагивала его своим содержанием, она вызывала в нем горячий, непосредственный, я бы сказал, даже страстный отклик. Одет он был в наш обычный костюм, который свободно и с необыкновенным изяществом сидел на его стройной фигуре. Когда я высказал сожаление по поводу того, что вижу его не в национальной одежде, он на мгновение вскинул вверх правую руку, словно потрясая неким тяжелым оружием, и, опустив ее, ответил, что его племя уже утратило многое поважнее одежды, а скоро и вовсе

исчезнет с лица земли; но он прибавил с гордостью, что дома носит национальный костюм.

Он рассказал мне, что семнадцать месяцев не был в родных краях — к западу от Миссисипи — и теперь возвращается домой. Все это время он провел по большей части в Вашингтоне в связи с переговорами, которые ведутся между его племенем и правительством, — они еще не пришли к благополучному завершению (сказал он грустно), и он опасается, не придут никогда: что могут поделаться несколько бедных индейцев против людей, столь опытных в делах, как белые? Ему не нравилось в Вашингтоне: он быстро устает от городов — и больших и маленьких, его тянет в лес и прерии.

Я спросил его, что он думает о конгрессе. Он ответил с улыбкой, что, в глазах индейца, конгрессу не хватает достоинства.

Он сказал, что ему очень хотелось бы на своем веку побывать в Англии, и с большим интересом говорил о тех достопримечательностях, которые он бы там с удовольствием посмотрел. Он очень внимательно выслушал мой рассказ о той комнате в Британском музее, где хранятся предметы быта различных племен, переставших существовать тысячи лет тому назад, и нетрудно было заметить, что при этом он думал о постепенном вымирании своего народа.

Это навело нас на разговор о галерее мистера Кэтлина, о которой он отозвался с большой похвалой, заметив, что в этой коллекции есть и его портрет и что сходство схвачено «превосходно». Мистер Купер, сказал он, хорошо обрисовал краснокожих; мой новый знакомый уверен, что это удалось бы и мне, если б я поехал с ним на его родину и стал охотиться на бизонов, — ему очень хотелось, чтобы я так и поступил. Когда я сказал ему, что даже если б я и поехал, то вряд ли бы нанес бизонам много вреда, он воспринял мой ответ как остроумнейшую шутку и от души рассмеялся.

Он был замечательно красив; лет сорока с небольшим, как мне показалось. У него были длинные черные волосы, орлиный нос, широкие скулы, смуглая кожа и очень блестящие, острые, черные, пронзительные глаза. В живых осталось всего двадцать тысяч чокто, сказал он, и число их уменьшается с каждым днем. Некоторые его собратья-вожди принуждены были стать цивилизованными людьми и приобщиться к тем знаниям, которыми

обладают белые, так как это было для них единственной возможностью существовать. Но таких немного, остальные живут, как жили. Он задержался на этой теме и несколько раз повторил, что если они не постараются ассимилироваться со своими покорителями, то будут сметены с лица земли прогрессом цивилизованного общества.

Когда мы, прощаясь, пожимали друг другу руки, я сказал ему, что он непременно должен приехать в Англию, раз ему так хочется увидеть эту страну; что я надеюсь когда-нибудь встретиться с ним там и могу обещать, что его там примут тепло и доброжелательно. Мое заверение было ему явно приятно, хоть он и заметил, добродушно улыбаясь и лукаво покачивая головой, что англичане очень любили краснокожих в те времена, когда нуждались в их помощи, но не слишком беспокоились о них потом.

Он с достоинством откланялся — самый безупречный прирожденный джентльмен, какого мне доводилось встречать, — и пошел прочь, выделяясь среди толпы пассажиров как существо иной породы. Вскоре после этого он прислал мне свою литографированную фотографию — на ней он очень похож, хотя, пожалуй, не так красив; и я бережно храню этот портрет в память о нашем кратком знакомстве.

ГЛАВА XVII

Рабство

Поборников рабства в Америке — системы, о жестокостях которой я здесь не напишу ни слова, не обоснованного и не подтвержденного фактами, — можно подразделить на три большие категории.

К первой категории относятся более умеренные и рассудительные собственники человеческого стада, вступившие во владение им как известной частью своего торгового капитала, но понимающие в теории всю чудовищность этой системы и сознающие скрытую в ней опасность для общества, которая — как бы ни была она отдалена и как бы медленно ни надвигалась — настигнет виновных столь же неизбежно, как неизбежно наступит день Страшного суда.

Вторая категория охватывает всех тех владельцев, потребителей, покупателей и продавцов живого товара, которые, невзирая ни на что, будут владеть им, потреблять его, покупать и продавать, пока кровавая страница не придет к кровавому концу; всех, кто упрямо отрицает ужасы этой системы наперекор такой массе доказательств, какая никогда еще не приводилась ни по одному поводу и к которой каждодневный опыт прибавляет все новые и новые; кто в любую минуту с радостью вовлечет Америку в войну гражданскую или внешнюю, лишь бы единственной целью этой войны и ее исходом было закрепление рабства на веки вечные и утверждение их права сечь, терзать и мучить невольников,— право, которое не смела бы оспаривать никакая человеческая власть и не могла бы ниспровергнуть никакая сила; кто, говоря о свободе, подразумевает свободу угнетать своих ближних и быть свирепым, безжалостным и жестоким и кто на своей земле, в республиканской Америке, более суровый, немолчаливый и безответственный деспот, чем калиф Гарун аль-Рашид, облаченный в красные одежды гнева.

Третью, не менее многочисленную или влиятельную категорию составляет та утонченная знать, которая не мирится с вышестоящими и не терпит равных; все те, в чьем понимании быть республиканцем означает: «Я не потерплю никого над собой, и никто из низших не должен чересчур приближаться ко мне»; чью гордость в стране, где добровольная зависимость считается позором, должны ублажать невольники и чьи неотъемлемые права могут быть закреплены только через издевательство над неграми.

Не раз высказывалась мысль, что попытки расширить в американской республике понимание личной свободы человека (довольно странный предмет для историков!) потому терпели крах, что недостаточно учитывалось наличие первой категории людей, причем утверждалось, что к этим людям относятся несправедливо, когда смешивают их со второй категорией. Это несомненно так; они все чаще являют примеры благородства, принося денежные и личные жертвы, и следует лишь горячо пожалеть, что пропасть между ними и поборниками освобождения стараются любыми средствами расширить и углубить,— тем более, что среди таких рабовладельцев, бесспорно, есть немало добрых хозяев, которые проявляют сравнительно мягко свою противоестественную власть. Все же

приходится опасаться, что эта несправедливость неизбежна при таком положении вещей, когда человечность и правда должны отстаивать свои права. Рабство не становится ни на йоту более допустимым оттого, что находится несколько сердец, способных частично воспротивиться его ожесточающему действию; и равным образом прилив возмущения и справедливого гнева не может иссякнуть лишь потому, что в своем нарастании он вместе с воинством виновных захлестнет и тех немногих, кто относительно невинен.

Эти лучшие люди среди защитников рабства придерживаются обычно такой позиции: «Система плоха, и я лично охотно покончил бы с ней, если б мог,—весьма охотно. Но она не так плоха, как полагаете вы, англичане. Вас вводят в заблуждение разглагольствования аболиционистов. Мои невольники в своем большинстве очень привязаны ко мне. Вы скажете, что это частный случай, если лично я не позволяю сурово обращаться с ними; но разрешите вас спросить: неужели, по-вашему, бесчеловечное обращение с невольниками может быть общепринятым, если оно понижает их ценность и, значит, противоречит интересам самого хозяина?»

Разве в интересах какого-нибудь человека воровать, играть в азартные игры, растрачивать в пьянстве свое здоровье и умственные способности, лгать, нарушать слово, копить в себе злобу, жестоко мстить или совершать убийство? Нет. Все это пути к гибели. Но почему же люди идут ими? Потому что подобные склонности суть пороки, присущие человеку. Вычеркните же, друзья рабства, из списка человеческих страстей животную похоть, жестокость и злоупотребление бесконтрольной властью (из всех земных искушений перед этим труднее всего устоять), и, когда вы это сделаете—но не прежде,—мы спросим вас, в интересах ли хозяина сечь и калечить невольников, над чьим телом и жизнью он имеет абсолютную власть!

Но вот эта категория людей вместе с последней из мною перечисленных—жалкой аристократией, порожденною лжереспубликой,—возвышает свой голос и заявляет: «Вполне достаточно общественного мнения, чтобы предотвратить те жестокости, которые вы обличаете». Общественное мнение! Но ведь общественное мнение в рабовладельческих штатах зиждется на рабстве, не так ли? Общественное мнение в рабовладельческих штатах

отдало рабов на милость их хозяев. Общественное мнение издало законы и отказало рабам в защите правосудия. Общественное мнение сплело кнут, накалило железо для клейма, зарядило ружье и взяло под защиту убийцу. Общественное мнение угрожает смертью аболиционисту, если он рискнет появиться на Юге; и среди бела дня тащит его на веревке, обмотанной вокруг пояса, по улицам первого города на Востоке. Общественное мнение в городе Сент-Луисе несколько лет тому назад заживо сожгло невольника на медленном огне; и общественное мнение по сей день оставляет на посту того почтенного судью, который в своей речи к присяжным, подобранным для суда над убийцами этого невольника, сказал, что их чудовищный поступок явился выражением общественно-го мнения, а раз так, то он не должен караться законом, созданным общественной мыслью. Общественное мнение встретило эту теорию взрывом бешеного восторга и отпустило заключенных на свободу, и они разгуливают по городу—такие же почтенные, влиятельные, видные люди, как и прежде.

Общественное мнение! Какая же категория людей обладает огромным перевесом над остальной частью общества и получает возможность представлять общественное мнение в законодательных органах? Рабовладельцы. Они посылают в конгресс от своих двенадцати штатов сто человек, тогда как четырнадцать свободных штатов, где свободного населения почти вдвое больше, посылают сто сорок два человека. Перед кем всего смиренней склоняются кандидаты в президенты, к кому они ластьются и чьим вкусам всего усердней потакают своими угодливыми декларациями? Все тем же рабовладельцам.

Общественное мнение! Да вы послушайте общественное мнение «свободного» Юга, как оно выражено его депутатами в палате представителей в Вашингтоне.

«Я очень уважаю председателя,—изрекает Северная Каролина,—я очень его уважаю как главу палаты и уважаю его как человека; только это уважение мешает мне схватить со стола и разорвать в клочки только что представленную петицию об уничтожении рабства в округе Колумбия».

«Предупреждаю аболиционистов,—говорит Южная Каролина,—этих невежд, этих взбесившихся варваров, что, если кто-нибудь из них случайно попадет к нам в руки, пусть готовит свою шею к петле».

«Пусть только abolitionист появится в пределах Южной Каролины,—кричит третий, коллега кроткой Каролины,—если мы поймаем его, мы будем его судить, и, хотя бы вмешались все правительства на свете, включая федеральное правительство, мы его повесим».

Общественное мнение создало этот закон. Он гласит, что в Вашингтоне — городе, носящем имя отца американской свободы,—каждый мировой судья может заковать в кандалы первого встречного негра и бросить его в тюрьму; для этого не требуется никакого преступления со стороны чернокожего. Судья говорит: «Я склонен думать, что это беглый негр» — и сажает его под замок. Общественное мнение после этого дает право представителю закона поместить объявление о негре в газетах, предлагающее владельцу явиться и затребовать его, а иначе негр будет продан для покрытия тюремных издержек. Но допустим, это вольный негр и у него нет хозяина; тогда естественно предположить, что его выпустят на свободу. Так нет же! *Его продают, чтобы заплатить жалованье тюремщику.* И это проделывалось десятки, сотни раз. Негр не может доказать, что он свободен; у него нет ни советчика, ни посыльного, ни возможности получить какую-либо помощь; по его делу не ведется никакого дознания и не назначается расследования. Он — вольный человек, который, возможно, многие годы пробыл в рабстве и купил себе свободу,—брошен в тюрьму без суда, и не за преступление или хотя бы видимость такового, и будет теперь продан для оплаты тюремных издержек. Это кажется невероятным даже в Америке, но таков закон.

К общественному мнению обращаются в случаях, подобных следующему,—в газетных заголовках он называется так:

«Интересное судебное дело

В настоящее время Верховный Суд рассматривает интересное дело, возбужденное на основе следующих фактов. Один джентльмен, проживающий в штате Мэриленд, предоставил на несколько лет пожилой чете своих невольников фактическую, но не узаконенную свободу. Так они прожили некоторое время, и родилась у них дочь, которая росла также на свободе; потом она вышла

замуж за вольного негра и переехала вместе с ним в Пенсильванию. У них родилось несколько детей, и никто их не трогал до тех пор, пока не умер прежний владелец. Тогда его наследник попытался вернуть их; но судья, к которому их приволокли, решил, что этот случай ему не подсуден. *Владелец ночью схватил женщину и ее детей и увез их в Мэриленд*».

«Вознаграждение за негров», «Вознаграждение за негров», «Вознаграждение за негров» — гласят крупные буквы объявлений в длинных колонках набранных убористым шрифтом газет. Гравюры на дереве, изображающие беглого негра в наручниках, скорчившегося перед грубым преследователем в высоких сапогах, который поймал его и держит за горло, приятно разнообразят милый текст. Передовая статья возмущается «отвратительной дьявольской проповедью — уничтожения рабства, противной всем законам бога и природы». Чувствительная мама, которая, сидя на своей прохладной веранде, с улыбкой одобрения читает в газете эти веселые строки, успокаивает своего малыша, цепляющегося за ее юбку, обещанием подарить ему «кнут, чтобы хлестать негрятят». Но ведь негры, и маленькие и большие, находятся под защитой общественного мнения!

Давайте подвергнем общественное мнение еще одной проверке, которая важна в трех отношениях: во-первых, она покажет, как отчаянно робеют перед общественным мнением рабовладельцы, деликатно описывая беглых негров в газетах с большим тиражом; во-вторых, покажет, как довольны своей судьбой невольники и как редко они убегают; в-третьих, продемонстрирует, что нет на них никаких рубцов, изъязнов, никаких следов жестокого насилия, если судить о том по картинам, нарисованным не «лживыми аболиционистами», а их собственными правдолюбивыми хозяевами.

Ниже приводим несколько образцов газетных объявлений. Самое давнее из них появилось всего четыре года тому назад, а другие того же порядка каждый день во множестве публикуются и поныне.

«Сбежала негритянка Каролина. Носит ошейник с отогнутым книзу зубцом».

«Сбежала чернокожая Бетси. К правой ноге прикован железный брусок».

«Сбежал негр Мануэль. Неоднократно клеймен».

«Сбежала негритянка Фанни. На шее железный обруч».

«Сбежал негритенок лет двенадцати. Носит собачий ошейник из цепи с надписью «де Лампер».

«Сбежал негр Хоун. На левой ноге железное кольцо. Также Грайз, *его жена*, с кольцом и цепью на левой ноге».

«Сбежал негритенок по имени Джеймс. На мальчишке в момент побега были кандалы».

«Посажен в тюрьму негр, назвавшийся Джоном. На правой ноге чугунное ядро весом в четыре-пять фунтов».

«Задержана полицией молодая негритянка Мира. Следы кнута на теле, на ногах цепи».

«Сбежала негритянка с двумя детьми. За несколько дней до побега я прижег ей каленым железом левую щеку. Пытался выжечь букву М».

«Сбежал негр Генри; левый глаз выбит, несколько шрамов от ножевых ран в левом боку и много рубцов от хлыста».

«Сто долларов в награду за негра Помпея сорока лет от роду. На левой скуле клеймо».

«Посажен в тюрьму негр. Нет пальцев на левой ноге».

«Сбежала негритянка по имени Рахиль. На ногах целы только большие пальцы».

«Сбежал Сэм. Незадолго до побега ему прострелили ладонь; также несколько пулевых ран в боку и в левой руке».

«Сбежал мой негр Деннис. У названного негра прострелена левая рука повыше локтя, вследствие чего парализована кисть».

«Сбежал мой негр по имени Саймон. Выстрелами был серьезно ранен в спину и правую руку».

«Сбежал негр по имени Артур. Поперек груди и на обеих руках — широкие шрамы от удара ножом; любит рассуждать о доброте господней».

«Двадцать пять долларов в награду за моего раба Исаака. На лбу шрам от удара кулаком, на спине — от пули из пистолета».

«Сбежала девочка-негритянка по имени Мэри. Над глазом небольшой шрам; недостает многих зубов; на щеке и на лбу выжжена буква «А».

«Сбежал негр Бен. На правой руке шрам; большой и указательный пальцы прошлой осенью были повреждены выстрелом так, что видна кость. На бедрах и спине два-три широких рубца».

«Посажен в тюрьму мулат по имени Том. На правой щеке шрам; лицо, видимо, обожжено порохом».

«Сбежал негр по имени Нэд. Три пальца на руке скрючены вследствие пореза. На шее сзади идет полукругом рубец от ножевой раны».

«Посажен в тюрьму негр. Называет себя Джошиа. На спине многочисленные следы кнута. На бедрах и ляжках в трех-четыре местах выжжено клеймо «Дж. М.». Край правого уха откушен или отрезан».

«Пятьдесят долларов в награду за моего раба Эдварда. В углу рта — рубец, два пореза на руке и под мышкой, и на руке выжжена буква «Э».

«Сбежал негр-итенок Элли. На руке шрам от собачьего укуса».

«С плантации Джеймса Серджетта сбежали следующие негры: Рэндел — корноухий; Боб — с выбитым глазом; Кентукки Том — с перебитой челюстью».

«Сбежал Энтони. Одно ухо отрезано, кисть левой руки поранена топором».

«Пятьдесят долларов награды за негра Джима Блека. От обеих ушей отрезано по куску, и на среднем пальце левой руки отсечены два сустава».

«Сбежала негр-итянка по имени Мария. Сбоку на щеке шрам от пореза. Несколько шрамов на спине».

«Сбежала девушка-мулатка Мэри. Следы пореза на левой руке, шрам на левом плече, не хватает двух верхних зубов».

В пояснение этой последней приметы я должен, пожалуй, сказать, что среди прочих благ, которые обеспечивает неграм общественное мнение, видное место занимает широко применяемая практика насильственного выдергивания зубов. Заставлять их носить днем и ночью железный ошейник и травить их собаками — это приемы, настолько вошедшие в обычай, что о них и упоминать не стоит.

«Сбежал мой раб Фонтан. Уши продырявлены, справа на лбу рубец; на ногах, сзади, следы пулевых ранений; спина исполосована кнутом».

«Двести пятьдесят долларов награды за моего негра Джима. На правом бедре глубокий шрам. Пуля вошла спереди, посередине между тазобедренным и коленным суставами».

«Доставлен в тюрьму Джон. Не хватает левого уха».

«Задержан негр. Многочисленные шрамы на лице и на

теле; левое ухо откушено».

«Сбежала девушка-негритянка по имени Мэри. Рубец на щеке, кончик одного пальца на ноге отрезан».

«Сбежала моя мулатка Джуди. Правая рука сломана».

«Сбежал мой негр Леви. Следы ожогов на левой руке, и, кажется, недостает сустава на указательном пальце».

«Сбежал негр по имени Вашингтон. Отсутствует средний палец и один сустав на мизинце».

«Двадцать пять долларов награды за моего негра Джона. Откушен кончик носа».

«Двадцать пять долларов награды за негритянку — невольницу Салли. Ходит так, как будто ей перешибли хребет».

«Сбежал Джо Деннис. С маленькой меткой на ухе».

«Сбежал негритенок Джек. Из левого уха выдран кусок».

«Сбежал негр по прозвищу Слоновья Кость. От краешка каждого уха отрезано по кусочку».

Кстати об ушах: могу заметить, что один известный abolitionист в Нью-Йорке получил однажды по почте с обычным письмом ухо негра, отрезанное под самый корень. Оно было прислано свободным и независимым джентльменом, по чьему распоряжению и было отрезано, — с учтивой просьбой к адресату присовокупить этот экземпляр к своей «коллекции».

Я мог бы пополнить этот перечень несчетным множеством переломанных рук и ног, ран на теле, выбитых зубов, исполозованных спин, собачьих укусов и меток каленым железом; но поскольку моим читателям уже и без того в достаточной мере противно и тошно, я перейду к другой стороне вопроса.

При помощи таких объявлений, аналогичный подбор которых можно сделать за каждый год, каждый месяц, неделю и день и которые преспокойно читают в семейном кругу, как вещи вполне естественные, тонущие в потоке повседневных новостей и сплетен, можно показать, как много пользы приносит невольникам общественное мнение и как оно нежно о них заботится. Но, пожалуй, следовало бы спросить, насколько рабовладельцы и тот класс общества, к которому они в большинстве своем принадлежат, считаются с общественным мнением в своем обращении не с невольниками, а друг с другом; насколько они привыкли обуздывать свои страсти; как они ведут себя в своей среде; свирепы они или кротки,

грубы ли, кровожадны и жестоки их общественные нравы, или на них лежит отпечаток цивилизации и утонченности.

Чтобы и при изучении этого вопроса не основываться только на пристрастных показаниях аболиционистов, я снова обращаюсь к их собственной, рабовладельческой прессе и ограничусь на сей раз подборкой материалов из статей, появлявшихся в ней ежедневно в бытность мою в Америке и касающихся происшествий, которые случились, пока я там проживал. Курсив в тексте этих отрывков, как в предыдущих, принадлежит мне.

Не *все* эти случаи, как вы увидите, имели место на территории тех штатов, которые официально считаются рабовладельческими,—хотя многие из них, и притом самые ужасные, произошли и происходят именно там,—но непосредственная близость места действия от районов узаконенного рабства и большое сходство между этими злодеяниями и описанными выше позволяют справедливо предположить, что характер действующих лиц сформировался в рабовладельческих районах и огрубел под воздействием рабовладельческих нравов.

«Ужасная трагедия»

Из заметки, появившейся в газете «Саутпорт телеграф» (штат Висконсин), нам стало известно, что почтенный Чарльз К. П. Арндт, член Совета от округа Браун, был убит наповал *в зале заседания Совета Джеймсом Р. Виньярдом, членом Совета от округа Грант. Случай этот* произошел на почве выдвижения кандидатуры на пост шерифа округа Грант. Была выдвинута кандидатура мистера И. С. Бейкера, поддержанная мистером Арндтом. Против этой кандидатуры выступил Виньярд, стремившийся добиться указанного назначения для своего брата. В ходе спора покойный отстаивал известные положения, которые Виньярд объявил лживыми, причем сделал это в резких и оскорбительных выражениях, задевавших личности; мистер А. ничего не ответил на это. Когда заседание кончилось, мистер А. подошел к Виньярду и попросил его взять свои слова обратно, что тот отказался сделать, повторив оскорбительные выражения. Тогда Арндт ударил Виньярда, а тот, отступив на шаг, выхватил пистолет и застрелил его наповал.

Такой исход дела, видимо, был спровоцирован Виньярдом, который решил во что бы то ни стало провалить кандидатуру Бейкера и, потерпев неудачу, обратил свой гнев и мщение против несчастного Арндта».

«Висконсинская трагедия»

Все население штата Висконсин глубоко возмущено убийством Ч.К.П. Арндта в зале Законодательного совета штата. В различных округах Висконсина состоялись собрания, на которых была подвергнута осуждению *практика тайного ношения оружия в помещении Законодательного совета штата*. Мы читали сообщение об исключении из состава Совета Джеймса Р. Виньярда, совершившего это кровавое деяние, и были поражены, услышав, что после исключения Виньярда теми, кто видел, как он убил мистера Арндта в присутствии его престарелого отца, приехавшего погостить у сына и отнюдь не предполагавшего стать свидетелем его насильственной смерти, *судья Данн отпустил убийцу на поруки*. Агентство Майнерс Фри Пресс говорит со *справедливым негодованием*, что это оскорбляет чувства жителей Висконсина. Виньярд находился на расстоянии вытянутой руки от Арндта, когда произвел смертельный выстрел, от которого противник его умолк навеки. На таком близком расстоянии Виньярд, когда бы захотел, вполне мог бы лишь ранить Арндта, но он предпочел убить его».

«Убийство»

Из письма, опубликованного 14-го числа в сент-луисской газете, нам стало известно об ужасном злодеянии, совершенном в Берлингтоне, штат Айова. Некий мистер Бриджмен поспорил с жителем того же города мистером Россом; зять этого последнего, вооружась револьвером системы Кольт, встретил мистера Б. на улице и *разрядил в него всю обойму, причем все пять пуль попали в цель*. Мистер Б., весь израненный, умирающий, выстрелил в свою очередь и уложил Росса на месте».

«Ужасная смерть Роберта Поттера»

Из «Каддо газетт» от 12-го сего месяца мы узнали о страшной смерти полковника Роберта Поттера... Он

подвергся нападению у себя дома, куда ворвался его враг по фамилии Роз. Он вскочил с постели, схватил ружье и в одном белье выбежал из дому. Он бежал с такой быстротой, что почти на двести ярдов опередил своих преследователей, но попал в непроходимые заросли и был схвачен. Роз сказал Поттеру, что *намерен быть великодушным* и дать ему возможность спастись. Он предложил Поттеру бежать и пообещал не стрелять в него, пока тот не пробежит определенного расстояния. По команде Поттер устремился вперед и успел достичь озера, прежде чем раздался выстрел. Первым его побуждением было прыгнуть в воду и нырнуть, что он и сделал. Роз, гнавшийся за ним по пятам, расставил на берегу своих людей, готовых стрелять в Поттера, как только он выплывет. Через несколько минут Поттер вынырнул, чтобы перевести дух, и едва голова его показалась над водой, как она была вся изрешечена пулями. Он пошел ко дну и больше не всплыл!»

«Убийство в Арканзасе»

Как нам стало известно, несколько дней тому назад в редакции «Сенека нейшн» произошла ожесточенная схватка между мистером Лузом, агентом объединенного оркестра городов Сенеки, Квапо и Шони, и мистером Джеймсом Гиллеспай, представителем торговой фирмы «Томас Дж. Аллисон и К°» из Мейсвиля, округ Бентон, штат Арканзас; в этой схватке Гиллеспай был зарезан охотничьим ножом. Между этими людьми в течение некоторого времени существовали натянутые отношения. Говорят, что майор Гиллеспай замахнулся на противника тростью. Последовала перепалка, во время которой Гиллеспай выстрелил из пистолета дважды, а Луз — один раз. Затем Луз заколол Гиллеспая охотничьим ножом — этим разящим без промаха оружием. Многие сожалеют о смерти майора Г., ибо он был либерально настроенным и энергичным человеком. После того как вышеизложенное было сообщено в печати, мы выяснили, что майор Аллисон заявил некоторым гражданам нашего города, будто мистер Луз первым нанес удар. Мы воздерживаемся от сообщения каких-либо подробностей, так как *по этому делу будет вестись судебное следствие*».

«Гнусное злодеяние»

Пароход «Темза», только что вернувшийся из плаванья по Миссури, привез нам известие о том, что назначено вознаграждение в пятьсот долларов за поимку человека, покушавшегося на жизнь Лилберна У. Беггса, бывшего губернатора этого штата, в городе Индепенденс, в ночь на 7-е число с. м. Губернатор Беггс, говорится в письменном извещении, не был убит, но смертельно ранен.

Эти строки уже были написаны, когда мы получили записку от клерка с «Темзы», в которой сообщаются следующие подробности. В пятницу, 6-го с. м., какой-то злодей выстрелил в губернатора Беггса, когда он сидел в одной из комнат своего дома в г. Индепенденс. Его сын, мальчик, услышав выстрел, вбежал в комнату и увидел, что губернатор сидит на стуле, запрокинув голову и широко раскрыв рот; поняв, что отец стал жертвой преступления, сын поднял тревогу. В саду под окном были обнаружены следы ног и найден револьвер, по всей видимости разряженный и брошенный стрелявшим из него негодяем. Три выстрела крупной дробью попали в цель: один в рот, другой в мозг и третий, вероятно, тоже в мозг или куда-то поблизости; вся дробь застряла в затылке. 7-го утром губернатор был еще жив, но друзья не надеются на его выздоровление, да и врачи питают лишь слабую надежду.

В этом преступлении подозревают одного человека, который в настоящее время, вероятно, уже схвачен шерифом.

Пистолет убийцы — один из пары, которая была украдена за несколько дней до преступления у одного булочника в Индепенденсе, и судебные власти располагают описанием второго револьвера».

«Происшествие»

Прискорбное столкновение произошло в пятницу вечером на ул. Чартрез; в результате его один из наших наиболее уважаемых граждан опасно ранен кинжалом в живот. Из вчерашнего номера газеты «Пчела» (Новый Орлеан) нам стали известны следующие подробности. В понедельник во французском разделе газеты была напеча-

тана статья с упреками по адресу артиллерийского батальона за то, что в воскресенье утром он открыл стрельбу из пушек, отвечая на выстрелы с «Онтарио» и «Вудбери»; это вызвало большой переполох в семьях тех, кто всю ночь был вне дома, охраняя спокойствие города. Майор К. Гелли, командир батальона, почтя себя оскорбленным, пришел в редакцию и потребовал, чтобы ему сообщили имя автора; ему назвали мистера П. Арпина, которого в это время не было на месте. После этого между майором и одним из владельцев газеты произошел резкий разговор, закончившийся вызовом на дуэль; друзья обоих споривших пытались уладить дело миром, но безуспешно. В пятницу вечером, около семи часов, майор Гелли встретил мистера П. Арпина на ул. Чартрез и подошел к нему.

— Вы мистер Арпин?

— Да, сэр.

— В таком случае я должен сказать вам, что вы... (за сим последовал соответствующий эпитет).

— Я припомню вам ваши слова, сэр.

— А я уже объявил, что обломаю свою трость о вашу спину.

— Мне это известно, но пока что я еще не почувствовал удара.

Услышав эти слова, майор Гелли, державший в руках трость, ударил ею мистера Арпина по лицу, а тот выхватил из кармана кинжал и всадил его майору Гелли в живот.

Опасаются, что рана смертельна. *Насколько нам известно, мистер Арпин дал обязательство предстать перед уголовным судом для ответа по предъявляемому ему обвинению».*

«Ссоры в штате Миссисипи

Двадцать седьмого прошлого месяца близ Карфагена, округ Лик, штат Миссисипи, между Джеймсом Коттингемом и Джоном Уилберном вспыхнула ссора, во время которой первый выстрелил в последнего, причем ранил его настолько серьезно, что нет никакой надежды на выздоровление. Второго текущего месяца в Карфагене произошла ссора между А. К. Шэрки и Джорджем Гоффом, в результате которой последний был ранен пулей;

рану считают смертельной. Шэрки отдался было в руки властей, *но затем передумал и сбежал!*»

«Стычка

В Спарте несколько дней тому назад произошла стычка между барменом одной гостиницы и человеком по имени Бэри. По-видимому, Бэри стал буяннить; тогда бармен, *дабы поддержать порядок, пригрозил Бэри, что пристрелит его*, после чего Бэри выхватил пистолет и выстрелил в бармена. Согласно последним сведениям, он еще жив, но надежда на его выздоровление слабая.

«Дуэль

Клерк парохода «Трибюн» сообщил нам, что во вторник произошла еще одна дуэль—между мистером Робинсом, банковским служащим в Висксбурге, и мистером Фоллом, редактором газеты «Висксбургский часовой». По уговору каждая сторона имела по шести пистолетов, которые они должны были по команде «пли!» *разрядить друг в друга с такою быстротой, с какой им заблагорассудится*. Фолл выстрелил из двух пистолетов безрезультатно. Мистер Робинс первым же выстрелом попал Фоллу в бедро, после чего тот упал и был не в состоянии продолжать поединок».

«Столкновение в округе Кларк

В округе Кларк (штат Миссури), близ Ватерлоо, во вторник, 19-го прошлого месяца, имело место прискорбное столкновение, происшедшее между двумя компаньонами, мистерами Мак-Кейном и Мак-Аллистером, занимавшимися перегонкой спирта,—столкновение, кончившееся смертью мистера Мак-Аллистера. Он приобрел при распродаже с торгов, производившейся шерифом, семь бочонков виски, принадлежавших ранее Мак-Кейну, по цене один доллар за бочонок. Когда он пытался забрать их, произошла ссора, в результате которой мистер Мак-Кейн застрелил мисте-

ра Мак-Аллистера. Мак-Кейн немедленно бежал и, по последним сведениям, еще не схвачен.

Это *прискорбное столкновение* вызвало много толков, так как у обоих большие семьи и оба занимали солидное положение в обществе».

Я процитирую еще лишь одну статейку, которая своей чудовищной нелепостью, возможно, несколько разрядит гнетущее впечатление от этих зверских деяний.

«Дело чести

Мы только что слышали подробности о дуэли, происшедшей во вторник на острове Шестой мили между двумя родовитыми юношами нашего города — Сэмюелом Терстоном, *пятнадцати лет*, и Уильямом Хайном, *тринадцати лет*. Их сопровождали молодые джентльмены такого же возраста. Оружием служила пара наилучших ружей Диксона; противников поставили на расстоянии тридцати ярдов. Каждый выстрелил по разу, не причинив другому никакого вреда, если не считать того, что пуля из ружья Терстона пробила шляпу Хайна. *В результате вмешательства Совета Чести* вызов был взят обратно и спор дружески улажен».

Пусть читатель представит себе этот Совет Чести, который дружески уладил спор между двумя мальчишками — в любой другой части света их дружески прикрутили бы к двум скамейкам и хорошенько выпороли бы березовыми розгами, — и он, несомненно, ясно почувствует уморительный характер этого суда, о котором я не могу подумать без смеха.

И вот я обращаюсь ко всем разумным людям, ко всем, кто наделен самым обычным здравым смыслом и самой обычной здравой человечностью, ко всем трезвым рассудительным существам, без различия взглядов и убеждений, и спрашиваю: могут ли они пред лицом этих отвратительных доказательств состояния общества в рабовладельческих районах Америки и по соседству, — могут ли они еще сомневаться относительно истинного положения чернокожих невольников и может ли их совесть хоть на миг примириться с этой системой или с

любой характерной для нее страшной чертой? Могут ли они назвать неправдоподобным даже самый вопиющий рассказ о ее жестокостях и зверствах, когда стоит им обратиться к прессе и пробежать глазами ее страницы, и они прочтут что-нибудь вроде приведенного здесь — о поступках тех людей, которые властвуют над рабами, — поступках, собственноручно ими совершенных и ими же описанных?

Разве мы не знаем, что наиболее уродливые и отвратительные черты рабства являются одновременно и причиной и следствием беззастенчивого самоуправства этих рожденных на свободе беззаконников? Разве мы не знаем, что человек, родившийся и выросший среди несправедливостей рабовладельческой системы, с детства привыкший видеть, как мужья по слову команды должны пороть своих жен; как женщины, преодолевая стыд, вынуждены сами задирать свой подол, чтобы мужчины могли сильнее полосовать розгами их ноги; как грубые надсмотрщики преследуют и мучают их чуть не до самых родов и как они рожают детей там же, где работают, под занесенным над ними кнутом; кто сам читал в детстве и видел, как его невинные сестры читали приметы сбежавших мужчин и женщин и описания их изуродованных тел — описания, которые публикуются не иначе как рядом с описью скота на той или иной ферме или же на выставке животных, — разве мы не знаем, что такой человек при малейшей вспышке гнева превращается в жестокого дикаря? Разве нам не известно, что если он подлый трус у себя дома, где он гордо шествует среди съжившихся в страхе невольников и невольниц, вооруженный бичом, то он будет подлым трусом и вне дома, будет прятать на груди оружие труса, а во время ссоры выстрелит в человека или пырнет его ножом? Но если даже наш разум не научил нас понимать и это, и многое другое, если мы такие глупцы, что закрываем глаза на прекрасную систему воспитания, которая выращивает подобных людей, то разве не должны мы понимать, что те, кто кинжалом и пистолетом расправляется с равными себе в зале законодательных органов, в конторах и на рыночных площадях и в разных других местах, где люди занимаются мирным трудом, будут — не могут не быть — беспощадными и бессердечными тиранами в отношении своих подчиненных, пусть даже не рабов, а вольных слуг?

Что?! Мы будем обличать невежественное ирландское

крестьянство, но смягчать краски, когда речь идет об этих американских плантаторах? Будем клеймить позором жестокость тех, кто подрезает сухожилия скотине, но щадить этих поборников свободы, которые прорезают метки в ушах людей, вырезают остроумные девизы на корчащемся теле, учатся писать пером из раскаленного железа на человеческом лице,—тех, кто изощряет свою поэтическую фантазию, придумывая ливрею увечий, которую их рабы будут носить всю жизнь и унесут с собой в могилу; кто ломает кости живым, как это делала солдаты, осмеявшая и убившая спасителя мира, и превращает беззащитных людей в мишень для стрельбы? Неужели мы будем охоться, слушая легенды о пытках, которым язычники-индейцы подвергали друг друга, и с улыбкой наблюдать жестокости, чинимые христианами? Неужели, пока все это творится, мы будем торжествовать над уцелевшими кое-где потомками этой величавой расы и радоваться, что белые захватили их владения? На мой взгляд, лучше бы восстановить леса и индейские деревни; пусть вместо звезд и полос развеивается по ветру несколько несчастных перьев; пусть вигвамы станут на месте улиц и площадей—и если воздух огласит клич смерти из уст сотни гордых воинов, он зазвучит как музыка по сравнению с воплем одного несчастного раба.

Пусть о том, что всегда стоит у нас перед глазами, о том, что пагубно воздействует на наш национальный характер, будет сказана чистая правда; и довольно нам трусливо ходить вокруг да около, намекая на испанцев и свирепых итальянцев. Когда англичане вытащат ножи во время ссоры, пусть будет сказано во всеуслышание: «Мы обязаны этой переменной американскому рабству. Вот оно, оружие Свободы. Такими клинками и лезвиями Свобода в Америке обтесывает и кромсает своих рабов; а когда их нет под рукой, ее сыны еще лучше используют это оружие, обращая его друг против друга».

Из всех различий между англичанами и американцами самое разительное и самое важное — это их отношение к политике. Я не способен в нескольких строках с надлежащей четкостью определить его, но уповаю, что общее направление моей книги даст о нем достаточно ясное понятие. И американец и англичанин — оба республиканцы. Правительства Штатов и Англии — это, пожалуй, два чистейших республиканских правительства в мире. Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что они более чисты, чем другие, а имею в виду лишь абсолютный республиканизм государственной системы. И тем не менее большей политической противоположности, чем американец и англичанин, сыскать невозможно. Современный американец сует избирательную урну в руки каждого гражданина страны и опирается на нее, и только на нее. Высший долг американского гражданина — идти и голосовать, но, отголосовав, он может не обременять себя политикой до следующего голосования. Кандидат, которому он отдал свой голос, воплощает его волеизъявление, и, если он голосовал с большинством, этим все его права на влияние и исчерпываются. Если же он голосовал с меньшинством, то у него вообще нет права ни на какое влияние. В любом случае он почил от своих политических трудов и может заниматься собственными делами, пока не минует год, или два, или четыре. У англичанина же нет урны для голосования, а потому он отнюдь не склонен полагаться только на избирателей и на голосование.

Пытаясь описать это различие в политическом управлении указанных двух стран, я отнюдь не намерен осыпать Англию одними хвалами или в чем-либо упрекать Штаты. Политическая система, принятая в Штатах, бесспорно, выглядит более логичной и четкой. В Англии же она

столь нелогична и столь нечетка, что ни одно другое государство при всем желании не сумело бы ее перенять. А политическую систему Штатов любая страна может взять себе хотя бы завтра, забрав из-за океана ее сущность, воплощенную в десятке письменных указаний, наподобие врачебного рецепта или правил в лазарете. Наша же политическая система обратилась для нас в привычку, была вскормлена традицией и завладела нами исподволь, а во многом и вовсе незаметно. Ее невозможно изложить в книге или описать словами, никакой государственный муж не сумеет снять с нее верную копию, и во мне крепнет убеждение, что она останется непостижимой для всех народов, кроме того, по нуждам которого кроилась.

Рассуждая об американской политике, я обязан коснуться особого класса американцев, обитающих главным образом в Нью-Йорке и более почти нигде,—людей образованных, много ездивших по свету и в целом весьма приятных, если не считать их политических взглядов, которые мне кажутся крайне отталкивающими. Как, кстати, и их вкусы. Впрочем, последнее — пустяк, и, памятуя, что правы тут могут быть они, а не я, порицать их вкусы я не стану. Но в политике, мне кажется, эти люди впали в непростительнейшую, если не сказать подлейшую, ошибку. Человек, который вступает в жизнь с низкими политическими идеями, всосав их с молоком матери, еще не безнадежен. И в любом случае вина лежит не столько на нем самом, сколько на его предках. Но можно ли ждать просветления у того, кто волей рождения и судьбы был брошен в стремительную реку свободной политической деятельности и допустил, чтобы его затянуло в застойную заводь всеобщего политического угодничества? А таких американцев множество. Они именуют себя республиканцами, обливают презрением систему ограниченной монархии и тут же утверждают, будто нет республики более устойчивой и дарующей столь полное равенство всем своим гражданам и такой безупречно демократической, нежели нынешняя Франция. Французская империя обеспечивает всеобщее равенство. Там нет ни аристократии, ни олигархии, ни порабощения маленьких людей сильными мира сего, а есть только один верховный властитель—но в этом земля лишь берет пример с небес и их Вседержителя. Однако под его властью все уравнено и (при условии, что ему не чинят

помех) везде царит свобода. Он умеет управлять, и страна, признав за ним эту привилегию, может безмятежно следовать своим путем — есть, пить и веселиться. Если мало тех, кто возвышается, не больше и тех, кто низко падает. Политическое равенство — вот главное, что должно отличать республику, а нынешняя французская система его-то и обеспечивает. Таково современное кредо многих просвещенных республиканцев в Штатах.

На мой взгляд, человек, придерживающийся подобных омерзительных убеждений, не мог бы политически пасть ниже. Они знаменуют безмолвный отказ от борьбы, ведущейся во имя политической истины и политических благ, — отказ ради того, чтобы безмятежно вкушать хлеб и мясо, в течение одного-двух десятилетий, которые нам сейчас предстоит прожить. Политики такого толка решили для себя, что *summum bonum*¹ исчерпывается хлебом и зрелищами. Если у них хватает свободы вкусно есть, свободы предаваться праздности, свободы спать и пить кофе крошечными чашечками, пока мимо них по бульвару движется нарядная толпа, этим и исчерпывается вся их вожаемая свобода. Однако равенство необходимо не менее свободы. В этом саду нет места могучим деревьям — ведь они могут затенить подстриженные кусты и нарушить единообразие роста, ограниченного двумя футами над поверхностью почвы. Равенство в понятии такого политика означает, что никто не смеет подняться выше него, а вовсе не подразумевает, что все должны встать вровень с ним. Это равенство страха и эгоизма, а не равенство доблести и благородства. И уж конечно, дело не обходится без братства. Такие политики много говорят о братстве и определяют его на свой лад. Сводится оно к тому, чтобы вежливо приподнимать шляпу перед всем человечеством и прогуливаться неторопливо, а не мчаться рысью, дабы не причинять неудобств другим прохожим. И еще к тому, чтобы изъясняться сладким голосом, мило улыбаться и пить свою чашечку кофе на бульваре. Вот что означает их братство, и мне не удалось обнаружить, чтобы оно означало что-нибудь еще. На земле есть страна, которая сразу приходит на ум, когда начинаешь обдумывать, где могут прийтись к месту подобные политические чаяния. Но страна эта, во всяком случае, не Американские Штаты.

¹ Высшее благо (лат.).

И все же среди американцев постоянно встречаешь господ, которые мало-помалу позволили внушить себе такую теорию. Они вступили в мир гражданами республики и вынуждены оставаться таковыми. Но путешествуя, читая и живя в роскоши, они прониклись неприязнью к буйной политической жизни своей родины. Они жаждут, чтобы все было тихо и мирно — вполне, вполне республиканским, только без лишнего шума. Президент остается в должности четыре года. Почему бы не избирать его на восемь лет, на двенадцать, а то и пожизненно? Или же вообще на веки веков, если удастся найти такого бессмертного кандидата? Вот как начинают рассуждать американцы, позаимствовав европейского лоска и проникшись после этого отвращением к своей избирательной системе с ее отнюдь не чинными выборами.

«А вы видели наши замечательные учреждения, сэр?» Этот вопрос, естественно, задается любому англичанину, посетившему Нью-Йорк, и англичанин, который намерен не скрывать, что бывал в Нью-Йорке, поступит благоразумно, если осмотрит их побольше. Я посещал школы, больницы, приюты для умалишенных, училища для глухонемых, насосные станции, исторические общества, телеграфные конторы и процветающие торговые заведения. Мне кажется, я исполнил свою обязанность тщательно и добросовестно и я испытываю глубокую благодарность к тем, кто водил меня по этим местам. Быть может, мне следовало бы описать их все, но, боюсь, тогда бы моих читателей ожидали прескучные пятьдесят-шестьдесят страниц. Еще был бы толк, если бы я сумел объяснить, то что видел, с той ясностью и наглядностью, с какой все было представлено мне. Но я знаю, что тут меня ожидает неминуемая неудача. Как изумило меня умственное развитие глухонемых учеников, когда я зашел к ним в класс, и особенно одна девочка, которая, казалось, владела пером куда лучше, чем многие ее сверстницы, обладающие и слухом и даром речи. Но передать свой восторг другим я не умею. Писатель может верно развить эту тему, может исчерпать ее, украсить статистикой, но вряд ли он сумеет увлечь своих читателей, да и истинно поучительного он найдет сказать, скорее всего, очень немного.

Еще недавно всем нам представлялось, что из всех стран мира Американские Штаты наименее способны обрушить на себя проклятие войны, и вот теперь оно

поразило их с двойной силой. Казалось бы, вести войну вовсе не их дело—все их институты воспрещают это, огромная их протяженность воспрещает это, стоимость рабочей силы воспрещает это, не говоря уж об избранном ими пути развития и расширения промышленности. Но проклятие битв и сражений пало на них, и в военных трудах они выказывают такое же рвение, как прежде в трудах мирных. Люди и ангелы должны равно проливать слезы, созерцая то, что творится там, видя все усугубляющееся разорение, наблюдая, как губится торговля и хиреет сельское хозяйство. Такого печального зрелища наши дни ещё не знали. Это была великая страна, которая кормила весь свет, ежедневно вносила новую лепту в копилку механических изобретений человечества, умножала свое народонаселение в прежде невиданных пропорциях и распространяла просвещение с той же быстротой, с какой шел этот рост. Нищета тогда еще не нашла там раздолья, и голод был злом, о котором читали, не ведая его на опыте. У каждого человека среди этих множеств было право гордиться тем, что он человек. Читали и писали там (я говорю о Севере) столь же привычно, как ели и пили. Необходимость трудиться не считалась позором, и плата за труд была высокой. Жребий жить без работы не выпадал там никому. Какие еще блага сверх этих благ нужны, чтоб народ был велик и счастлив? А нынче посетивший их чужестранец без всяких сомнений заключит, что они пребывают в пучине отчаяния. Из всех поприщ, прежде открытых там, осталось только одно—поприще войны. Топор лесоруба брошен, плуг ржавеет в сарае, ремесленник запер свою мастерскую. Рев плавильных печей, правда, еще слышен, потому лишь, что есть нужда в пушках, и реки расплавленного железа льются из них вестницами смерти. А стук молота каменотеса больше не раздается, и лопатка каменщика лежит забытая. Золото в стране затаивается, словно вернувшись в недра матери-земли, и уже празднуют свое рождение бумажные деньги. Больные солдаты сотнями умирают в грязи и мусоре наспех сооруженных лагерей, так и не побывав ни в одном сражении. Мужчины и женщины говорят о войне—и только о войне. Газеты читаются лишь те, которые заполнены войной. Военные подрады—вот единственный (и как часто бесчестный!) выход для коммерческой предприимчивости. Юноша обязан идти на войну, иначе от него отвернутся самые

близкие друзья. Война пожирает все, но пока не принесла даже таких своих горьких плодов, как победа и слава. Вот почему и можно и должно сказать, что землю эту поразило проклятие.

Тем не менее я еще питаю надежду, что в конце концов все обернется к лучшему. Водой и огнем очищается нация от своих прегрешений. Так было со всеми народами, пусть проходили они иные испытания. Не в таком уж хорошем положении, казалось, были мы сами в первые кромвелевские дни, да и потом в позорные годы последних Стюартов. Мы помним, как Франция омылась кровью в усилии избавиться от гроба повапленного — древнего королевского престола, и помним, как опустошена была Германия, чтоб Пруссия могла стать нацией. Ирландия была задавлена нуждой и нищетой, пока ее не поразили голод. Люди называли этот голод проклятием, но он обернулся для страны величайшим благом. Так будет и здесь, в Западном полушарии. И все же я не могу не скорбеть всей душой, воочию увидев все эти бедствия — тяжелое положение солдат, беспомощность их офицеров, свары и пререкательства их правителей, вопли и угрозы, грязь и гибель, гнусную бесчестность тех, кто был облечен доверием! Наблюдаешь все это и сожалеешь, что ты здесь, а не где-нибудь далеко. Но я верую, что надо всем — бог и что все ведет к чему-то лучшему. А все, что я описал, — лишь та вода и тот огонь, через которые должна пройти нация. Слишком уж прямым и гладким был путь этого народа, а его образ жизни слишком уж приятным. То, что другим давалось тяжким трудом, для них облегчалось. Хлеб и мясо они принимали как нечто само собой разумеющееся и уже не были за них благодарны. «Мы сами этого добились! — заявляли они во всеуслышание. — Мы не такие, как другие люди. Мы — земные боги. Чья рука будет настолько длинна, чтобы остановить нас? Чья стрела способна поразить нас?»

И вот их поразила стрела, пущенная из лука, принадлежащего им же. Их собственные руки воздвигли преграду, остановившую их. Они споткнулись на бегу и лежат на земле, скованные болью. Те же, кто слышал, как они похвалялись, теперь не скупятся на насмешки и потешаются над их горьким положением. Они вязнут в трясине, и нет руки, за которую они могли бы ухватиться. Быть может, стоящий возле наблюдатель и протянет руку, но лицо его полно пренебрежения, а в голосе звучит упрек.

Кто не переживал черного часа, в отчаянии отказавшись от всякой помощи с мыслью: «Пусть произойдет самое худшее!»? Вот в таком положении и находятся эти некогда соединенные Штаты. У человека, способного без внутренних слез смотреть на раны, которые американцы сами себе наносят, в груди бьется сердце, лишенное истинно английской способности к состраданию.

Но сильный бегун встает на ноги, даже если падение оглушило его. Он поднимется и извлечет урок из своего злоключения. Его гнев утихнет, и он вновь соберется с силами, чтобы продолжить начатое. Какие великие гонки были выиграны человеком ли, нацией ли без такого падения? И разве все мы не утверждали, что споткнуться порой будет только полезно? Люди в погоне за развитием ума забыли о честности; стремясь к величию, они отвергли чистоту помыслов. Да, нация была великой, но ее государственные мужи оказались ничтожными. И двигало ими даже не честолубивое желание править, а лишь соблазн получать плату, положенную правителям. Коррупция поразила самые высокие учреждения, и из истинно высоких они стали самыми низкими в стране — ниже воровских притонов и тайных приютов порока. Человек, подвизавшийся на общественной арене, уже тем самым давал повод усомниться в своей честности. И не чужеземные голоса — не английские газеты и не французские памфлеты — изобличили коррупцию американских политиков, но американские голоса и американская пресса. Со всех сторон слышится одно и то же. Министры, сенаторы, члены конгресса и местных парламентов, офицеры армии и флота, всяческие подрядчики — то есть все, кто имеет касательство к государственной казне или обладает правом ею распоряжаться, — все они подверглись подобным обвинениям. И так происходило долгие годы. Определение «политический деятель» несло в себе смрадный душок, и, когда я около трех лет тому назад впервые посетил Нью-Йорк, мне посоветовали не знакомиться с неким человеком, так как он — политический деятель.

КАИР

Сколько бы ни продлились мои дни, не думаю, чтобы я когда-нибудь забыл Каир. Я говорю здесь не о великом Каире, который по-своему тоже город достопамятный и

незабываемый, но о Каире в штате Иллинойс, или о «Кейро», как произносят это название урожденные американцы. В Штатах бытует убеждение, и, если не ошибаюсь, что-то такое я слышал и в Англии, будто наш популярный романист мысленным взором созерцал Каир в штате Иллинойс, когда живописал благословенное местечко на реке Миссисипи и, назвав его Эдемом, поведал нам, как некие английские иммигранты попробовали обосноваться там и бодро пренебрегали теми мелкими жизненными невзгодами, от которых люди не избавлены даже в райском саду на берегах Миссисипи. Однако, полагаю, что указанный автор в середине зимы Каира не посещал, и, уж во всяком случае, я убежден, что он не бывал в Каире, когда американская армия квартировала в этом городе. Иначе его любовь к истине не позволила бы ему предположить, что лишь Марку Тэпли удалось бы сохранить жизнерадостность в подобном Эдеме.

Сам я не испытывал ни малейшего желания посетить Каир, ибо все отзывались о нем весьма нелестно. Но мой друг и спутник в этом путешествии настоял на поездке туда: наслышавшись о судах, оснащенных одними пушками, другие мортирами, о возведенных на реке фортах, о колумбиядах, далгренах и парротах¹, о всех атрибутах и маневрах достопамятной войны, он внушил себе, что Каир—это средоточие и ось важнейших стратегических решений в нынешней ужасной междоусобице. Вот так волей-неволей я должен был отправиться в Каир и следовать примеру Марка Тэпли в той мере, в какой допускает моя природа. Нет, я не был неунывающе весел, но все же не позволял себе распускаться и не утонул в его жидкой глине.

Каир—южный конечный пункт Иллинойской центральной железной дороги. В сутки туда прибывает всего один дневной пассажирский поезд—в половине пятого утра, и всего один отправляется оттуда—в половине четвертого утра. Иными словами, все это как нельзя лучше отвечало желаниям Марка Тэпли, когда он вознамерился доказать, что сумеет сохранить жизнерадостность в самых худших обстоятельствах. Зачем кому-то нужно приезжать в Каир в половине пятого утра, я постигнуть не могу. Куда понятнее готовность уехать

¹ Типы пушек новейшей для того времени конструкции, широко использовавшиеся в армии северян.— *Прим. перев.*

оттуда в любое время суток. Город стоит у самого впадения Огайо в Миссисипи и, на мой взгляд, футов на десять-двенадцать ниже зимнего уровня этих двух рек. Подобное обстоятельство, естественно, придает городу весьма унылый вид, что, я полагаю, немало помогло Марку Тэпли в достижении его цели. Выяснить, кто основал Каир, я так и не сумел. Вероятно, эти люди погребены в жидкой глине на глубине десятков футов и имена их пребудут тайной для грядущих веков. Я полагаю, это место привлекло их своей многоводностью, но воды оказалось в таком избытке, что в нее канул весь капитал первых каирцев, а их усилия безнадежно увязли в густой липкой глине.

Свободный штат Иллинойс вторгается далеко на юг между рабовладельческими штатами Кентукки на востоке и Миссури на западе, включая наиболее южную точку всей территории свободных Северных штатов. Эта точка находится в округе, получившем наименование «Египет» и столь же плодородном, как древняя страна, название которой он заимствовал. Но этот Египет страдает от всех бедствий, обычных для недавно заселенных земель, обремененных своим плодородием соседству с великой рекой. Лихорадки и малярия свирепствуют там повсюду. Изможденные, землистые лица мужчин и женщин придают им сходство с призраками. Дети выглядят маленькими старичками, а земля настолько жирна, что наводит ужас своей плодородностью. Каир и его окрестности, как мне кажется, до заселения ежегодно подвергались наводнениям. Теперь по берегам обеих рек тянутся высокие земляные насыпи, назначение которых — защищать узкий язык суши. Они называются дамбами и исправно исполняют свою обязанность, сдерживая натиск воды. Берег между дамбами нигде не заливает выше, чем по человеческую грудь, если не ошибаюсь. Причем благодаря своему местоположению, а также размягченному состоянию почвы он затопляется, как правило, не водой, а жидкой глиной.

И вот тут-то, на самом кончике этого языка, была построен город. Существовал ли он уже во времена мистера Тэпли, мне установить не удалось. В дни же, когда его посетил я, он пришел в полный упадок — по моему, можно даже сказать, что он находился при последнем издыхании. В тот момент военные маневры генерала Холлека вдохнули в него подобие жизни, и все

же его дальнейшая судьба как города особых сомнений не вызывала. Все улицы были непроходимы из-за грязи. Я хочу сказать, что человек не очень высокого роста, вздумай он прогуляться по середине каирской улицы, через минуту-другую безнадежно увяз бы в глине. Дома по большей части расположены беспорядочно, на значительном расстоянии и редко стоят напротив друг друга. Вдоль одной стороны каждой улицы проложены дощатые мостки, на которых в грязь проваливаешься всего лишь по щиколотку. Я ходил по Каиру в высоких сапогах, засучив панталоны до колен, и тем не менее, приближаясь к перекрестку, всякий раз испытывал серьезные опасения, а порой и решал, что пути мне дальше нет. В этих моих попытках я был одинок и ни разу не видел, чтобы еще кто-нибудь осмелился на подобное. По улицам передвигались лишь немногие, и передвигались они в жалких повозках, запряженных парой разбитых олов. Повозки эти неизменно были пусты, но предполагалось, что они так или иначе обслуживают армию. В окнах домов не мелькало ни единого лица, в дверях не маячило ни единой фигуры. Лавки кое-где были открыты, но покупателей я видел лишь в винных заведениях. Там безмолвно сидели перепачканные глиной мужчины, но не за рюмкой, как у нас, а со жвачкой, которую они медленно перекачивали от щеки к щеке. Пьют же они только в вертикальной позиции, молча застыв у стойки перед двумя стопками. Из одной они отхлебывают виски, а из другой воду, словно ополаскивая рот. А затем вновь садятся и принимаются жевать жвачку. Вот так люди развлекаются в Каире.

О нынешней численности каирцев я ничего сказать не могу. Я осведомился об этом у одного старожилы, но он только покачал головой и сказал, что город «свое отыграл». И какой жалкой была эта игра! Я попытался обойти мыс по дамбам, но та, которая оберегает Каир от Миссисипи, оказалась в таком полужидком состоянии, что я не сумел и шагу по ней ступить. По насыпи со стороны Огайо уложено железнодорожное полотно, и там сосредоточивалась вся жизнь города. Только жизнь эта была гальванической, поддерживаемой гальваническими токами войны, но их воздействие сводилось на нет грязью.

Каир, бесспорно, самый унылый город в Штатах, и, разумеется, гостиница там запустением и скверностью превосходила любую другую в стране. Впрочем, на

отсутствие постояльцев ее хозяин пожаловаться отнюдь не мог: она была настолько переполнена, что для нас, когда мы, сойдя с поезда, в пять часов утра переступили ее порог, не нашлось ни единого свободного номера, и нам пришлось приводить себя в порядок в общественной умывальной. Там сладко спали цирюльник и его подручные, а человек пять местных жителей, прибывших с тем же поездом, уже склонились над тазиками. Во всех подобных местах ощущается твердая решимость вымазать вас в грязи и утопить в нечистотах, так что не спасовал бы там разве что Марк Тэпли. Грязь выставляется напоказ и сохраняется как можно дольше. Приезжего близко знакомят со всеми слагаемыми мерзости. До конца моих дней я не забуду старухи, которая, когда я был маленьким мальчиком, однажды принудила меня проглотить всю гущу со дна своей отвратительной чашки для лекарств. Обхождение со мной в каирской гостинице все время приводило мне на память эту старуху. В умывальной я не осмелился почистить зубы, опасаясь, как бы это не было принято за оскорбление — ведь все взгляды обратились на меня с подозрением, едва я начал причесываться собственным гребешком, вместо того чтобы воспользоваться тем, который предназначался для посетителей.

В конце концов мы получили номер — один на двоих. Я настолько пал духом, что не посмел возражать. Мой приятель не позволил себе сетовать даже наедине со мной, ибо сам обрек нас на эти муки своим упрямством, и ограничился словами:

— Нам открылась новая фаза жизни.

В этом он не ошибся. И если новой фазы жизни достаточно, чтобы испытать приятное волнение, я советую всем любителям приятного волнения обязательно побывать в Каире. Уж там они, вне всяких сомнений, обретут эту новую фазу жизни. Но особенно задерживаться в его пределах все же не следует, не то как бы им не обрести и кое-что еще. На исходе недели мой приятель глотал хинин, глаза у него запали и он шепотом сообщал мне всякие сведения о лихорадках и малярии. Сказать, что в гостинице есть, как и пить, было нечего, — значит облечь в слова то, что и так само собой разумеется. Однако мой приятель — человек предусмотрительный, он захватил с собой герметически закупоренные жестяные банки от Фортнума и Мейсона, а на второй день нашего

пребывания в Каире два офицера пригласили нас отобедать с ними в каирской ресторации. Мы мужественно побрели по глине к лачужке, у дверей которой хозяин властно приказал нам почиститься с помощью обломка старого веника, а уж потом входить внутрь. Мы подчинились, и нижняя половина наших особ обрела сходство с хлебом, который помазала патокой скаредная экономка. Впрочем, хозяин поступил благоразумно: если бы мы не воспользовались остатками веника, патока разлилась бы по всему помещению. После этой процедуры мы попировали по-королевски, угощаясь супом из белок и луговыми тетеревами. Один из наших друзей извлек из карманов шампанское и коньяк, а другой — стаканчики и штопор. Бутылка пошла вкруговую, и вскоре я ощутил себя в душе подобием Марка Тэпли.

Однако в Каир нас привела нынешняя его военная важность, а не желание любоваться красотами тамошней природы. В городе были расквартированы значительные военные силы, на реке собралась большая флотилия канонерок. Мы явились туда, вооруженные письмами к генералам и коммодорам, а потому ожидали, что нам предстоит множество военных инспекций. Но птичка упорхнула до нашего приезда, а вернее, если так позволено сказать, упорхнули крылья с туловищем, оставив позади облезлый хвост да несколько перышек. Когда мы приехали в Каир, там набралось бы не больше тысячи солдат — то есть тысячи, расквартированной в каирских казармах. Но пока мы оставались в городе, в нем побывали еще два полка, пересаживаясь не то с одного парохода на другой, не то с поезда на пароходы. Я видел, как один из этих полков спускался на берег, и солдаты в целом выглядели здоровыми. Очень многие были пьяны, и все облеплены глиной по плечи, а то и по фуражки. В остальном они производили благоприятное впечатление. Однако не следует забывать, что эти солдаты — добровольцы, которых никогда не приучали ни к дисциплине, ни к чистоплотности. Волосы они носили длинные. Их шляпы и фуражки, хотя и были все того или иного военного образца, отличались большим разнообразием и не слишком гармонировали друг с другом. Все были облачены в широкие сине-серые шинели из толстого сукна, без сомнения теплые и удобные, однако и ширина и цвет как нельзя лучше подходили для того, чтобы на шинель налипало побольше глины и чтобы глина эта

эффектно на ней выделялась. Обувь на всех была добротной, но каждый выбрал ее по собственному вкусу. Многие щеголяли в высоких сапогах превосходной выделки и таких дорогих, что одно это сделало бы их недоступными для английских солдат. В подобных сапогах было бы не стыдно отправиться на лисью травлю, однако они, как и грубые сапоги, и башмаки, и прочая обувь этих солдат, не только никогда не чистились, но даже глина с них не соскребалась. Все солдаты были одеты тепло, но словно бы с таким расчетом, чтобы подобрать для глины фон поудачней.

Генералы и коммодоры отправились на канонерках вверх по Огайо и дальше по Теннесси в экспедицию, увенчавшуюся полным успехом,—все мы читали о ней в ежедневной хронике этой войны. Уплыли они накануне нашего приезда, и, хотя мы все же застали в Каире отряд канонерок—если канонерки действуют отрядами,—большая часть армии покинула город. В нем остался всего один полк и один полковник, любезно поведавший нам о сражениях, в которых участвовал, и столь же любезно разрешивший нам осматривать все, что мы найдем достойным внимания. Четыре канонерки еще стояли в Огайо почти у самого вокзала, уткнув плоские безобразные носы в глинистый откос, и нас пригласили побывать на двух из них. Они, бесспорно, выглядели как грозное средство ведения войны на реках и, столь же бесспорно, были построены «невзирая ни на какие расходы». Впрочем, американцы не взирают на расходы ни в чем, что имеет отношение к войне. В скарденности их обвинить никак нельзя. «Бентон», самая большая из этих канонерок, обошлась в 36 тысяч фунтов. Борта у этих судов скошены к килю под углом в сорок пять градусов. Броня имеет толщину в два с половиной дюйма и, если не ошибаюсь, не рассчитана на то, чтобы выдержать прямой удар тяжелого пушечного ядра. Но наклон бортов делает такой удар весьма маловероятным, любое же другое попадание не опасно для этой брони, наложенной на дубовые доски. Канонерки снабжены также бронированным навесом, а рулевой стоит внутри настоящего купола из брони. Мне кажется, эти суда во всех отношениях превосходно отвечают особенностям речной войны, для которой их строили. Шесть-семь канонерок отправились вверх по Теннесси накануне нашего прибытия в Каир, и, пока мы находились там, им удалось разнести форт Генри

и взять в плен гарнизон вместе с комендантом. Однако борт одной пробил ядро, угодившее затем в котел, и солдат на палубе — если не ошибаюсь, их было шестеро — обварил вырвавшийся наружу пар. Двое рулевых под куполом погибли той же ужасной смертью. Они ведь находились под непроницаемым железным колпаком, и у пара не было оттуда выхода. Как бы то ни было, канонерки добротны построены, отлично вооружены и, вероятно, сумеют отогнать армии конфедератов от берегов великой реки. А какое снаряжение поможет вести преследование этих армий дальше — вопрос другой.

В Каире, однако, находилась еще одна флотилия, и нам сообщили, что мы успели как раз к первому ее испытанию. Она состояла из мортирных судов. Их было целых тридцать восемь, и каждое обошлось в тысячу семьсот фунтов. Они представляют собой подобие широких плотов с палубой, поднятой над плоским днищем на три фута. Защищают их высокие железные борта, считающиеся пуленепробиваемыми. Каждое должно быть снабжено небольшой шлюпкой, канатами и четырьмя веслами. Этим исчерпывается все их снаряжение, а передвигаться они должны либо с помощью парового буксира, либо применяя вышеуказанные весла. На каждое предполагалось установить тринадцатидюймовую мортиру колоссальной тяжести. Заряжать мортиры предстояло двадцатью тремя фунтами пороха так, чтобы бомба пролетала три мили, с абсолютной точностью поражая на берегу любой город, удерживаемый мятежниками. Величие этого замысла превосходило всякое вероятие. Столь большое количество пороха, как мне кажется, никогда еще не употреблялось для одного заряда в каком бы то ни было орудии войны. А когда мы услышали, что все тридцать восемь мортир будут бить по городу одновременно и с безупречной точностью, участь этого города представилась нам более страшной, чем участь Содома и Гоморры. Если на воду будут спущены подобные военные приспособления, какой город может считать себя в безопасности?

Но, осматривая мортирные суда, мы вскоре перестали тревожиться за судьбу будущей цели этой флотилии и восхищались уже лишь ловкостью подрядчика, который добился контракта на их постройку. Начать с того, что все они текли и пространство между днищем и палубой каждого было залито водой. Пространство это предназна-

чено для хранения зарядов, но использовать его таким образом было теперь затруднительно. Офицер, которому предстояло провести испытания, установив на одном из судов мортиру, зарядив ее двадцатью тремя фунтами пороха и произведя выстрел, приказал откачать воду из-под палубы плота, предназначенного для этой операции, после чего паровой буксир должен был проташить нас милою вверх по реке, где уже ждали мортира и лебедка для ее погрузки. Однако, едва мы вышли в фарватер, как выяснилось, что буксир, хотя и отвел нас от причала, не в состоянии не только тянуть нас против течения, но даже удерживать на месте. На помощь явился еще один буксир, и, получив по буксиру с каждого борта, мы за полчаса кое-как одолели те сто ярдов, на которые нас успела отнести от города река. Сопротивление течения отчасти из-за тяжести судна, а отчасти из-за плоского носа, который все время зарывался в воду, было так велико, что мы и без мортиры почти не продвигались вперед.

Вскоре стало ясно, что никакие испытания в этот день провести не удастся, и нам пришлось покинуть Каир, так и не став очевидцами выстрела из этой чудовищной пушки. Я же пришел к твердому выводу, что мортирные суда не в состоянии причинить противнику сколько-нибудь существенный урон и вряд ли могут пригодиться в этой войне. С тех пор их использовали на Миссисипи, но с какими результатами, нам пока неизвестно. Остров номер 10 был взят, но, насколько я могу судить, мортирные суда ничем не способствовали этому успеху. Буксировать их против течения настолько трудно, что одно это делает их участие в военных операциях достаточно сомнительным. Когда мы их осматривали—а они были тогда совсем новыми,—многих гаек уже не хватало. С некоторых исчезли шлюпки, с других—канаты и весла. Они стояли, все тридцать восемь, у глинистого берега Огайо под сенью обнажившихся ветвей лесных деревьев—и трудно было бы придумать более удручающее зрелище бессмысленного расточительства. Тем не менее подрядчик, построивший их, был, несомненно, очень ловкий малый.

Эта армада стояла на Огайо у заросшей тростником косы в миле за дамбой, где старый нетронутый лес спускается к самой реке, и, когда она чуть поднимается, первые ряды деревьев оказываются в воде. Я оговорился,

сказав, что мортирные суда осеялись ветвями деревьев,— подобные деревья раскидистыми не бывают. Они теснятся друг к другу, кривые, обломанные, трухлявые, безобразные, с сухими вершинами и изуродованными сучьями, словно бы давно погибшие, но все-таки на краткий срок обновляющиеся вместе со всей растительностью влажных низин. На мой взгляд, нет ничего более однообразно-унылого, чем подобный пейзаж. Мы в Англии, читая и беседуя о первобытных лесах Америки, склонны рисовать в воображении картины лесных прогалин, окаймленных ветвистыми дубами, зеленеющих мягкой травой и мхами,— словом, картины, прелестней которых бог не создал ничего. Но эти леса совсем не такие. Они не манят влюбленных, не предлагают утешения меланхоличным любителям размышлений. Почва в них покрыта толстым слоем ила или залита водой. Между рекой и берегом нет четкой границы. Каждое дерево, хотя и полно жизни, выглядит мертвым. И даже простым глазом видно, что они служат приютом всяческих лихорадок, внезапных ознобов и злобещей малярии.

Впервые мы посетили это место без провожатых, спустившись от железнодорожного полотна к месту, где были причалены мортирные суда. Они стояли тремя рядами вдоль берега, а прямо перед ними высился старый пришвартованный к берегу пароход. Киль его был сломан, и ему предоставили тихо ржаветь в этой водной могиле. Была середина зимы, и каждое дерево покрывала ледяная корка, припорошенная сеявшейся с неба снежной пылью—снег тут не валит тяжелыми хлопьями. Земля под нашими ногами затвердела от холода, но твердость эта была коварной: нет, земля не замерзла честно, так, чтобы выдержать вес человека,— доверившиеся ей ноги могли в любой миг провалиться в жирную липкую грязь, скрытую предательской коркой. Мне еще не доводилось видеть столь грустное зрелище, будящее невольную жалость к тем, кого судьба обрекла жить в подобной местности. Притом она не лишена красоты, но красоты тоскливой, погребальной. Искалеченные деревья гибнущего леса сверкали бесчисленными ледяными бриллиантиками. Редкий кустарник не препятствовал взгляду различать живописные формы деревьев или их групп, образовавших естественные беседки, матово поблескивающие серебряным инеем. Рядом бесшумно струила свои воды великая река, казавшаяся

неподвижной, несмотря на быстроту и силу течения. Плодородие почвы у нас под ногами превосходило всякое воображение, но плоды ее пока пожинала не жизнь, но смерть. Там, где мы шли, еще не поработали ни топор, ни плуг, однако совсем рядом пролегла железная дорога, а менее чем в миле оттуда тысячи и тысячи долларов были потрачены на возведение города, которому предстояло богатеть на дарах этой почвы и этой реки. До сих пор лихорадки и горячки, жидкая глина и малярия одерживали верх над человеческими усилиями, так что все тысячи долларов были потрачены впустую. Однако, несомненно, настанет день, когда этот мыс у слияния двух великих рек станет достойным приютом процветающей промышленности. Тут начнут селиться люди с севера или востока, отправившиеся на поиски лучшей доли,—и будут тяжело трудиться, и оставят свои кости в глине. Худые, бледные, печальные матери будут стареть тут до срока, и на свет будут появляться хилые дети, кое-как вырастать и безрадостно трудиться до конца своих дней. Но работа будет продолжаться, ибо это божья работа, земля станет пригодной для человеческого обитания, и тучная гнило-стность еще живого леса начнет отдавать свои богатые сокровища.

Мы убедились, что двух дней, проведенных в Каире, нам более чем достаточно. Мы видели канонерки и мортирные суда, а также осмотрели солдатские казармы, которые оказались скверными, лишенными каких бы то ни было удобств, сырыми и холодными. Немногим лучше были и жилища офицеров, куда нас гостеприимно приглашали. Впрочем, в здешних казармах не стояло такое зловоние, как в бентоновских в Сент-Луисе, и болезни не свирепствовали так сильно. Причин я не знаю, но таковы были мои наблюдения. Местоположение бентоновских казарм производило впечатление более здорового, но их сумели превратить в такое гнусное место, каких мне прежде видеть не доводилось. Повсюду, где квартировала армия, солдаты, поселенные в палатки, устраивались много удобнее, выглядели более бодрыми, да и здоровыми, чем те, кто жил в казармах.

Мы проинспектировали каирскую армию и каирский военный флот, а к тому же вдоволь нагляделись на сам Каир и все прочее, что он мог нам предложить. Гостиница внушала нам живейшее отвращение и, прежде чем лечь спать на вторую ночь, мы настоятельно предупреди-

ли, чтобы нас разбудили в половине третьего, раз уж поезд отходил в столь немыслимый час, как половина четвертого утра! Разумеется, до начала второго мы едва погружались в дремоту и тут же просыпались из страха, что нерадивость коридорного вынудит нас провести в этом месте еще сутки, и, разумеется, мы уснули как убитые именно тогда, когда нам следовало бы встать, а будить нас, разумеется, пришли за пятнадцать минут до отхода поезда. Ну да всем известно, как это обычно бывает. И вот мы оба вскочили с кровати в этой жалкой каморке, якобы умылись и якобы, как всегда бывает в подобных случаях, собрали вещи. Умылись мы якобы, потому что у нас на двоих был один тазик. А вещи собрали якобы, так как я забыл щетки для волос. Каир отомстил мне за то, что в пресловутой цирюльне я не пожелал воспользоваться привилегиями, которые предлагаются его свободным гражданам. И тут, пока мы лихорадочно затягивали ремни наших портпледов и на все лады кляли бессовестность коридорных, к нам поднялся сам портье — великий человек, восседающий за конторкой, — и обстоятельно выбранил нас за то, что мы так мешкаем. Как не разбудили? Да нас же разбудили час назад! Это было заведомой неправдой, на что мы и указали без особой сдержанности. Но он не унялся. Мы, конечно, опоздаем, пророчествовал он. До вокзала нам не добратъся меньше чем за пять минут, а поезд тронется через четыре.

Лишь те, кто сам пережил подобное, способны понять муки таких мгновений — даже если они выпадают во время обычного путешествия. Но никто, кроме тех, кто сам бывал в Каире, не в силах понять ужас, который порождала одна лишь мысль, что нам придется провести в этом городе еще сутки. И вот мы выбежали из гостиницы и по деревянным мосткам, скрытым под глиной, слякотью и тающим снегом, кинулись к вокзалу, таща наш багаж и пальто, под оглушительный протяжный тоскливый вой, который могла бы испустить белая медведица, корчась на айсберге в родовых схватках, но который издает американский паровоз, перед тем как тронуться в путь. Мы спотыкались, скользили, брызгали грязью и ругались, мчась сквозь мрак полураздетые, с болтающимися пуговицами! Однако мы ни в ком не пробудили сочувствия. На поезд мы успели и даже сумели погрузить свой багаж — но под безжалостными насмешка-

ми досужих зрителей. Все места, разумеется, оказались заняты, и нам довелось убедиться, что железнодорожный поезд в западном штате еще не предел падения и можно пасть много ниже. В поезде имелся вагон второго класса, прицепленный, по-видимому, ради тех, кто почитает себя слишком уж грязным, чтобы навязывать свое общество каирским аристократам, и вот в него-то мы и устремились. Впрочем, это не омрачило нашей радости — ведь и в нем мы уносились все дальше и дальше от Эдема. Нет, мы не годились в сотоварищи Марку Тэпли и ради того, чтобы покинуть Каир, готовы были наняться на паровоз помощниками кочегара. Бедный Каир! Злополучный Каир! Он «отыграл свое», сказал мне один из его граждан. Но по правде говоря, игру затеяли слишком рано, и отыгрались вот эти игроки, а теперь подходит черед их смены, и, возможно, успехи новых игроков заставят говорить о себе повсюду в западном мире.

ЭМИГРАНТ-ЛЮБИТЕЛЬ

НЬЮ-ЙОРК

По мере приближения к Нью-Йорку меня поначалу забавляли, а затем начали ошеломлять те предостережения и жутковатые легенды, которыми сопровождалось наше прибытие. Можно было подумать, что высаживаешься на остров каннибалов. Ни с кем нельзя заговорить на улице, ибо тебя не отпустят, предварительно не избив и не обчистив до нитки. В гостиницу следует входить, соблюдая военные меры предосторожности, ибо в лучшем случае тебе грозит проснуться на следующее утро с пустыми карманами, или без чемоданов, или безо всякой одежды — насаженная на вилку одинокая редиска в кровати, а в худшем — ты просто мгновенно и загадочно исчезнешь из списков человечества.

Обычно такие истории не имеют ничего общего с действительностью. Так, припоминая, меня предостерегали — и не кто-нибудь, а ученый профессор — насчет придорожных гостиниц в Севенне; а когда я добрался до Праделле, предупреждение разъяснилось: это был всего лишь отдаленный слух, отголосок одной жуткой истории, случившейся полвека назад и полузабытой в ходе времени. Так что и ко всем подобным рассказам об Америке я не был склонен относиться всерьез. Но на борту с нами был человек, к чьим словам стоило прислушаться. Он сам едва не стал жертвой нападения — остановился в воровском притоне. К такого рода инцидентам у публики старый и понятный интерес, так что мне следует постараться и удовлетворить ее любопытство.

Мой спутник (будем звать его Ноттенон) приехал с товарищем из Нью-Йорка в Бостон в поисках работы. Оба любили весело провести время и, оставив багаж на вокзале, проторчали весь день в салунах, подогревая себя пивом, пока наконец не пробило полночь. Тогда они

решили, что надо подумать о пристанище, и до двух проходили по улицам, пытая удачи в захудалых гостиницах и получая отказ, либо сами не удовлетворяясь условиями.

К двум ночи действие виновных паров стало иссякать, они изрядно устали и продрогли и, сделав большой круг, очутились на той же самой улице, с которой начали свои поиски, перед входом в отель «Франция», куда уже стучались. Увидев, что двери по-прежнему открыты, они сделали еще одну попытку. За конторкой сидел человек в белой фуражке: казалось, он встретил их на сей раз более приветливо, а стоимость за ночевку непостижимым образом упала с доллара до четвертака. Отель выглядел подозрительно, однако же они заплатили по четвертаку каждый, и их провели на верхний этаж. Там, в маленьком номере, человек в белой фуражке пожелал им доброй ночи.

В комнате были кровать, стул и кое-какие удобства. Дверь не запиралась изнутри; единственным украшением были две картины в рамах, одна прямо над изголовьем кровати, другая напротив, в ногах, обе были задернуты занавесками, как это иногда делают с ценными акварелями, или портретами усопших, или произведениями фривольного содержания. Быть может, и надеясь как раз обнаружить что-нибудь в этом роде, приятель Ноттена отдернул занавеску, прикрывающую первую картину. Увиденное неприятно разочаровало его. Никакой картины не было. Рама ограничивала, а занавеска предназначалась, чтобы укрыть удлиненную щель в перегородке, которая отделяла комнату от темного коридора. Оттуда легко можно было извлечь кошелек, который положили под подушку, или даже задушить спящего. Ноттен и его товарищ уставились друг на друга, как Бальбоа с членами команды, «озаренные страшной догадкой»; затем приятель Ноттена, схватив фонарь, ринулся к другой картине и резко дернул занавеску. Тут он застыл, словно пригвожденный к месту, Ноттен же, последовав за ним, впился в ужасе ему в руку. Видна была другая комната, побольше той, в которой они остановились, где, пригнувшись, молча, в темноте сидели трое. Секунду-другую все пятеро смотрели друг другу в глаза, затем занавеска упала, и Ноттен с приятелем в один прыжок очутились на лестнице. Человек в белой фуражке, наблюдая их бегство, не проронил ни слова; очутившись на ночной

улице, они испытали такое облегчение, что оставили все мысли о ночлеге и пробродили по Бостону до самого утра.

Казалось, эти истории не произвели ни на кого особенного впечатления, однако же каждый поинтересовался адресом какого-нибудь приличного отеля; что касается меня, я доверился заботам мистера Джонса. В полдень второго воскресенья нашего путешествия мы увидели низкие берега, окаймлявшие нью-йоркскую бухту; пассажиры третьего и четвертого классов должны были оставаться на борту до следующего утра, чтобы пройти таможенный досмотр; ну а мы, обитатели кают второго класса, вместе с богачами из люксов сразу вышли на берег, так что уже к шести часам мы вместе с Джонсом, усевшись на какую-то соломенную подстилку открытого экипажа, очутились на Уэст-стрит. Дождь лил как из ведра, и с этого момента до следующего вечера, когда я уехал из Нью-Йорка, он так и не прекращался, лишь изредка утихал. На дорогах творился настоящий потоп, свистящий шум дождя заглушал все другие звуки, в ресторанах поднимался тяжелый дух влажной одежды и промокших до нитки человеческих тел.

Всего лишь несколько минут (хотя это и стоило изрядной суммы) потребовалось, чтобы добраться по Уэст-стрит до пункта назначения: «Реюнион-Хаус, Уэст-стрит, 10, рядом с таможней; удобно добираться до таможни, а также до корабельных причалов Стимбоут-Лэндингс, Калифорния-Стимерз и Ливерпуль-Шипс; полный пансион—доллар в сутки, отдельная трапеза—25 центов, ночлег—25 центов; семейные номера; хранение багажа—бесплатно; всем клиентам гарантируются удобства. Майкл Митчелл, владелец». Реюнион-Хаус был, рискну заметить, довольно жалким постоялым двором. Длинная комната, служившая баром, вела в небольшую столовую, за которой находилась еще меньшая по размерам кухня. Мебель самая простая; однако бар был выдержан в американском стиле—стены покрыты призывными и вдохновляющими надписями.

Джонса здесь хорошо знали, нас встретили приветливо, и уже через две минуты я, отказавшись от выпивки, предложенной хозяином, собрался было, в свободной европейской манере, отказаться и от сигары, но мистер Митчелл резко пресек мое намерение и объяснил ситуацию. Оказалось, он хотел угостить меня; вообще, когда в

американском баре хозяин тебе что-либо предлагает, нужно помнить, что речь идет об угощении, и, если не хочешь пить, следует хотя бы выкурить сигару. Я робко принял ее, чувствуя, что первая нота, взятая мною в Америке, оказалась фальшивой. Сигара мне не понравилась; впрочем, это могло объясняться многими причинами, даже лучшая сигара может не доставить никакого удовольствия, если три четверти ее выкуриваешь под проливным дождем.

В течение многих лет Америка для меня была землей обетованной. «Империя прокладывает себе путь на запад»; в беге сейчас побеждают молодые; что было и что есть, нам известно, пусть зыбко и неполно, но то, что будет,—за пределами нашего воображения. Греция, Рим и Иудея ушли навсегда, оставив потомкам в наследство осуществленное; Китай еще держится, старый дом в только что возведенном граде народов; Англия, потеряв Штаты, уже клонится к закату, и потоку умы англичан в юную пору надежд, естественно, поворачиваются в сторону самих этих Штатов, еще не развившихся, но исполненных скрытых возможностей, Штатов, вышедших, как новая Ева, из ребра их собственной старой родины. Американцу трудно понять это состояние духа. Но пусть он представит молодого человека, которому суждено вырасти в старом, строгом, замкнутом кругу, следовать отжившим привычкам, которого будут учить не доверять собственным инстинктам и который неожиданно узнает, что есть семья родственников, людей его возраста, которые сами управляют своим домом и живут, свободные от ограничений и традиций; пусть он представит это, и тогда хоть в какой-то мере поймет чувство, с каким пылкие английские юноши смотрят на американскую республику. Им кажется, будто там, на Западе, битва жизни все еще ведется под открытым небом, по свободным законам варварских времен; им кажется, будто эту битву еще не захихнули в гостиные и не свели, как в скучном и несправедливом суде, к компромиссу, внешним формальностям и пустому, бессмысленному самоотречению. Человек, в котором осталось хоть немного молодого чувства, сам выберет между двумя этими стилями жизни. Наверное, он предпочтет бездомность отказу от ключа в новую жизнь, голодное существование — трапезе в благодушном, респектабельном обществе, жизнь, полную опасностей,—жизни согласно установленным правилам.

Он ничего не знает или думать не хочет о законах штата Мэн, о пуританском угрюмстве, о яростной и жадной погоне за долларом, о тусклой жизни американских городков. Несколько приключенческих книг — отрада детства — сформировали его представления об Америке. С течением времени они обрастают множеством вдохновляющих подробностей — огромные города, растущие, словно по мановению руки; птицы, улетающие осенью на юг, а весной возвращающиеся, чтобы найти свои болота плотно заселенными людьми; фонари, освещающие шумные улицы; леса, исчезающие, как талый снег; вырубленные и освоенные долины, величиной во всю Англию; люди, снимающиеся с места со всем своим скарбом и, обгоняя соседей, стремящиеся туда, где ни медведь, ни индеец еще не подозревают об их приближении; нефть, которая бьет фонтаном, стоит только ткнуть в землю палкой; золото, которое намыывают в ручьях и добывают в долинах Сьерры; и весь этот порыв, мужество, действие, дух мгновенных перемен, которые почувствовал и запечатлел в своих мощных, жизнерадостных и переливающихся строках Уолт Уитмен.

И вот наконец я очутился в Америке и вскоре вышел на улицы Нью-Йорка в поисках чего-то неизвестного. Город напоминал Ливерпуль; но дело было в дожде, который и в самом раю не покажется привлекательным.

Нас было четверо под двумя зонтами: Джонс, я и двое молодых шотландцев, недавних иммигрантов, готовых приветить соотечественника. Они пробыли в Нью-Йорке шесть недель, но ни один из них еще не нашел постоянной работы и не заработал ни цента, и сейчас им буквально нечем было бы заплатить за автобус.

Шотландцы вскоре оставили нас. Я поклялся всеми богами съесть такой обед, что поднимет мертвых; никакая цена не могла бы меня смутить: это было какое-то безумие, но Джонс и я просто должны были отобедать, как языческие императоры. Я принялся за дело, выясняя, в какой ресторан пойти, и спрашивая об этом прохожих, с виду наиболее преуспевающих и имеющих вкус к еде. Но хотя я и говорил им, что готов заплатить любую мыслимую сумму, все до одного посылали меня в дешевые заведения со стандартными ценами, где я не стал бы есть и за деньги, на которые можно было бы пообедать двадцать раз. Не знаю, чем это объяснялось — особенностями ли Нью-Йорка, или тем, что Джонс и я

выглядели непохожими на людей, способных хорошо пообедать, и не вдохновляли на заманчивые предложения на этот счет. Но в конце концов мы собственными усилиями обнаружили французский ресторан, с французским поваром, более или менее приличными французскими блюдами и так называемым французским вином; заключалось все это французским кофе. Попробовав его, я по-настоящему понял, что значит быть одураченным.

Полагаю, в гостинице нам предоставили то, что они называют «семейным номером». Это была крохотная комнатка с кроватью, стулом и двумя-тремя вешалками,— всем необходимым для поддержания человеческого существования; свет этот номер получал из двух источников: один помещался в коридоре, другой освещал проход, который вел прямо в другую комнату, где трое мужчин храпели в унисон' либо, в моменты бодрствования, о чем-то вяло переговаривались друг с другом всю ночь. Легко заметить, что ситуация почти в точности повторяла ту, что описал в своем рассказе Ноттен. Джонс улегся на постели, я расстелил спальный мешок на полу. Он заснул только под утро, а я вообще так и не сомкнул глаз.

На рассвете я услышал пушечную пальбу; а вскоре в соседней комнате храп прекратился и послышалась возня с одеждой. Голоса звучали приглушенно и грустно, как у постели больного. Наконец-то задремавший Джонс заворочался и заворчал, мигая сонными глазами и бессмысленно глядя на меня. Я же в свою очередь начал испытывать все большее отвращение к происходящему, после бессонной ночи меня слегка трясло, так что я поспешил одеться и спуститься вниз.

Чтобы попасть в туалет, надо было пересечь двор под дождем, который все еще обрушивался сильными и шумными струями. Там были три раковины, несколько смятых полотенец и кусок мокрого мыла, белого и скользкого, как рыба; не забыть мне и зеркала, а также пары сомнительных гребешков. Тут был другой шотландский парень, энергично растиравший лицо. Он жил в Нью-Йорке уже три месяца и до сих пор не нашел постоянной работы и не заработал ни цента, так что сейчас ему и впрямь нечем было заплатить за автобус. В глубине души я почувствовал боль за своих соотечественников-эмигрантов.

О своих кошмарных похождениях по Нью-Йорку рассказывать воздержусь; мне надо было выполнить

тысячу и одно поручение, и все это за день, а под вечер предстояло отправиться в путешествие по стране. Дождь продолжал идти с неиссякаемой яростью, то и дело приходилось искать укрытия, чтобы, так сказать, дать отдых плащу, ибо под этими нескончаемыми потоками воды он начал промокать.

Я заходил в банки, на почту, на вокзалы, в рестораны, в издательства, в книжные магазины, в обменные конторы, повсюду оставляя лужи, и те, кто заботился о чистоте помещений, поглядывали на меня с досадой. Равным образом, куда бы я ни заходил, меня всюду поражала одна и та же особенность: люди были на удивление грубы и на удивление добры. Служащий в обменной конторе допрашивал меня, как комиссар французской полиции — мой возраст, мои занятия, мой средний доход, цель путешествия, — пресекая все попытки уйти от ответа и выслушивая меня в полном молчании; однако же, когда все было кончено, он только что не заключил меня в объятия и послал своего помощника-мальчишку почти за четверть мили под дождем принести мне книги по сниженной цене. Точно так же в очень большом учреждении по изданию и продаже книг человек, по виду управляющий, принял меня так, как, без преувеличения, меня не принимали еще нигде: он ясно дал понять, что не верит в мою порядочность, и отказался посмотреть названия книг, да и вообще дать мне любую, самую ничтожную информацию на том основании, что это не его, как управляющего, дело. В конце концов я потерял терпение, сказал, что я иностранец и еще не привык к американскому этикету; но уверяю вас, продолжал я, что любой книготорговец в Англии окажет вам более теплый прием. Возможно, я немного прихвастнул, но, как часто бывает, смелость восторжествовала. Управляющий сразу же кинулся из одной крайности в другую; с этого момента он, можно сказать, обрушил на меня потоки доброты: он дал мне множество хороших советов, разнообразные адреса и вышел с непокрытой головой под дождь, чтобы показать ресторан, где бы я мог пообедать; но даже это показалось ему недостаточным. Таковы (могу сказать с большой мерой уверенности) нравы в Америке. Именно эти резкие перепады поражали меня в американцах всех сословий, на всем пути от востока до запада. В тот момент, когда я буквально впадал в неистовство от такого оскорбительного обращения, собеседник стано-

вился весь внимание и радушие. Все же, хоть подобные картины я наблюдал во многих частях страны, подозреваю, что особенно характерны они для определенного штата или группы штатов, ибо в Америке — и опять-таки во всех сословиях — вы найдете и самых воспитанных людей во всем мире.

Вернувшись под вечер к Митчеллу, я так промок, что решил просто освободиться от ботинок, носков и брюк, оставив их в дар Нью-Йорку. Их нельзя было высушить ни на каком огне, а упаковать в таком состоянии означало бы загубить другие вещи. Свалив все в кучу посреди лужи на полу кухни у Митчелла, я сказал им с тяжелым сердцем: «Прощайте». Думаю, что они так до сих пор и не просохли. Митчелл нанял человека отнести мой багаж на вокзал, который был поблизости, и пошел со мной сам, чтобы обеспечить мне особое внимание со стороны местного начальства. Это было поистине великодушно. Те, у кого нет денег, пусть направляются в Реюнион-Хаус — там они найдут пристойную еду и порядочного и любезного хозяина. Я должен высказать ему эти слова признательности перед тем, как перейти к следующей и куда менее приятной главе повествования о моем эмигрантском опыте.

СПУТНИКИ

В Огдене мы сделали пересадку — с Юнион-Пасифик перешли на Централ-Пасифик. Перемена была приятна вдвойне: во-первых, вагоны на новой линии оказались лучше; во-вторых, те, в которых мы были замурованы в течение девяноста часов, начали издавать невыносимый запах. Возвращаясь, скажем, с обеда, мы чувствовали, как в ноздри уже в нескольких ярдах от вагона ударяет дух тухлятины. Пока поезд переводили на другой путь, я стоял на платформе; и по мере того, как спальные вагоны придвигались все ближе, все сильнее распространялся запах, словно от зверинца, только еще резче, ибо исходил от людей, а не от обезьян. Я думаю, человеческими существами нас делают открытые окна. Без свежего воздуха достаточно уже больного сердца да незаурядного владения аристократическим английским, чтобы стать вторым Свифтом; и впрямь чувствуешь себя козлом в человеческом облике, привычно отмахивающимся хво-

стом от тучи насекомых. Я делал все возможное, чтобы не уподобиться этому козлу и отыскать в этом йехуобразном эмигрантском поезде человеческое, а не животное. Впрочем, одно следует заметить: вагон, где ехали китайцы, был наименее противен.

Вагоны на Централ-Пасифик были почти вдвое просторнее и, соответственно, вдвое лучше проветривались; они были недавно отделаны, что давало приятное ощущение чистоты, будто только что принял ванну; сиденья выдавались вперед и сходились посредине, что вполне заменяло лежанки, а поверху проходил ряд полок, которые днем убирались и открывались на ночь.

К тому времени у меня была уже возможность присмотреться к спутникам. Они значительно отличались от эмигрантов, с которыми я пересекал Атлантику. Это были в основном неповоротливые люди, молчаливые и шумные одновременно — обычное сочетание; пожалуй, я бы сказал, немного печальные, с исключительно примитивным чувством юмора, почти вовсе не выражающие интереса к своим товарищам, за вычетом случайного и чисто внешнего любопытства. Узнав чье-нибудь имя и занятие, они полагали, что проникли в самое существо человека; они настолько же рьяно стремились выяснить это, насколько равнодушны оставались ко всему остальному. Иные из них чувствовали себя как на иголках, пока не узнавали, что вас зовут Диксон и что вы странствующий пекарь; но католик вы или мормон, умны или посредственны, добродушны или нелюдимы — это было для них все равно. Другие, не столь ограниченные, склонны были посплетничать, и посплетничать, приходится признать, недобро. Любимой шуткой какого-нибудь деревенщины было прокричать «Все по местам!» в то время, как все обедали, и остроумец мог, таким образом, внести свою лепту во всеобщее замешательство. Такому всегда аплодировали за находчивость. Проезжая через Вайоминг, я заболел и был немало поражен — отзывчивость паромных спутников была еще свежа в памяти, — увидев, что ничего, кроме смеха, мое недомогание не вызвало. Один из молодых даже всячески развлекался тем, что поддевал меня, что было тогда нетрудно; и дело было не в испорченности, а просто в амебной неспособности этого юнца мыслить, ибо он ожидал, что я приму участие в его забавах. Что я и сделал, но это было веселье призрака. Позже у одного пассажира из Канзаса

случилось три эпилептических припадков; и хотя, конечно, недостатка в помощи не было, сами эти припадки породили среди спутников скорее мистический ужас, нежели сочувствие. «Боже, надеюсь, он не умрет,—закричала одна женщина,—было бы ужасно путешествовать с трупом». Общее мнение сводилось к тому, что надо ссадить его на следующей же остановке. К счастью, проводник воспротивился этому.

На одних перегонах много болтали, на других, напротив, сохранялось почти полное молчание. Мне никогда раньше не приходилось видеть, чтобы единственным человеком, проявляющим интерес к рассказу, был сам рассказчик. Очень редко слушали ради того, чтобы слушать. Если же к рассказу вдруг прислушивались, то потому лишь, что надеялись немедленно перехватить инициативу. Чаще всего говорили о еде и продвижении поезда; тут в разговор вступали те, кто в других случаях молчал. Небольшая группа людей не нашла ничего более интересного, чем попытаться выудить из меня мое имя; и чем настойчивее они становились, тем больше мне хотелось подурочить их. Они атаковали меня хитроумными вопросами и заманчивыми предложениями будущей переписки; но я стойко удерживал позиции и лишь смеялся в душе, отражая их наскоки. Уверен, что Дюбюк дал бы мне десять долларов за этот секрет. Мог бы дать и больше, если бы лучше понимал жизнь, ибо эта игра сохраняла ему живой интерес к путешествию на всем его протяжении. Много месяцев спустя я встретил одного из своих спутников в трамвае в Сан-Франциско и, поскольку шутка уже стала вчерашним днем, открыл ему свое имя без дальнейших уверток. Челюсть у него так и отвисла. Но даже скажи я ему, что мое имя Демогоргон, он все равно остался бы разочарован—слишком долго не раскрывалась тайна.

Среди пассажиров не было эмигрантов из Европы—за вычетом одной немецкой семьи и небольшой кучки шахтеров из Корнуэлла, которые монолитно держались особняком; один, нацепив очки в стальной оправе, читал целыми днями Евангелие, другие обсуждали меж собою тайны своей древней загадочной расы. Леди Эстер Стэнхоуп надеялась, что ей удастся создать из корнуэльцев нечто великое; что касается меня, я ничего не способен извлечь из этой темы. Разделение рас, более древнее и достоверное, чем Вавилон, оставило эту тесно

замкнутую народность в стороне от других англичан. Даже краснокожие индейцы мне ближе. Таков один из уроков путешествия — наиболее чуждые народы живут в твоём собственном доме, за соседней дверью.

Все остальные были уроженцами Америки, но прибыли сюда из самых разных уголков континента. Все северные штаты делегировали странников, чтобы пере-сечь вместе со мною страну. Жители Виргинии и Пенсильвании, Нью-Йорка и штатов Дальнего Запада — Айовы и Канзаса, Мэна, граничащего с Канадой, и из самой Канады — все они, в одиночку или по двое, устремлялись на поиски лучших мест и лучших заработков. Говорили, как и на пароходе, о тяжелых временах, о скудных землях, о надеждах, которые всегда влекут на запад. Я с тоскою подумал о своих спутниках по морскому путешествию. Они прошли три тысячи миль, и этого оказалось недостаточно. Тяжелые времена гнали их из Клайда и обещали лучшую долю в Сэнди-Хук. А куда дальше? В Пенсильванию, Мэн, Айову, Канзас? Выходило, что это были края для эмигрантов, не для иммигрантов. Я знал человека (не из числа своих спутников), который передумал и вернулся на неблагоприятную родину. И все же они стремились дальше на запад. Можно было подумать, что голод, подобно солнцу, восходит на востоке, а там, где оно заходит, золото растет, как пшеница. А между тем разве не ехали со мною в одном вагоне с полсотни эмигрантов с разных сторон света? Голодная Европа и голодный Китай, покинув свои пределы, сошлись здесь лицом к лицу в поисках пропитания. Встретились две волны; восток и запад в равной мере не оправдали надежд; весь земной шар был пройден и проклят; Эльдorado не существовало; и если только Ты не мог эмигрировать на Луну, то с равным успехом можно было терпеливо отсиживаться дома. И не было недостатка в иных приметах, еще более красноречивых и еще более разочаровывающих одновременно; ибо, продолжая путь на запад, в страну золота, мы постоянно проезжали мимо встречных поездов, направляющихся на восток; и в них было не меньше народа, чем в нашем. И что же, нашли все эти возвращающиеся свою золотую жилу? Ехали ли они в Париж, надеялись ли быть в Риме к пасхе? Похоже, нет, ибо при каждой встрече они выбегали на платформу и кричали нам через окно, сливаясь в едином гласе отчаяния: «Возвращайтесь!» На равнинах

Небраски, в горах Вайоминга это был все тот же глас, отзывавшийся болью в моем сердце: «Возвращайтесь!» Его мы слышали, пересекая «благословенную страну, в которую мы стремились». А в тот же самый миг безработные толпились на Песчаной площади Сан-Франциско и пустозвонные речи демагогов доносились эхом с другой стороны Маркет-стрит.

Если и впрямь эмигрируют только для того, чтобы заработать, сколько же тысяч пожалеют об этом шаге! Но конечно, заработок только одна из причин; ибо мы представляем собою племя цыган, мы любим перемены и путешествия ради них самих.

1895

ГЕНРИ ДЕЙВИД ТОРО

ЕГО ХАРАКТЕР И МНЕНИЯ

I

Худое лицо Торо с пронизательными глазами и крупным носом, смотрящее на нас со старинной гравюры, говорит о его ограниченности и странностях характера... Язвительный, глубокий ум и почти животная ловкость движений не сочетались в нем с той бессознательной широтой характера и добродушием, которые свойственны героям. Он не был человеком приятным, светским или просто добрым. Лицо его редко освещала улыбка, но даже когда он улыбался, трудно было поверить, что он испытывает радость. На территории его души не было ни пустырей, ни свалок; все в нем было доведено до совершенства. «Он не был создан для какой-либо профессии,— писал Эмерсон,— не был женат, жил один, никогда не ходил в церковь, никогда не голосовал. Он отказывался платить налог государству, не ел мяса, не пил вина, никогда не курил табака и, будучи большим любителем природы, никогда не ставил капканов и не носил с собой ружья. Когда его однажды спросили за обедом, какое кушанье ему положить, он ответил «ближайшее». Такое количество «отрицательных» достоинств слегка отдает педантизмом. Он выбрасывал смешные места из своих поздних работ, считая, что они недостойны его мораль-

ной музыки, тем самым как бы открыто признаваясь в своей ограниченности. Для Торо гораздо легче было сказать «нет», чем «да», тонко замечает Эмерсон. Именно эта черта определяет его как человека. Способность говорить «нет» — полезное достоинство. Но предпочтительнее все же говорить «да», когда это возможно, ибо в этом заключается суть дружелюбия. Есть что-то ущербное в человеке, которому ничего не стоит сказать «нет». Этому прирожденному бунтарю явно многого недоставало. У него почти не было слабостей, вернее, их у него было так мало, что он стоял особняком от всего человечества. Как бы мы его ни назвали — полубогом или получеловеком, — он, во всяком случае, не был одним из нас, поскольку был лишен наших недостатков. Героические личности сочетают в широком спектре своей души самые разные положительные свойства, даже те, которые считаются сомнительными. Они могут прожить много жизней, а такой человек, как Торо, может прожить лишь одну, да и то с постоянной оглядкой.

Он не был аскетом, скорее, он был эпикурейцем в лучшем смысле слова. Он обладал одним замечательным достоинством: способностью быть счастливым. «Я люблю свою судьбу во всех ее проявлениях», — однажды записал он. И даже находясь на смертном одре, продиктовал такие слова (ибо сам уже не мог держать в руках пера): «Вы спрашиваете, в частности, о моем здоровье. Думаю, мне осталось жить немного, хотя и не знаю, сколько именно. Могу сказать, что я так же радуюсь жизни, как и раньше, и ни о чем не жалею». Не всем дано вынести столь ясное суждение о своей счастливой судьбе. Для этого требуются смелость и мудрость, ибо наш мир — лишь юдоль печали, и прочное счастье, по крайней мере для людей робких, может быть достигнуто во внутренней гармонии. Его довольство судьбой, восторг перед жизнью были подобны растению, которое он поливал и за которым ухаживал с чисто женской заботливостью. Есть что-то немужественное, что-то отталкивающее в жизни, которая не отмечена порывами и духом свободы, которая боится бодрящего контакта с миром. Одним словом, Торо был человеком нелюдимым. Он не хотел лишиться добродетели в обществе своих сограждан и забивался в угол, чтобы сохранить ее. Он оставлял всех ради того, чтобы потворствовать своим добродетельным прихотям. Правда, вкусы его были благородны: основной страстью было

желание остаться незапятнанным в этом мире, а высшей роскошью он почитал вещи такие же здоровые, как купанье в холодной ванне или ранний подъем по утрам. Однако можно быть холодным и жестоким, стремясь к добру, так же как может быть нездоровым само стремление к здоровью. Я не могу точно процитировать то место, где Торо объясняет, почему он не пьет ни чая, ни кофе. Но я уверен, что правильно понял смысл его слов. Он заключается в следующем: принимать стимулятор — значит портить естественную прелесть утра, а это плохо для здоровья и недостойно истинного философа. Нужно видеть восход солнца, чтобы вдохновить себя на дневные труды. Возможно, это и веская причина для того, чтобы не пить чая. Но когда мы видим, как тот же самый человек по той же самой причине воздерживается почти от всего, что его соседи привыкли не задумываясь употреблять, испытывая при этом удовольствие, как он воздерживается также и от испытаний и тревог человеческих, — мы узнаем болезненное здоровье, которое хуже самой болезни. Зачем нам с почтением относиться к чему-то искусственному, натренированному? Подлинное здоровье состоит в том, чтобы обходиться без этих качеств. Легко себе представить, что Шекспир начинал день, выпивая кварту эля, и при этом наслаждался восходом солнца ничуть не меньше Торо, а свои чувства облакал в гораздо лучшие стихи. Тот, кто должен жить иначе, чем его соседи, чтобы чувствовать себя счастливым, очень похож на курильщика опиума. Нам же хочется видеть человека, который смело вторгается в жизнь, делает свое дело и при этом испытывает свежую и чистую радость бытия.

Способности Торо составляли одно целое с его тонкой душевной организацией. Он мог, например, ориентироваться в лесу ночью, мог взять не считая сразу десяток карандашей, мог точно отмерить шагами расстояние, на глаз определить объем. У него было такое тонкое обоняние, что он различал запах жилья, когда проходил мимо ночью. Вкус у него не был изощрен. Подобно ребенку, он не любил вина, возможно, даже и не пробовал хорошего вина, поскольку жил в Америке. Он настолько тонко чувствовал природу, что по виду деревьев мог определить месяц и число с точностью до одного дня. В своих отношениях с животными он был похож на готорновского Донателло. Он вытаскивал из норы за хвост сурка; у него

искала защиты лица, за которой гнались охотники; видели, как белка сидела, уютно устроившись у него на плече. Он опускал руку в пруд и вытаскивал блестящую рыбку, которая спокойно лежала у него на ладони, ловя ртом воздух. Он умел практически все: мог поставить дом, смастерить лодку, изготовить карандаш, написать книгу. Он был землемером, ученым, естествоиспытателем. Он бегал, ходил, взбирался на горы, катался на коньках, управлял лодкой. Он мог применить свои навыки в самых разных ситуациях. Однажды управляющий на железной дороге, увидев, как он вставлял стекло в окно вагона, тотчас предложил ему работу. «Единственным результатом большого жизненного опыта,— замечает Торо,— является способность сделать какую-нибудь мелочь еще лучше». Тонкость его чутья была настолько удивительной, каждый его мускул был так полон жизнью, что, кажется, этот афоризм для него самого не годился, поскольку он мог делать многое необычайно искусно. Возможно, он имел в виду себя, когда писал: «Хотя юноша в конце концов становится равнодушным к жизни, законы вселенной не равнодушны. Они всегда на стороне тех, кто тонко чувствует».

II

Торо, по-видимому, с самого начала решил вести жизнь, исполненную самосовершенствования: стрелка его компаса не колеблясь (как бывает у более богатых натур) указывала на север; и поскольку для него долг и склонность были неотъемлемы друг от друга, он все свои силы направил на достижение этой цели. Но в самом начале на его пути возникло вполне обычное препятствие: в этом мире, несмотря на многие его достоинства, даже самые тонко чувствующие натуры вынуждены исполнять неприятную работу, чтобы жить. Невозможно посвятить все время занятиям и размышлениям, если у вас нет того, что так странно, но верно называется «собственными средствами». Не имея их, приходится зарабатывать на хлеб, служа обществу и исполняя ту работу, за которую оно готово платить, или, как любил выражаться Торо, Аполлон должен идти на службу к Адмету. Для Торо это была еще более горькая необходи-

мость, чем для большинства людей. Все в его свободолобной натуре, в которой было что-то от дикаря, восставало против гнета обычая. Он так истово стремился к совершенству, настолько счастлив был в собственном обществе, что с неудовольствием отвечал на требования дружбы. «У меня столько обязательств перед самим собой, что я не могу вам обещать»,— писал он однажды в ответ на приглашение (курсив его). Марк Аврелий находил время и для практики добродетели, и для управления Римской империей; Торо же настолько занят самосовершенствованием, что должен подумать, прежде чем нанести утренний визит. Разве можно представить себе, чтобы он сидел как проклятый по восемь часов в день, исполняя какую-то скучную и бессмысленную работу! Всякая механическая деятельность вызывала в нем ужас; работа должна быть по возможности приятной, добровольной и разнообразной. Он научился делать карандаши и достиг в этом совершенства; когда же друзья стали поздравлять его и говорить, что теперь он может основать собственное дело, он объявил, что не изготовит больше ни штуки. «Зачем повторять то, что я уже сделал однажды»,— сказал он. В самом деле, все то, что сделано наилучшим образом, перестает быть интересным для человека, занимающегося совершенствованием. Позже, однако, когда Торо пришлось оказывать поддержку семье, он вновь вернулся к изготовлению карандашей и в этом превзошел себя.

Эта работа была, по-видимому, первым испытанием Аполлона на службе у Адмета, за ней последовали и другие. «Я пытался учительствовать,— пишет он,— но понял, что мои издержки пропорциональны, или, лучше сказать, непропорциональны моим доходам, поскольку мне приходилось соответствующим образом одеваться, учить и, конечно, думать и верить. Кроме того, я терял много времени. А поскольку я учительствовал не для блага моих ближних, а для того, чтобы заработать на хлеб, на этом поприще я потерпел неудачу. Я пытался найти себя, занимаясь торговлей, и вскоре понял, что понадобится лет десять, чтобы чего-нибудь добиться, но тогда уж я наверняка буду где-нибудь на пути к преисподней». Никто не может сравниться с ним в презрении к так называемым «делам». При одном упоминании этой гемы из него брызжет желчь. «Вся наша деятельность не отмечена печатью мысли и не согрета чувством,— писал

он.— В ней нет ничего такого, за что можно было бы отдать жизнь или хотя бы пару перчаток». «Если большинство наших купцов и банков не обанкротится, моя вера в фундаментальные законы мира будет поколеблена. То, что девяносто шесть купцов из ста терпят крах, является самым приятным фактом, о котором поведала нам статистика». Эта цифра, возможно, порождена фантазией Торо, но есть что-то бодрящее в этой неподдельной ненависти, страстной, как корсиканская месть, и по-вольтеровски язвительной.

Изготовление карандашей, учительство, торговля были, таким образом, поочередно отвергнуты, и Торо, сделав стратегический ход, изменил ориентацию. Он понял, что может обеспечить себе кров и пищу практически даром; у Адмета никогда еще не было такого нерадивого раба. Торо хотелось стать философом, подобно восточным мудрецам, но при этом он всегда оставался философом-янки. Даже при его специфическом отношении к деньгам, иначе говоря, к «системе личной экономии», он был очень расчетлив, вполне в духе янки, и к бедности относился как к своего рода «бизнесу». И все же система его зиждется на одной или двух основных идеях, которые, мне кажется, приходят в голову всем думающим юношам, но которые городские дядюшки быстро из них выколачивают. В самом деле, во всех нападках Торо на господствующие мнения есть какое-то молодое бунтарство. Подобно «трудным вопросам» ребенка, они ставят в тупик ортодоксально мыслящих людей. Они, конечно, понимают, что все это — совершеннейший вздор, знают, что ответ существует, но он как-то не приходит им в голову. Так и с его «системой экономии». Он подходит к теме с совершенно неожиданной стороны, так что привычные аргументы не годятся. Он говорит на ином языке, в котором не существует привычных штампов, используемых защитой. Возникает такое чувство, как если бы мы многие годы сражались с противником, соблюдая правила поединка, и вдруг увидели перед собой бойца, который не стесняется наносить удары ниже пояса.

«Стоимость вещи определяется количеством того, что вы называете жизнью, которое следует за нее заплатить немедленно или в рассрочку», — пишет Торо. Мне уже приходилось формулировать эту мысль ранее, и, возможно, несколько яснее: мы получаем деньги ценой свободы. Наряду с этими двумя тезисами возможен по меньшей

мере еще один, который читатель формулирует сам. Из них следует, что человеку, может статься, придется слишком дорого платить за пропитание и жилье, платить, как говорил Торо, своей жизнью или, как выразился я, отдать за них всю свою наличную свободу, став рабом до скончания дней. Следует учитывать две вещи: качество того, что мы покупаем, и цену, которую нам приходится платить. Хотите ли вы жить на тысячу фунтов в год, на две тысячи или же на десять тысяч? И можете ли вы себе позволить столько тратить? Все это дело вкуса, но никоим образом не долга, как обычно считают. Однако подтверждения этого мнения вы не найдете ни у каких авторитетов. Нет его и в Библии. Конечно, будучи богатым, вы могли бы сделать много добра, но это весьма маловероятно. Немногие так поступают. Умение делать деньги не имеет ничего общего с умением совершать добрые дела, более того, обогащение отнюдь не готовит человека к тому, чтобы он мог творить добро. «Деньги не были бы мне лишними,—пишет Торо,—но сложность заключается в том, что я не стремлюсь расширить свои возможности, поэтому я не готов к тому, чтобы мне делали больше предложений». Люди тешат себя иллюзией о том, что, обладая они известным доходом, они смогут удовлетворять свои нужды и проявлять большую щедрость по отношению к окружающим. Но щедрым быть трудно в равной мере тем, кто живет на двести, и тем, кто живет на тридцать тысяч фунтов в год, за исключением, пожалуй, членов парламента.

Итак, вкусы Торо вполне определились. Он любил свободу, любил быть хозяином своего времени, любил давать поблажку скорее уму, чем телу, плотным обедам он предпочитал прогулки, расхожим соображениям—свои собственные мысли, а спокойную, ничем не стесненную жизнь среди лесов—нудной работе за конторкой банка. Таковы были его склонности, и он был исполнен решимости следовать им. Бедняк вынужден на чем-то экономить. Торо решил экономить на пище и жилье. «Когда обеспечиваешь себе самое необходимое для жизни,—пишет Торо,—совсем не обязательно стремиться к роскоши. Перед вами открывается другой путь: теперь, когда вы свободны от необходимости исполнять тяжелую работу, *вы можете сделать из жизни приключение*». Торо обеспечил себе жилище, кое-какую одежду и хлеб насущный—и все это за самую ничтожную сумму. Затем, освободившись от

«необходимости исполнять тяжелую работу», он посвятил свой досуг восточной философии, изучению природы и науке самосовершенствования.

Благоразумие, которое повелевает нам всем брать пример с муравьев и делать запасы на черный день, не было у Торо в чести. Он предпочитал ему веру, хотя вкладывал в это понятие содержание, отличное от общепринятого. Когда он обеспечил себе все необходимое для жизни, он предпочел не задумываться о возможных случайностях и не беспокоиться о грядущем дне. Он терпеть не мог людей, которые «осмеливаются жить только в расчете на помощь общества взаимного страхования, которое обязано достойно их похоронить». Сам он доверял людям, но не слишком. «Мы можем гораздо больше надеяться на помощь ближнего,— писал он.— Как многого мы не делаем! А что, если бы мы заболели?» Затем не без сарказма изобразил современное общество следующим образом: «Мы весь день на чеку, а вечером нехотя творим молитву и отдаем себя во власть неопределенности». Маловероятно, что слова Торо окажут какое-либо влияние на читающую публику, которая пренебрегает даже предписаниями своей религии. И все же, желая того или нет, мы пускаемся в такие же рискованные авантюры: мы ставим на карту все свое состояние, ручаясь за свое здоровье и порядочность наших ближних. Страшно подумать, сколько людей теряют при этом свои ставки.

В 1845 году, в возрасте двадцати восьми лет, когда самые энергичные молодые люди так или иначе подчиняются общепринятым нормам, Торо с капиталом чуть меньше пяти фунтов, одолжив топор, прошел лесом к Уолденскому пруду и начал свой эксперимент новой жизни. Он построил домик и вернул топор владельцу — «острее, чем брал его», как он заметил не без законной гордости. Он вспахал участок земли, на котором посадил бобы, горох, картофель и кукурузу. Он пек хлеб, обрабатывал землю, работал землемером в течение полутора летних месяцев, нанимался плотничать или исполнять другую работу, а умел он многое. Заработанных таким образом денег ему хватило на пять лет, причем большую часть лета и зиму он был совершенно свободен. Вы можете сказать, что, работая полтора месяца из пяти лет, обходясь нехитрой пищей, работая для разрядки на своем поле, человек «тунеядствует», даром получая и

кров и пропитание. Но следует отдать ему должное; в его случае это было не так, ибо «тунеядец» был постоянно занят. Он с полным правом мог сказать: «Люди мудрые и опытные считают, что ты не сумеешь сделать этого, а ты попробуй и увидишь, что это тебе под силу». А насколько удивительно его заключение: «Я убежден, что *прокормить себя на этой земле — не тяжкий труд, а приятное занятие*, если только жить просто и мудро. Вспомним, что *основные занятия неразвитых наций являются развлечением для наций цивилизованных*».

Когда ему надоела подобная жизнь, он отказался от нее с той же легкостью, с какой ее начинал. Есть люди, которые могли бы решиться на второе, но из ложного тщеславия не сделали бы первого. Таковы отшельники. Однако эксперимент Торо не был для него каким-то фетишем; он делал то, что ему хотелось. Пять лет — вполне достаточный срок для того, чтобы убедиться в успехе эксперимента трансценденталиста-янки. Замечательна даже не столько умеренность Торо в еде — у него это было врожденным. Людям, которые иначе устроены, это качество трудно перенять. Торо не открыл здесь чего-то нового: бедные университетские студенты всегда питались столь же скудно. Замечателен его здравый взгляд на мир, то, насколько глубоко он понял значение денег и как решил для себя вопрос о богатстве и о средствах к существованию. Оставляя в стороне его странности, скажем, что он постиг истину, универсальную по своему значению, и жил в полном соответствии с ней. В современной жизни деньги играют двойную роль. Некоторое их количество, в зависимости от величины наших потребностей и нашей способности контролировать эти потребности, является необходимым для каждого. Но, сверх того, деньги становятся товаром, который мы вольны покупать или нет, роскошью, которую мы можем себе либо позволить, либо отказаться от нее, подобно любым другим предметам роскоши. Есть много вещей, доставляющих нам наслаждение, которые мы можем на законном основании предпочесть деньгам, — чистую совесть, например, жизнь на природе, женщину, которая нам нравится. Это заключение может показаться тривиальным, плоским и самоочевидным, но достаточно посмотреть вокруг, чтобы убедиться, как редко люди в нашем обществе признают его истинность. Не исключено, что и мы сами, подумав, решим тратить немного меньше

усилий для добывания денег и немного больше воспользуемся прелестью свободы.

III

«Если ты сделал что-то только ради заработка, считай, что ты попусту потратил время» (то есть ничего не сделал, он имел в виду). В его письмах есть два места (оба, как ни странно, касаются дров), которые нужно поставить рядом, чтобы понять их правильно. В них заключена самая суть того, что представляет собой работа, которую мы делаем не ради заработка, а ради чего-то более высокого. Вот первое из них: «Сегодня вечером я сжег огромное дерево, а зачем? На днях я расплатился за него с м-ром Тарбеллом, но это был не окончательный расчет. Он-то взял с меня недорого. Когда-нибудь меня спросят: «А сколько дров вы сожгли?» Страшно подумать, что следующим вопросом будет такой: „А что вы делали, пока грелись перед огнем?“» Даже после того как мы расквитаемся с Адметом в лице м-ра Тарбелла, возникает, как видите, вторая проблема. Заработать на жизнь—это еще не все. Либо работа наша должна быть полезна обществу, либо должно обнаружиться какое-то другое следствие ее. Жить—довольно трудное дело, но сам факт существования на этой земле еще не делает вам чести. У нас должно быть оправдание перед собственной совестью за то, что мы продолжаем существовать в этом перенаселенном мире. Если бы Торо просто жил в своем домике на Уолдене, любовался деревьями, изучал повадки птиц и рыб, наслаждался чистым воздухом, собственной добродетелью и читал мудрые книги—этаким эгоистический бездельник, занятый лишь собственным совершенствованием,—ему удалось бы перехитрить Адмета. Но, если быть верным метафоре, в конце концов его душой завладел бы дьявол. Те, кто способен вообще обходиться без труда и жить в Аркадии благодаря «собственным средствам», и даже те, кто, отказываясь от излишеств, доводит количество необходимой работы до полутора месяцев в году и обеспечивает себе таким образом больше свободы, обязаны выполнять высокий моральный долг—служить обществу.

Второй отрывок таков: «Существует более глубокое и согревающее тепло, которого обычно не замечают. Оно

возникает до того, как вы растопите печь. Я имею в виду тепло, создаваемое работой,—настоящий фимиам. Заготавливая дрова, я так согрелся и душой и телом, что, когда работа была закончена, я чуть было не продал дрова мусорщику, поскольку уже извлек из них все тепло». Разумный труд сам по себе приятен и полезен, и, если он приносит вам удовольствие, можете считать, что, как говорил Торо, «вы не просто заработали деньги», но заработали средства на жизнь, радость, здоровье и моральное удовлетворение, все разом. В другом месте он замечает: «Мы должны на небольшой площади нашего бытия произвести огромный объем работы». И затем восклицает: «Как это удивительно устроено, что художник совершенствуется, посвящая себя искусству!» Мы можем уклониться от неприятной работы, но лишь в том случае, если делаем ту, которая нам нравится. Даже Аполлон осмелился бы уклониться от службы у Адмета лишь ради каких-то более высоких дел. Мы все должны трудиться ради самого труда, или, говоря словами Торо, «делать дело, которое нас захватывает целиком, неважно какое, лишь бы оно было честным». Самой плодотворной работой является та, которая соединяет в процессе ее совершения наибольшее количество душевных и физических сил человека, такая работа, которой он отдается со рвением и которую оставляет с сожалением, работа, которая приносит усталость от труда, а не от пресыщения, которая всегда будет новой, возбуждающей фантазию. Такая работа помогает человеку сохранить целостность, укрепляет его нервы; она не дает ему уснуть или сбиться с пути, обостряет его самосознание и в то же время поднимает над прозаическими заботами; она дает ему вознаграждение за труд и удовольствие от приятного занятия. Вот в чем должно заключаться искусство для подлинного художника, искусство, которого почти лишены другие, менее личные виды деятельности. Другие профессии стоят далеко в стороне от основного дела жизни. Искусство же находится в центре всего того, что делает и чувствует художник, оно имеет непосредственное отношение к его жизненному опыту, руководит им и в счастье и в несчастье, становится как бы частью его биографии. По словам Гёте,

То, что раньше звучало, вернется опять;
Радость с бедой в единой сливаются песне.

Для Торо искусством стала литература. Именно с ней были связаны его самые смелые помыслы. Он любил хорошие книги и верил в них. По его удачному выражению, «ни с какой публичной трибуны жизнь не видна в таком истинном, неприкрашенном свете, как через литературу». Но литературу он любил героическую. «Книги — не те, которые доставляют нам низменное удовольствие, но те, в которых каждая мысль смела, которые непонятны праздному и неинтересны робкому, которые делают нас опасными для существующих институтов,— такие книги называю я хорошими». Он не считал, что их легко читать. «Язык, на котором написаны героические книги, в наше время всеобщего упадка всегда будет языком мертвым, хотя книги эти и печатаются по-английски. Мы должны с большим трудом искать значение каждого слова, каждой строчки, а в таких понятиях, как мудрость, доблесть, великодушие, угадывать более глубокий смысл, чем принято в них вкладывать». Он не считал также, что эти книги легко писать. «Высокая проза, столь же возвышенная, как и высокая поэзия, вызывает у нас даже больше уважения,— пишет Торо,— поскольку она более надежно держит эту высоту, а ее жизнь гораздо больше одушевлена величием мысли. Если поэт чаще всего лишь совершает вылазку, подобно парфянам, и вновь отступает, отстреливаясь на ходу, то писатель-прозаик, напротив, воюет, как римлянин: он одержал множество побед и основал много колоний». Мы можем спросить себя почти со страхом, действительно ли такая проза есть или она существует лишь в нашем воображении? Обычно большая часть самых лучших книг представляет собой балласт, а те книги, в которых смелость мысли соединяется с изяществом стиля, можно сосчитать на пальцах. Я задумался, какая же книга на английском языке может удовлетворить требования Торо о том, чтобы стиль был под стать поэзии, а смысл — и оригинальным и героическим... Мне пришел в голову только один пример — мильтоновская «Ареопагитика». Никакой другой книги я пока не припомню. Ясно по крайней мере одно: если вы не желаете читать ничего банального, вам незачем обзаводиться большой библиотекой, а если вы хотите и писать в таком же духе, то обнаружите, что словно созданы для этого.

Торо, вероятно, сочинял во время прогулок. Во всяком случае, ходьба и сочинение были для него

взаимосвязаны. Так, он сообщает нам, что «чем больше он прошел, тем больше написал». В одном месте он называл «простоту и энергичность украшениями стиля». Это утверждение слишком парадоксально, чтобы быть абсолютно верным. В другом месте он замечает: «Что касается стиля — если, конечно, вам есть что сказать, — то он столь же естественно выходит из-под вашего пера, как вода вытекает из трубы». Мы можем вложить очень широкий смысл во фразу «если вам есть что сказать». Когда истина без кажущегося усилия выходит из-под пера, облаченная в соответствующую форму, это происходит именно потому, что работа была практически завершена ценой многих усилий еще до того, как вы сели за письменный стол. Фразы обретают совершенство выражения и ложатся на бумагу с той же легкостью, с какой падает на землю спелый плод, благодаря интенсивной работе мысли. И если Торо писал не задумываясь за письменным столом, это происходило именно потому, что он хорошо все обдумывал во время прогулки. Ясность, сжатость и красота слога приходят только после глубокого и длительного знакомства с предметом. Те, кому писательский труд дается легко, обычно, подобно Вальтеру Скотту, удовлетворяются меньшей степенью совершенства, чем та, которой они могли бы достигнуть. Говорят о чистых рукописях Шекспира. Но сам стиль поэта и тот факт, что существуют различные варианты «Гамлета», доказывают, что господа Хемминг и Конделл заблуждаются. Они просто незнакомы с такой простой вещью, как чистовой вариант... Тому, кто возобновляет трагедию с новым составом исполнителей, приходится тщательно продумывать все детали заранее. Сам Торо, несмотря на опровержения, служит примером поиска в одном направлении, доведенного до крайности. О том, что он стремился найти героический стиль, свидетельствуют не только отдельные блестящие пассажи, но умышленная парадоксальность стиля. «Вы, должно быть, понимаете, что я парадоксалист и всеми силами пытаюсь создать необычный эффект», — пишет он. И далее, как бы поясняя свою мысль: «Кто, услышав однажды музыкальную мелодию, не станет бояться говорить слишком цветисто?» В эссе о Карлейле он замечал по этому поводу совершенно недвусмысленно: «Никогда еще истина не была изложена с такой выразительностью, что казалось — лучше сказать невозможно». Итак, Торо любил иносказательность, не

обычность стиля не потому, что он увлекался литературой Востока, но потому, что считал: люди должны понимать и хорошо представлять себе, о чем он пишет. Он был прав в самом широком смысле, но что касается метода письма, здесь, мне кажется, он брел наугад. Литература не менее традиционное искусство, чем живопись или скульптура, но она не так впечатляет, как они, поскольку является искусством наиболее всеобъемлющим из всех трех. Слушая музыкальную мелодию, глядя на красивую женщину, реку, большой город или звездную ночь, испытываешь отчаяние из-за невозможности передать их красоту посредством языка. Для того чтобы достигнуть подобной выразительности, которая кажется невозможной из-за самой специфики литературы, писатель должен прибегать к отбору, что является по существу негативной эмфазой. Торо подошел к признанию права художника отбрасывать все то, что не соответствует его замыслу. Таким путем мы добываем чистое золото; подобным же образом хорошо написанная биография высокого духом человека благодаря самому методу отбора фактов производит на читателя гораздо большее впечатление. Но пойти дальше и, подобно Торо, прибегнуть к прямому преувеличению значило бы отойти от более сдержанной классической традиции и насторожить читателя. Когда вы представляете половину как целое, нельзя сказать, что вы выражаете свою мысль более энергично, вы лишь выражаете иную мысль, которая принадлежит не вам.

Настоящей темой Торо было самосовершенствование и суровая критика общественной жизни. Именно здесь лучше всего проявляется свежесть и удивительная резкость его ума. Именно здесь его стиль становится простым и энергичным и, по его собственному определению, «орнаментальным». Но такой стиль не был для него обязательным. Он, между прочим, прибегал к нему в книгах совершенно иного содержания. «Уолден, или Жизнь в лесу», «Неделя на Конкорде и Мерримак», «Мейнские леса» — вот какие заглавия ему нравятся. Его тонкое критическое чутье, возможно, подсказывало ему, что настоящей задачей литературы является повествование. В повествовании, и только в нем одном, литература выявляет все свои возможности и меньше всего проигрывает от своих несовершенств. Поскольку сухое морализаторство и абстрактные рассуждения требуют для воспри-

ятия отхода от конкретных фактов, они никогда не смогут произвести на читателя полного и совершенно верного впечатления. Истина, даже в литературе, должна быть облечена в плоть и кровь, иначе она ничего не скажет людям. Понятно отсюда воздействие анекдота на неразвитые умы, понятно и то, что хорошие биографии и создания вдохновенного искусства не только гораздо занимательней, но дают читателю гораздо больше, чем книги по теории или собрания правил. Сам Торо не мог придавать своим идеям художественный облик, его талант был иного свойства. Но он пытался достигнуть того же эффекта и воздействовать на читателя таким же образом, соединяя размышления с собственным опытом естественной жизни.

Как я уже отмечал, Торо любил природу. То свойство, которое в картине мы называем загадочностью и которое характеризует, в частности, внешний облик мира и его воздействие на наши чувства, Торо всегда пытался воспроизвести в своих книгах. Значение природных явлений, их неизменная новизна для наших чувств, волнующий отклик, который они рождают в душе человека, продолжали удивлять и вдохновлять его. Я думаю, ему казалось, что, если бы мы описывали факты более или менее точно и в то же время не в спокойной манере, а со страстью влюбленного, мы бы смогли запечатлеть на страницах книг величие предмета изображения. И если бы это произошло, между мыслями человека и явлениями природы могла бы возникнуть иная и очень поучительная связь. Эту цель он преследовал всю жизнь, подобно тому, как ребенок с сачком для бабочек охотится за крупной птицей. Он писал другу: «Вот что я предложу тебе: сформулируй для себя точно и полно, что тебе дала та прогулка в горы, возвращайся к этому описанию вновь и вновь, пока не увидишь, что основной смысл твоего опыта запечатлен в нем, и не испытаешь удовлетворения. Не думай, что тебе удастся сделать это хорошо с первого же раза или хотя бы с десятого, но не отступай. Когда после долгого перерыва тебе покажется, что ты схватил самую суть, удвой свои старания и объясни самому себе, что значит для тебя эта гора. Совсем не обязательно, чтобы очерк был длинным, но для того, чтобы сделать его коротким, тебе придется потрудиться». Таков его метод, не совсем обычный для человека, который считал, что фразы должны «ложиться на бумагу так же легко,

как вода вытекает из трубы». Лучшим, что Торо удалось сделать в этом плане, были, мне кажется, описания рыб в «Неделе». Они поражают яркостью и правдивостью изображения и счастливым соответствием художественной формы, которую ему редко удавалось превзойти.

Что бы Торо ни описывал, он делал это с помощью честной и добротной прозы, состоящей из крепко сбитых предложений, при этом он не прибегал к помощи не свойственного прозе ритма. Кроме того, в его работе заметен переход — не скажу, чтобы к лучшему, — ко все более прозаическому стилю, пока он в конце концов не погрузился полностью в стихию прозаического. Эмерсон пишет, что он однажды сказал Торо: «Кто не хотел бы написать произведение, которое могли бы читать все, что-нибудь вроде «Робинзона Крузо»? И кто не испытывает сожаления от того, что в его книге мало ярких «материалистических» описаний, которые так нравятся всем?» Замечу мимоходом, что в «Робинзоне» нас восхищают не «материалистические» описания, но романтический и философский смысл книги. Подобные описания производят прямо противоположный эффект, когда в «Полковнике Джеке» мы читаем об управлении плантацией. Подозреваю, что на Торо повлияло это высказывание Эмерсона или сходное с ним по смыслу. Отличительной чертой его стиля становились все более и более детальные «материалистические» описания. Он брался за дело с упорством составителя путеводителей: тщательно записывал в дневник не только все важное в своей жизни, но все то, что могло быть важным в жизни других; не только то, что оказывало хоть какое-то влияние на него, но все, что он слышал и видел. Его страсть поубавилась, может быть, потому, что описывать эмоции, которые владели им, было несовместимо с «материалистическим» подходом. И как бы завершая долгую эволюцию, он из моральных соображений предпочел очистить последние свои работы от спасительного юмора. Он не был одним из тех авторов, которые научились, по его словам, «избавляться от собственной скуки». Он обрушивает ее на читателя полной мерой в таких книгах, как «Мыс Код» или «Янки в Канаде». Он говорил о последней, что ему не удалось выразить в ней себя. Бог свидетель, это так. Можно думать, что ему не удалось отразить в ней и Канаду. «Ничто не может

вывести из себя мужественного человека, кроме скуки», — записал он однажды. Поистине, немногие книги представляют собой чтение более скучное, чем «Янки в Канаде».

Только три его книги всегда будут доставлять радость читателям: «Неделя», «Уолден» и собрание писем. Что касается его поэзии, то ее сущность выражена в точных и образных словах Эмерсона: «Тимьян и майоран — еще не мед». В поэзии, как и в прозе, он в большой степени полагался на доброжелательность читателя и писал во всех отношениях честно. Нужно было очень верить в читателя, чтобы надеяться, что смысл его лучших произведений поймут многие, а скучнейшие описания в его худших произведениях взволнуют хоть кого-нибудь. «Но боги, — говорил он, — не слышат грубых или диссонирующих звуков, о чем свидетельствует эхо. Я знаю, что природа, которой я посылаю эти звуки, настолько богата, что она чудесным образом исправит и воссоздаст заново мою самую неумелую мелодию».

IV

«Что означает тот факт, — восклицает Торо, — что душа, которая потеряла всякую веру в себя, может вызвать в другой душе бесконечное доверие, даже если она исполнена отчаяния?» Этот вопрос — иллюстрация только что приведенных слов. Он является ключом к его пониманию дружбы. Больше никто, насколько я знаю, не говорил так возвышенно и правдиво о дружеских отношениях. Я не думаю, что ценность этого урока уменьшится, если он преподан нам человеком, который во многих отношениях не слишком годится для роли наставника в этой области. Холодный эгоизм в его отношениях с людьми помог ему яснее увидеть интеллектуальную основу той взаимной терпимости и теплоты, которую мы называем дружбой. Признание ее важности обретает особую силу, если оно исходит от человека неуживчивого и замкнутого, о котором его друг заметил столь же остроумно, сколь и верно: «Я люблю Генри, но не могу сказать, чтобы он мне нравился».

Он научился дышать таким разреженным и бодрящим воздухом на горных вершинах размышлений, что его

нельзя было убедить в том, что есть разница между любовью и дружбой. Он, конечно, был слишком глубоким наблюдателем, чтобы не заметить, что «в отношениях между мужчинами и женщинами существует естественная свобода и широта взглядов». В то же время он считал, что «для дружбы пол не имеет значения». Возможно, в каком-то отношении его слова и верны, но они были сказаны в неведении. Мы, возможно, будем гораздо ближе к истине, если назовем любовь фундаментом для более глубокой и свободной дружбы, чем та, которая не зиждется на любви. В отношениях между двумя людьми существуют и всегда существовали чувства, которые переходят в конце концов в любовь.

Чтобы дружба была настоящей, считает Торо, у обоих должны быть сходные характеры и положение. «Мы не те, кто мы есть,—пишет он,—и уважаем друг друга не за то, что мы есть, но за то, чем можем быть». «Друг—это человек, который делает нам честь, ожидая от нас проявления всех добродетелей, человек, способный оценить их». «Друг ничего не требует от нас, кроме того, чтобы мы приняли, бережно хранили и не предали его благоговения перед нами». «Достоинство дружбы, делающее ее прочной, состоит в том, что она существует на более высоком уровне, чем участники дружеского союза дают основания предполагать». Иначе говоря, Торо возносит дружбу на пьедестал. В этих высказываниях заключена суть дружбы, а последнее предложение, в частности, подобно лучу света в темноте, проясняет многие тайны. Мы бываем разными с разными друзьями. Но если приглядеться получше, можно увидеть, что каждая такая связь покоится на некоем обожествлении человека. С каждым другом мы должны поддерживать по крайней мере одно определенное представление о себе, хоть мы не смогли бы выразить в словах, какое именно. Так, когда нам плохо, мы идем к другу или женщине, которую любим, не с тем, чтобы услышать, что мы лучше, чем о нас думают, но чтобы быть лучше на самом деле. Мы ищем этого общества, чтобы поздравить себя с собственным хорошим поведением. Поэтому любая фальшь в отношениях, любое недопонимание или неверно понятые слова могут испортить всякую радость от таких визитов. Торо говорит: «Только люди любящие знают цену истины». И еще: «Они требуют слов и дел, когда подлинные отношения выражаются в словах и

делах».

Но поскольку все мы хуже, чем о нас думают друзья, и все мы честно играем роль, которая выше наших возможностей, такие отношения перестают удовлетворять обе стороны. «Мы скорее уйдем, чем упрекнем друга,— пишет Торо,— ибо наше недовольство слишком обоснованно, чтобы его можно было высказать вслух». «Мы не имеем права ненавидеть никого так, как друга».

Ослабить ненависти
Очищающий огонь—
Значит предать любовь
И на душу взять грех.

Любовь не слепа, она не прощает. «Ах, поверь мне,— поется в песне,— у Любви есть глаза». Чем теснее наши отношения, тем острее мы чувствуем недостатки тех, кого любим. Именно потому что мы любим друга и готовы завтра умереть за него, мы не прощаем и никогда не простим ему его пороков. Если хотите узнать о недостатках человека, обратитесь к его друзьям. Они не скажут, но они знают. В том-то и заключается великодушие и мужество любви, что она выносит это знание и не меняется.

Нужен был такой хладнокровный и сдержанный человек, как Торо, чтобы признать и высказать эту истину. Любовь менее рассудочная считает долгом скрыть те недостатки, которые ей лучше всего видны. Но он лишен сентиментальности и смотрит на любовь с высоты. У него нет иллюзий. Он в равной мере искренен и в любви и в ненависти и относится к ним бережно, как к драгоценным камням. Редко встречается такой художник, который, если можно так выразиться, не стремится прикрыть лысину на портрете жизни. Он эгоист, он не помнит или не считает нужным сказать о том, что в наших отношениях с друзьями мы разочаровываемся в самих себе в девяносто девять раз чаще, чем в друге, что именно мы больше всего оказываемся недостойными той любви, которая связывает нас, что поступки друга являются для нас упреком и в то же время вдохновляют нас на новые дела. Торо—человек сухой, ограниченный и эгоистичный. В дружбе он ищет выгоды, моральной выгоды, конечно, но все же выгоды для себя. Если вы—тот тип человека, которого я хотел бы иметь своим другом,

наивно замечает он, «мое образование не позволяет мне пренебречь вашим обществом». Его образование! Как будто друг—словарь! И при этом ни единого слова о радостях, смехе, поцелуях, о чем-либо, напоминающем нам о плоти и крови. Поистине, нет ничего странного в том, что он так хорошо понимал рыб. Можно понять слова его друга, которого мы уже цитировали: «Когда я беру его за руку, мне кажется, что яжимаю руку вязу».

По сути дела, он не находил удовлетворения в дружбе. Он признавался, будто бы ему не раз казалось, что он нашел наконец свой идеал, но всякий раз что-то нарушало почти установившиеся отношения. А на что еще он мог рассчитывать, если, по удачному выражению Карлейля, «не хотел притереться» к другу? Так будет всегда, если вы к своим друзьям заходите лишь мимоходом, как если бы вы шли посмотреть на игру в крикет, да и то не для получения удовольствия, а для самообразования или для того только, чтобы делать ставки. Он считал, что мы встречаемся слишком часто, не успев обрести друг для друга новизны, когда нам еще нечего сказать. Но ведь дружба—нечто большее, чем «общество взаимного совершенствования». Такой она должна быть, но это вовсе не основная ее цель, она не должна даже четко осознаваться. Если бы Торо был больше похож на человека, чем на вяз, он бы почувствовал, что видит своих друзей слишком редко; он бы получил от простых и длительных общений с ними ту радость, о которой в его философии нет ни слова... Можно было бы напомнить ему его же собственные слова о любви: «Мы не должны сдерживаться, но отдаваться ей целиком. Однако у людей обычно не хватает воображения, чтобы относиться к человеку так, как они относятся к работе. Другое дело, если надо смастерить бочонок». Да, или читать восточных философов! Нашим отношениям мешает не то, чем мы занимаемся, но то, что мы позволяем этим занятиям отвлекать нас от друзей. Ничто не дается даром в этом мире. Настоящей любви не бывает без преданности. Преданность—это практика любви, которой она живет. Если вы будете щедрее, если уплатите за любовь достаточным «количеством того, что называется жизнью», тогда, безусловно, ваши отношения—с женой или другом—будут легкими, естественными, приятными и в то же время способствующими вашему совершенствованию

настолько, что время — месяцы и годы — покажется мгновением, а доброта — наслаждением.

Секрет его одиночества заключается не в мизантропии, которой он не грешил, но отчасти в его всепоглощающей страсти к самосовершенствованию, а отчасти в реальном несовершенстве общественных отношений. Нельзя сказать, чтобы он плохо относился к своим братьям, но он не выносил самих форм общественной жизни. Он мог полюбить человека за какие-то реальные достоинства, как явствует из его замечательного описания канадского лесоруба в «Уолдене». Но он не соглашался «брести по трясине глупости и общественных предрассудков». В его глазах общество было, мне кажется, прямой противоположностью дружбе, поскольку общение в нем происходит на более низком уровне, чем его участники дают нам основание предполагать. Светский разговор даже с самым блестящим человеком обычно дает неизменно меньше, чем разговор с ним, как выражаются французы, в «комитете из двух». А Торо хотел сердечности, ему было недостаточно поверхностного общения даже вдвоем. Он не мог ворваться в гостиную и — говоря на матросском жаргоне — «отрезать от берега» кого-то, бросившего якорь в этом унылом порту. Даже мысли об этом у него не возникало. Думаю, он любил книги и природу столь же сильно и почти столь же глубоко, как он любил людей — со всеми их слабостями и недостатками.

«Что касается спора о достоинствах одиночества и общества, — заключает он, — любые сравнения здесь неуместны. Спорить об этом — все равно что прохладиться на лужайке у подножия горы вместо того, чтобы упорно взбираться на ее вершину. Вы, разумеется, будете рады любой компании, чтобы совершить восхождение вместе, разве не так? Как поется в песне, согласны ли вы вместе со мной пойти на смерть? Дело не в том, что мы предпочитаем одиночество, а в том, что стремимся ввысь. При этом, чем выше мы поднимаемся, тем быстрее редет наша компания, пока рядом не останется никого. Так что мы стоим перед выбором: либо речи с трибуны на равнине, либо Проповедь с горы, либо одинокое блаженство высоко над мирской суетой. Наслаждайтесь обществом всех тех, кто последует за вами».

Нет ничего необычного или чрезмерного в утверждении, что давать — лучше, чем брать, а служить — лучше, чем пользоваться услугами наших друзей, но главное,

если нет речи о служении ни с той, ни с другой стороны,— что мы, подобно естественному человеку, получаем удовольствие от общения с ними. Странно и в каких-то отношениях даже огорчительно, что писателя всегда легче всего оспорить, обратившись к его же собственным произведениям. Приведем в заключение слова Торо, как будто адресованные ему самому: «Не будьте слишком нравственны, иначе вы лишите себя многих жизненных благ... *Во всякой басне есть мораль, но людям невинным нравится сама фабула*».

V

«Единственная обязанность, которую я имею право брать на себя, заключается в том, чтобы в каждый данный момент делать то, что я считаю справедливым». «Зачем ехать за границу или даже идти на соседнюю улицу, чтобы получить совет у соседа?» «У нас есть самый ближайший сосед, который живет в нашей душе и все время говорит нам, как нужно поступать. *Но мы ждем, пока наш сосед по улице даст нам неверный, но более простой совет*. Большую часть из того, что мои соседи называют добром, я в душе своей считаю злом». Быть самим собой, стать тем, чем ты способен стать,— вот единственная цель жизни. Только тогда, когда мы «не выполняем своего предназначения», дело для нас «становится долгом, за невыполнение которого нас осуждают». «Я люблю дикую природу не меньше, чем добро»,— пишет Торо. И далее: «Жизнь добродетельного человека сделает мир не намного лучше, чем жизнь разбойника, ибо вечные законы проявляются так же неизбежно и в нарушении и в соблюдении их, *а наши жизни— обратите внимание на эти слова— поддерживает почти равный расход какой-то одной добродетели*». Если Торо и был человеком ограниченным, все же следует признать, что он умел формулировать необычные доктрины. «Что касается делания добра,— пишет он,— то это одна из профессий, желающих заниматься которой хоть отбавляй. Я тоже отдал ей дань, но как это ни странно, она не пришлась мне по вкусу, чему я очень рад. Возможно, мне не следует добросовестно и упорно пренебрегать своим истинным призванием ради того, чтобы делать добрые дела, которых ждет от меня

общество и которые спасут мир от уничтожения. Я верю, что подобная, но неизмеримо большая твердость, проявленная в чем-то другом, есть именно то, что сейчас сохраняет мир. Если вам когда-нибудь случится заниматься подобной филантропией, пусть ваша левая рука не знает, что делает правая, ибо и знать этого не стоит». В другом месте Торо возвращается к этой теме и поясняет свою мысль следующим образом: «Если я когда-либо и *сделал* кому-либо добро в том смысле, который люди вкладывают в это понятие, это было нечто необычное, но незначительное по сравнению с тем добром или злом, которое я постоянно творю, оставаясь самим собой».

В этой неколебимой вере в себя, в равнодушии к чаяниям, думам и страданиям других есть какое-то грубое благородство, нечто варварское и в то же время царственное. Нигде в его работах я не нахожу и следа сострадания. Отчасти это следствие его теории, в соответствии с которой мир слишком таинствен, чтобы критиковать его. Он с полной убежденностью вопрошает: «Какое право я имею печалиться, если я не перестаю удивляться?» Но это его качество явилось в гораздо большей степени результатом равнодушия и чувства превосходства, заложенных в его характере. Он вырос здоровым, уравновешенным и нечувствительным к ужасам жизни, подобно тому как на поле битвы вырастает зеленый лавр. Именно благодаря этим качествам он не смог по справедливости оценить учение Христа. Хотя он понимал отдельные заповеди лучше, чем христиане, в жизни он все же стремился к совершенно иным целям. Действительность вызывала в нем столь противоположные чувства, что смысл христианской доктрины в целом, видимо, либо ускользнул от него, либо оставил его равнодушным. Он был способен понять идеализм христианства, но сам был лишен столь многих свойственных человеку качеств, что не признавал гуманистическую сущность этого учения. Он говорил, что Христос не дал нам правила, которое годилось бы для этого мира, ибо не понял сути заповедей Христа. Те идеи, которые кажутся нам неприемлемыми, как бы вовсе и не существуют для ума. Лучше понять этот недостаток Торо нам, возможно, помогут достоинства Уитмена, который, я уверен, является учеником Торо. То, что Торо произносил шепотом, Уитмен провозглашал во весь голос. Это та же доктрина,

но как различны ее воплощения! Тот же аргумент, но он приводит к совершенно иному выводу! Торо обладал большим запасом юмора до того, как отучил себя от него, отказавшись, таким образом, от лучшего качества, которое человек разумный получает по праву рождения. Уитмен появился на свет, не обремененный юмором и не стыдящийся этого. И все же сухой, абстрактной, ограниченной оказалась именно теория Торо. Из двух философий, столь схожих по существу, одна преследует Самосовершенствование (и чем-то похожа на злую собаку), вторая — философия человека, обладающего прекрасным здоровьем, который рано встает по утрам и отправляется на поиски нимфы Счастье, пышногрудой, веселой, жизнерадостной. Счастье, по крайней мере, не одиноко. Оно испытывает радость от общения, любит других, поскольку его существование зависит от них. Оно утверждает радости жизни, в которых нет ничего предосудительного, и поощряет стремление к ним. Счастливый человек, доживи он хоть до тысячи лет, никогда не станет выбрасывать из текста предложения, окрашенные юмором. Тот, кто стремится к самосовершенствованию, постепенно превращается в педанта; если он к тому же не отличается хорошим здоровьем, то может стать уродом, подобным Оберману. А человек счастливый исполнен добродушия, и самый вид его помогает нам жить.

Та страсть к теоретизированию, какая была свойственна Торо, требует какого-то выхода в сфере действия. После всех его деклараций независимости построить домик на берегу Уолдена — не слишком ли этого мало? Он написал несколько книг, но это еще не является воплощением его доктрин на практике, ибо то же самое делали и в пригородных виллах. Он был счастлив — для него этого, может быть, и достаточно, но читатели не удовлетворены.

Мы, возможно, несправедливы к нему, но когда человек презирает и торговлю и филантропию, а его взгляды на добро настолько возвышенны, что он должен покинуть общество, чтобы культивировать их в одиночестве, — только какой-нибудь необычный шаг примирит нас с ним. Торо не принял мученическую смерть, но в том не его вина. Если бы представилась такая возможность, он бы повел себя героически. Однажды он таки пытался повлиять на ход истории. Он стал действующим

лицом драмы, и его необычное поведение было странным образом характерно для этого эксцентричного и благородного человека.

Радикальные взгляды на необходимость отмены рабства вынудили его выступить против этого института. «Проголосовать за правое дело,— говорил он,— не значит еще сделать что-либо для него. Это значит лишь робко высказать свое желание, чтобы оно победило». Что касается его самого, то он ни на миг «не признал бы своим правительством ту политическую организацию, которая является также правительством *рабов*». «Я без колебаний заявляю,— продолжает он,— что те люди, которые называют себя аболиционистами, должны немедленно отказать в моральной и материальной поддержке правительству Массачусетса». Именно так он и сделал. В 1843 году он перестал платить подушный налог, но продолжал платить налог на ремонт дорог, поскольку, по его словам, хотел быть хорошим соседом, хотя и плохим подданным. Он больше не платил подушного налога правительству Массачусетса. С тех пор Торо отделился от государства, образовав свое собственное. Как он удачно выразился, «по сути дела, я объявил тихую войну государству на свой собственный манер. Правда, я буду брать от него все что можно, но это только естественно в таких случаях». Его посадили в тюрьму, но он был готов к этому. «При правительстве, которое несправедливо заключает своих граждан в тюрьму, самое подходящее место для справедливого человека— тюрьма. Я хорошо знаю, что если бы тысяча, или сто, или десять человек, которых я мог бы назвать,—или даже *один ЧЕСТНЫЙ* человек в штате Массачусетс— *отказались владеть рабами*, вышли бы из этого сообщества и были бы за это посажены в тюрьму, это означало бы уничтожение рабства в Америке. Неважно, если начало скромное: что однажды сделано хорошо, то сделано навечно». Такова была его теория гражданского неповиновения.

А что из этого получилось? Неизвестный доброжелатель заплатил за него налог и продолжал платить его год за годом, так что Торо мог бродить по лесу без помех. Он потерпел *неудачу*, но она мне не кажется таковой. Его необычный пример гражданского мужества при виде чудовищной несправедливости невольно производил впечатление даже на тех, кто смеялся над ним в те дни. Можно считать, что результаты его заключения в тюрьме

в течение одной ночи перевесили полсотни голосов на следующих выборах. Если бы Торо обладал той же силой убеждения, как, скажем, Фальстаф, если бы он мог рассчитывать на группу единомышленников, как бы мала она ни была, если бы его примеру последовали сто или тридцать человек, я верю, это значительно приблизило бы царство свободы и справедливости. Мы относимся к преступлениям, чинимым нашим правительством, довольно спокойно, так как не являемся свидетелями тех страданий, которые они причиняют. Когда же мы видим, что они вызывают ужас в наших соотечественниках, видим, что наш сосед предпочитает сесть в тюрьму, чем быть пассивным соучастником этих преступлений, тогда даже самые бесчувственные из нас начинают осознавать их чудовищность.

Почти двадцать лет тому назад, когда капитан Джон Браун был схвачен в Харперс-Ферри, Торо первым выступил в его защиту. Аболиционисты говорили ему, что действия его преждевременны. «Я не спрашиваю вашего совета,—заявил он,—я посылаю сказать вам, что собираюсь выступить с речью». Я употребил слово «защита», но Торо, по сути дела, говорил не с тем, чтобы защитить его; он даже заявил, что для блага дела было бы лучше, если бы Браун умер. Но он одобрил его восстание в таких словах, которые, мне кажется, Браун был бы рад услышать.

Так этот удивительный человек, в котором эксцентричность и независимый ум сочетались с характером сильным, цельным и чистым, шел по своему собственному пути усовершенствования в течение почти полувека. Гимнософист и лесной отшельник, он дважды вошел в политическую историю своей страны, хотя и не в роли главной фигуры¹.

1882

¹ Многие факты в этом эссе, среди них эпизод с белкой, взяты из книги «Торо: его жизнь и цели» Дж. А. Пейджа (псевдоним д-ра Джеппа).— *Прим. авт.*

НЕПРИКРАШЕННЫЕ ЗАРИСОВКИ ЛЮДЕЙ И КНИГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очерк о Торо являет собой яркий пример того, что избранный «угол зрения» неизбежно искажает изображаемый предмет, а также того, как честное суждение может основываться на неверных фактах. Торо, с его моральной чистотой, ограниченностью, аскетизмом, солнечным видением мира, произвел на меня сильное впечатление. Даже в тех немногих строках, которые я написал сразу после знакомства с его произведениями, внимательный критик обнаружил бы его влияние. И все-таки я относился к нему именно как к писателю. Я основывался только на написанном им и когда узнал некоторые факты его жизни, то воспринял их в свете его высказываний и подогнал под свое представление о нем. Подобное искажение было оправдано особенностями жанра очерка, который я избрал, и моим собственным *parti-pris*; но все же это было искажением. Мое эссе о Торо вызвало такой гнев д-ра Джеппа (Дж. А. Пейджа), искреннего последователя и ученика Торо, что, если бы мы оба обладали меньшим чувством справедливости и меньшей сдержанностью, то могли бы стать врагами, а не друзьями, как это случилось. Ему, который близко знал Торо, многие мои утверждения показались умышленно несправедливыми и парадоксальными. Но когда мы заговорили о них и он понял, что я воспринимал Торо по его книгам, в то время как он читал его книги глазами человека, хорошо знавшего их автора,—я думаю, он увидел причину моих заблуждений.

Д-р Джепп сообщил мне две очень важные вещи, которые совершенно перевернули мое представление о Торо. Во-первых, Торо удалился на берег Уолдена не просто для практики самосовершенствования, но для того, чтобы послужить обществу в высшем смысле этого слова. Здесь у него находили приют беглые рабы, отсюда они отправлялись дальше на север, продолжая путь по дороге свободы. Домик в лесу был станцией «подземной железной дороги», а его хозяин, философ-отшельник и мастер на все руки, неумоимо служил душой и телом благородному делу, которое — если возможно — искупление

грехов для целой нации — должно было бы завоевать себе гораздо больше приверженцев, чтобы искупить грех рабства. Но в ходе истории грех не всегда получает заслуженное наказание; поколение уходит, а несправедливость остается, обрекая на страдания невинных. Никакой «подземной железной дорогой» невозможно смыть грех рабства, так же как никакими парламентскими актами невозможно искупить то зло, которое Англия причинила Ирландии. Но, по крайней мере, этот факт помогает увидеть уолденский эксперимент в новом свете.

Во-вторых — и это очень существенно, — Торо, по видимому, глубоко любил однажды, но отказался от любимой женщины ради брата, проявив в этом почти ангельское великодушие. Его брат вскоре умер, и мы не знаем, что думала обо всем этом возлюбленная Торо. Как бы там ни было, эпизод этот объясняет, почему он научился дышать, как я выразился, «разреженным и бодрящим воздухом». Составив себе представление о человеке по его книгам, я искренне поверил всем его заявлениям. Но он обманул меня, как обманывал и самого себя, пытаясь с помощью философии смягчить горечь утраты. В свете этого нового факта те страницы, которые казались мне холодными, теперь кажутся исполненными чувства и жизни. То, что представлялось равнодушием философа, теперь оказывается трогательной попыткой писателя обмануть свое сердце, а возвышенная теория дружбы, которая казалась лишенной человеческого тепла, была для него средством утолить боль. Однажды самый сдержанный из ныне здравствующих критиков отметил абзац в моей книге и написал рядом: «Это кажется мне невозможным». И он был прав. В моих словах была определенная бравада. Они помогали мне не падать духом, и, часто повторяя их, я в конце концов поверил в них и представил их жизненным правилом. То же самое можно сказать и о наиболее холодных аспектах философии Торо. Он притворялся аскетом, но старая любовная рана продолжала кровоточить, в то время как он обманывал себя различными доводами. Короче говоря, следует различать Торо-теоретика и Торо-человека. Что касается теории, то в этом очерке читатель найдет довольно точное изложение ее и, как мне кажется, достаточно справедливую критику. Что же касается Торо-человека, то здесь присутствует лишь его искаженная тень. Как выражаются фотографии, «хорошо получились» лишь те

черты его, которые в точности соответствуют его доктринам. Но в очерке, как и в той книге о Торо, которой я пользовался, не получила отражение большая часть его натуры, которая не уместилась в рамки его философии и для которой он не нашел, а может быть, и не искал выражения. Подлинный Торо — в некоторых отношениях менее серьезный писатель и во всех отношениях благородный человек — еще ждет своего исследователя.

КРАСОТА В ДОМЕ

В моей прошлой лекции я дал вам понятие об истории английского искусства. Я попытался проследить влияние Французской революции на его развитие. Я коснулся того, чем были песни Китса и школа прерафаэлитов, но я не считаю, что движение, которое я называю английским Ренессансом, нуждается в палладиуме, пусть самом благородном, или в том, чтобы укрываться за именем, пусть самым почитаемым. Корни его следует искать в минувших днях, а вовсе не в воображении трех-четырех молодых людей, как полагают некоторые, хотя, пожалуй, трудно отыскать что-либо лучше воображения трех-четырех молодых людей.

Когда я в прошлый раз беседовал с вами, я еще почти не видел образчиков американского искусства, за исключением дорических колонн и венчающих печные трубы псевдокоринфских капителей, которыми украшены ваш Бродвей и Пятая авеню. С тех пор я поездил по вашей стране, побывал по меньшей мере в пятидесяти-шестидесяти городах и нахожу, что ваш народ нуждается не столько в высоком искусстве, сколько в том, которое преобразует предметы домашнего обихода в священные сосуды. Поэт будет петь, а художник писать картины, хулит ли его свет или восхваляет. Он обитает в собственном мире и не зависит от других людей. Но мастер-ремесленник подчинен вашему вкусу и вашему мнению. Он нуждается в том, чтобы его поощряли и чтобы вокруг него была красота. Ваш народ любит искусство, но недостаточно чтит мастера-ремесленника. Бесспорно, тем миллионерам, которые для удовлетворения потребности в прекрасном могут грабить Европу, ни к чему поддерживать подобных мастеров в собственной стране. Но я обращаюсь к тем, чья любовь к красивым вещам превос-

ходит их денежные средства. Главная беда, которую я наблюдал повсюду, заключается в том, что ваши ремесленники не ищут благородного изящества. Вас это не может оставить равнодушными, ибо Искусство—не игрушка и не прихоть, но непереносимое условие человеческой жизни.

В чем же смысл декоративности, сопричастной искусству? Для создателя красивой вещи она знаменует, во-первых, определенную ценность, а во-вторых, ту радость, которую он не мог не испытывать, сотворяя нечто прекрасное. Признак истинного искусства заключается вовсе не в безупречности или изящности отделки—на это способна и машина,—но в том, что вещь создана умом и сердцем подлинного мастера. Я вновь и вновь повторяю, что всякому изделию должна быть присуща красота в соответствии с его назначением. Пока мне не довелось побывать в некоторых ваших захолустных городах, я не представлял себе, что безвкусица может изготавливаться в таких количествах. Повсюду я видел скверные обои с ужасным рисунком, и набивные ковры, и это давнее оскорбление для глаз—волосяной диван, тупая безликость которого всегда производит удручающее впечатление. Я видел нелепые люстры, машинного изготовления мебель, как правило палисандровую, которая уныло скрипела под весом вездесущего интервьюера, и эти чугунные печки с обязательными завитушками машинной работы и тоскливо-скучные, как дождливый день или еще что-нибудь не менее привычное и уродливое. Там же, где размах был особенно широк, печь венчали две погребальные урны.

Всегда следует помнить, что вещь, тщательно сработанную добросовестным ремесленником в соответствии с ее назначением, прошедшие годы делают только красивее и ценнее. Старинная мебель, которую мне довелось увидеть в Новой Англии, так же удобна и красива, как и двести лет назад, когда ее привезли туда первые поселенцы. Итак, вам следует породнить ремесленника с художником. Ремесленники не могут существовать и, уж во всяком случае, не могут процветать без такого сотрудничества. Разрушите этот союз, и вы лишите искусство его духовного содержания.

Но при этом сделайте так, чтобы ремесленник был постоянно окружен прекрасным. Воображение художника не зависит от видимого и осязаемого. Вдохновение он

черпает в собственных видениях и грезах. Ремесленник же должен видеть изящество и красоту и утром, уходя на работу, и вечером, возвращаясь домой. И кстати, уверяю вас, что благородство и красота формы никогда не порождаются праздной фантазией и беспредметными грезами. Такая форма—следствие долгих и благоговейных наблюдений. Научить этому невозможно. Найти же нужное выражение для нее способны лишь те, кто привык к изяществу убранства, к гармоничным сочетаниям цветов.

Пожалуй, особенно трудно создать достойную и радующую глаз одежду для мужчин. Как должны одеваться мужчины? Сами они утверждают, что их не интересует, как они одеты, и что это ни малейшего значения не имеет. Я решительно не могу согласиться с этим. Путешествуя по вашей стране, я почти не видел хорошо одетых мужчин, за исключением — и я заранее пожимаю плечами, представляя томное негодование ваших денди с Пятой авеню — золотоискателей на вашем Западе. Их широкополые шляпы, укрывающие лицо от солнца и защищающие от дождя, и плащи, которые остаются прекраснейшей одеждой всех времен, заслуживают искреннего восхищения. Их сапоги также удобны и практичны. Они носят только то, что удобно и поэтому красиво. Глядя на них, я с невольным сожалением думал о том времени, когда эти живописно одетые золотоискатели станут богатыми и уедут на Восток, чтобы вновь надеть на себя все уродливые изобретения нынешней ужасной моды. Эта мысль меня так огорчала, что я даже взял у некоторых из них обещание носить этот чудесный костюм и когда они окажутся среди толп вашего цивилизованного Востока. Но я не верю, что они сдержат обещание.

Сегодня Америке требуется школа прикладного искусства. Плохое искусство гораздо хуже, чем полное его отсутствие. Вы должны показать своим ремесленникам образцы хорошей работы, чтобы они научились понимать простое, истинное и прекрасное. Для этого вам следует устроить при таких школах музеев — не очередное ужасное учреждение, где выставлено пропыленное чучело жирафа и две-три витрины с окаменелостями, но место, где были бы собраны образцы декоративного искусства разных времен и народов.[...]

У вас слишком много белых стен. Необходимы краски. Вам нужны художники, подобные Уистлеру, которые

открыли бы вам красоту и радость цвета. Возьмите его «Симфонию в белом» — вам она, вероятно, представляется чем-то причудливым и странным. А ведь это совсем не так. Вообразите тихое серое небо с пятнами белых облаков, серый океан и три удивительно красивые фигуры в белом, склоненные над водой и роняющие белые цветы. Тут не надо ломать голову над сложным интеллектуальным замыслом, тут нет метафизики, которой в искусстве уже более чем достаточно. Но если простой и чистый цвет пробудит верный отклик, идея картины станет совершенно ясной. Я убежден, что по колориту и декоративности знаменитая «Павлиновая комната» мистера Уистлера превосходит все, что видел мир с тех пор, как в Италии Корреджо расписал тот чудесный зал, где по стенам танцуют маленькие дети. Незадолго до моего отъезда мистер Уистлер закончил еще одну комнату — утреннюю столовую в желто-голубых тонах. Светло-голубой потолок, панели и мебель желтого дерева, гардины на окнах белые с желтым узором — и когда перед завтраком на столе расставляют изящный голубой сервиз из тонкого фарфора, трудно вообразить что-либо одновременно и столь простое, и столь прелестное.

В большинстве ваших комнат я замечал один общий недостаток — отсутствие четкого цветового мотива. Предметы не сливаются в единый цветовой аккорд, как того требует вкус. Комнаты загромождены хорошенькими изделиями, но они никак не соответствуют друг другу. Ваши художники должны облагородить вещи, пока просто полезные. Я не замечал, чтобы в ваших художественных школах думали о том, как сделать, например, красивее сосуды для воды. Я не знаю ничего безобразнее нынешних кувшинов. А ведь разнообразными сосудами для воды, употребляемыми в жарких странах, можно было бы заполнить целый музей! Мы же вынуждены довольствоваться одним-единственным удручающего вида кувшином с ручкой на боку. Я не понимаю, почему мелкие тарелки необходимо украшать изображениями заката, а глубокие — лунными пейзажами. Не думаю, что утка становится вкуснее, когда ее подают на подобном великолепии. И к чему нам глубокие тарелки, дно которых теряется где-то вдали? В подобных условиях чувствуешь себя неуверенно и неловко. Между прочим, ни в одной вашей художественной школе не объясняют разницы между декоративным искусством и искусством

образным.

Искусство должно опираться на простоту. От сердца зависит гораздо больше, чем от головы. Никакое обучение не рождает умения ценить искусство. Оно требует благоприятной, здоровой атмосферы. Источники вдохновения окружают нас так же, как окружали древних. Истинному скульптору или художнику нисколько не трудно найти необходимую натуру. Что может быть живописнее и изящнее работающего человека? Если художник пойдет на детскую площадку наблюдать за играющими детьми и увидит, как мальчик наклонился, чтобы завязать шнурки, ему откроются те же темы, которые вдохновляли древних греков. Подобные наблюдения и помогают создать произведения, опровергающие нелепое убеждение, будто духовная и физическая красота всегда раздельны.

Вашу страну природа, пожалуй, щедрее, чем какую-либо другую, одарила материалами, необходимыми ремесленникам-мастерам. У вас есть карьеры, мрамор которых по красоте значительно превосходит тот, которым пользовались греки для своих несравненных творений, но каждый день мне приходится видеть дом какого-нибудь глупца, использовавшего этот чудесный материал так, словно это вовсе не бесценное сокровище. С мрамором должны работать только подлинные мастера. Во время путешествия по вашей стране особенное ощущение серости вызывало у меня отсутствие резных украшений на домах. Резьба по дереву — самый простой из всех видов прикладного искусства. В Швейцарии босоногий мальчуган украшает отцовское крыльцо образчиками своего мастерства. Так почему бы американским мальчикам не превзойти своих швейцарских сверстников?

На мой взгляд, нет ничего более грубого по замыслу и вульгарного по исполнению, чем современные ювелирные изделия. Исправить это нетрудно. Прекрасное золото, скрытое в недрах ваших гор и рассыпанное по вашим рекам, достойно того, чтобы из него создавали нечто более красивое. Когда в Лидвилле я посетил серебряный рудник и подумал, что все это дивное сверкающее серебро превратится в безобразные доллары, мне стало грустно. Его следовало бы воплотить во что-то более вечное. Золотые ворота во Флоренции сегодня столь же прекрасны, как и в те дни, когда на них смотрел Микеланджело.

Наше общение с ремесленниками должно быть более непосредственным. Нельзя мириться с тем, что между ним и нами стоит торговец, который знает о своем товаре лишь то, что назначает за него цену много выше настоящей. Наблюдение же за работой мастера преподает нам важнейший урок, показав, как благородны изделия, отвечающие своему назначению.

На прошлой лекции я говорил, что искусство создаст братство людей, подарив им единый язык. Я говорил, что под его благодетельным влиянием могут исчезнуть войны. Какое же место в таком случае должно занимать искусство в нашем образовании? Дети, растущие среди красивых, изящных вещей, научатся любить красоту и отвергать уродливое прежде, чем поймут, отчего это так. В доме, где главенствует грубость, посуда щербата, мебель исцарапана и неприглядна, но никому до этого и дела нет. Там же, где царят изящество и утонченность, мягкость и изысканность манер рождаются сами собой. В Сан-Франциско я часто посещал Китайский квартал и подолгу наблюдал за работой неуклюжего великана-китайца, копавшего землю. И каждый раз я любовался тем, как он пил чай из крохотной чашечки, тонкой, словно цветочный лепесток. А в ваших великолепных отелях, где тысячи долларов тратились на огромные зеркала в вызолоченных рамах и лепные колонны, кофе или шоколад мне подавали в чашках дюймовой толщины. Мне кажется, я заслужил чего-то более изящного.

В прошлом системы художественного воспитания придумывали философы, которые в человеке видели лишь помеху. Они пытались образовывать ум мальчиков, когда у тех его еще вообще не было. Насколько было бы лучше научить детей с этого раннего возраста использовать свои руки на благо человечества! Я устроил бы при каждой школе мастерскую и час в день посвящал бы обучению простым видам прикладного искусства. Для детей такой час был бы золотым, и вскоре вы вырастили бы поколение ремесленников, которое преобразило бы лик вашей страны. Но я видел в Соединенных Штатах всего одну такую школу. Находится она в Филадельфии, и основал ее мой друг мистер Лейленд. Вчера я побывал там и захватил с собой несколько работ, чтобы показать вам. Взгляните на эти два диска, вычеканенные из меди,—узор прекрасен, свободен от ненужной затейливости, и производят они самое приятное впечатление. Вычеканил

их двенадцатилетний мальчик. А вот деревянная чаша, расписанная тринадцатилетней девочкой. Узор чудесный, цвета мягки и гармоничны. Эта прекрасная резьба по дереву — работа девятилетнего мальчугана. Создавая подобные вещи, дети учатся искренности в искусстве, ненависти к лжецам — людям, красящим дерево под железо, а железо под камень. Это наглядное воспитание морали. Научиться любить Природу легче всего посредством Искусства. Оно облагораживает любой полевой цветок. И мальчик, который видит, как прекрасна летящая птица, вырезанная из дерева или написанная на холсте, возможно, не швырнет традиционного камня в птицу живую. Нам необходима духовность в обыденной жизни...

Интервью, взятое у Марка Твена

Да, все вы достойны жалости! Можно быть важным чиновником, вице-губернатором, кавалером орденов, даже прогуливаться под ручку с самим вице-королем, но никогда не видеть Марка Твена. А я его видел! В одно благословенное утро я пожал его руку, выкурил у него в доме пару сигар, и мы разговаривали больше двух часов! Не тревожьтесь, однако, я вас не презираю, я просто жалею всех, начиная с вице-короля и ниже. И чтобы унять вашу черную зависть, чтобы вы не подумали, будто я зазнался, вот мой отчет об этом событии.

В Буффало я узнал, что Твен живет в Хартфорде, штат Коннектикут, «но, может быть, отправился в Портленд», а некий грузный судейский поклялся, что знает великого человека как родного брата и что Марк отдыхает сейчас в Европе. Я так расстроился, что сел не в тот поезд, и кондуктор бесцеремонно высадил меня в полумиле от станции, на пустынном скрещении рельс. Приходилось ли вам, под бременем плаща и чемодана, увертываться от рассеянных паровозов, да еще когда солнце бьет прямо в глаза? Но я забыл, что вы не встречались с Марком Твеном, и мне вас очень жаль, несчастный вы народ!

Едва избежав железных щупалец решетки, которую устанавливают на локомотивы для безопасности рогатого скота, я еле влачился и повстречал незнакомца.

— В Эльмиру надо ехать, штат Нью-Йорк, недалеко тут, миль двести, а то и меньше.— И предупредил, что было совершенно излишне:— Смотри в оба, парень, в оба!

Я смотрел в оба по Западной железной дороге до самой полуночи, когда меня ссадили у порога неопрятной эльмирской гостиницы. Да, здесь знали все об «этом самом Клеменсе», но полагали, что его нет в городе.

Куда-то на Восток уехал. Наберитесь терпения, подождите утра, а там можно будет поискать его свояка, он еще углем «занимается».

Мысль, что придется рыскать по городу, где обитает тридцать тысяч жителей, за полудюжиной Твенных родственников, не считая его самого, не дала мне сомкнуть глаз, утро же явило моему взгляду Эльмиру, чьи улицы были обезображены железной дорогой, а пригороды трудились над изготовлением дверных косяков и оконных рам. Город лежал в окружении невысоких, кругленьких холмов, оголенных цивилизацией и утопающих в заготовленной древесине. Река Чемунг устала бесчинствовать на главных улицах и только что вернулась в свои прихотливые извивы.

Швейцар в гостинице и телефонист уверяли, что столь желанный мне свояк внезапно отбыл из города и никто не знает, где обретается «этот самый Клеменс». Позднее мне поведали также, что Твен приезжал в Эльмиру не больше девятнадцати лет подряд и поэтому человек он здесь сравнительно неизвестный.

Но дружески настроенный полицейский предположил, что, кажется, позавчера он видел Твена «или кого-то очень похожего». Он еще в шарабане ехал. Это сообщение вселило в мою душу чудесное ощущение близости великого человека. Подумать только! Можно жить в городе, где автор «Тома Сойера» запросто трясется в шарабане по городским мостовым!

— Его дом вон там, на Восточном холме,— сказал полицейский,— миля три отсюда.

И тогда началась охота в наемном экипаже, вверх и вниз по холму, где вдоль дороги цвел подсолнух, шелестела под ветром кукуруза и коровы, сошедшие с рекламных картинок «Харперс мэгэзин», стояли по колено в клевере в таких удобных для созерцания и выжидательных позах, что хоть сейчас на фотогравюру. Наверное, великого человека спозаранку преследовали незнакомцы, и он бежал в укрытие на холме.

Иногда возчик вдруг останавливался у какого-нибудь жалкого, выбеленного известкой домишка и кричал: «Мистер Клеменс!» И объяснял так: «Он, конечно, большой человек, никто не спорит, но мало ли что этим чудакам в голову взбредет».

Однако тут восстала из моря чертополоха и желтых цветочков молодая художница и направила нас на путь

истинный: «Поезжайте вперед и налево, там увидите хорошенький домик в готическом стиле».

— В готическом...— ругнулся возчик.— В эту сторону, да еще вверх, вообще из города никто не ездит.— И бросил на меня угрожающий взгляд.

Посреди большого участка мы увидели очень хорошенький домик, но отнюдь не в готическом стиле, весь увитый плющом. По фасаду шла веранда, где стояло множество стульев и шезлонгов. Решетчатый верх тоже был увит растениями, и солнечные зайчики играли на отполированных перилах.

Действительно, сей отдаленный приют был идеальным местом для трудов, если можно трудиться в таком благорастворении воздуха и под неумолчный шум длиннolistых злаков.

Внезапно появилась дама, привыкшая к обращению с настырными незнакомцами: «Мистера Клеменса нет. Он только что отправился в город к свояку». Значит, все-таки я его настиг. Охота была ненапрасной. Я поспешно ретировался, и возчик, притормаживая на спуске и свирепо ругаясь, доставил меня вниз без каких-либо происшествий.

Но именно в то мгновение, когда я позвонил в колокольчик на двери свояка, меня впервые осенило, что у Марка Твена, возможно, есть и другие заботы, кроме как принимать сумасшедших гостей из Индии, даже таких восторженных, как я, да еще не у себя дома, и что мне теперь делать, что сказать? Предположим, в гостиной полно народу или в доме—больной ребенок, как объяснить, что мне просто захотелось пожать его руку?

А потом события разворачивались так. Большая затемненная гостиная, огромное кресло. Человек с удивительными глазами, шапка седеющих волос, темные усы, скрывающие деликатный по-женски рот, сильная, широкая ладонь и самый тихий, самый спокойный на свете голос:

— Итак, вы полагаете, что чем-то обязаны мне, и приехали сказать об этом. Вот что называется честно платить долги.

П-пых-х—это глиняная трубка (а я всегда считал, что лучшие трубки делаются из белой миссурийской глины), и вот уже Марк Твен уютно устроился в кресле, а я курил сигару—почтительно, как и подобает в присутствии высшего существа.

Сначала мне показалось, что он человек пожилой, но я почти сразу усомнился в этом, а спустя пять минут устремленный на меня взгляд подтвердил, что седина лишь недоразумение и что обладатель ее просто юн. И это яжимаю его руку, я курю его сигару, я слышу, как говорит тот, кого я полюбил и кем восхищался на расстоянии четырнадцать тысяч миль.

Читая Твена, я пытался понять, что он за человек, но все мои предвосхищения оказались ошибочны и бледны по сравнению с действительностью. Благословен тот, кто не испытывает чувства разочарования при встрече с почитаемым писателем. Да, это был памятный миг; что пред этим лосось двенадцати фунтов весу, пойманный на крючок! Я подцепил самого Твена, и он вел себя так, словно при определенных обстоятельствах я могу сойти за ровню.

Тут до меня дошло, что он рассуждает об авторском праве. И вот что, помнится, он сказал. Прислушайтесь к гласу оракула в устах недостойного толкователя. Вообразите, хотя это невозможно, протяжную, чуть-чуть рокоющую, словно приливная волна, интонацию с неожиданными затуханиями и почти смертельную серьезность чела и как он сидел в странно угловатой позе, перекинув ногу через ручку кресла, а правая рука иногда поглаживала квадратный подбородок.

— Авторское право? Просто у одних есть моральные принципы, а у других есть кое-что иное. Осмелюсь предположить, что издатель тоже человек, но он не рожден на свет обычным способом. Его создают обстоятельства. У некоторых издателей моральные принципы есть. У моих, например. Они мне платят за английские издания. Когда услышите, что у Брет Гарта или у меня воруют, попросите привести доказательства. Думаю, это убедит в обратном. Мне всегда платили.

Помню одного беспринципного, отвратного издателя. Но возможно, он уже умер. Обычно он брал мои рассказы и очерки, но не могу сказать, что он их крал. Совсем не то. Просто он собирал мои истории по одной и делал из них книгу. Если я писал что-нибудь о дантистах, или теологии, или еще какой-нибудь пустяк вроде этого (он продемонстрировал размер, показав кончик пальца), было бы только похоже на рассуждение, сей издатель тут же меня подправлял и улучшал.

Он нанимал кого-нибудь дописать продолжение или

сокращал меня, как хотел, а затем печатал книгу «Марк Твен о зубо врачевании», и там был мой очерк с добавлениями. И так же он делал книгу о теологии и все остальные. Но по-моему, это нечестно. Это оскорбительно. Хотя он, наверное, уже умер. Но я его не убивал, честное слово.

Очень много чепухи говорят о международном авторском праве. Его можно упорядочить, если трактовать как право на недвижимость или земельную собственность. Предположим, конгресс издает закон, что человек может существовать сто шестьдесят лет, но ни днем больше. Смешно и никого не ущемляет, потому что судебная ответственность никому не грозит. Но условие о сроках действия авторского права — то же самое. Ни один закон не может заставить книгу жить дольше или умереть раньше срока, отпущенного ей временем.

Вот, например, Тотлтаун, штат Калифорния. Молодой город, с населением три тысячи человек, с банками, пожарной командой, кирпичными домами и всеми современными удобствами. Город живет, процветает, а потом исчезает с лица земли, словно и не было его, Тотлтауна, в штате Калифорния. Он умер. А Лондон существует. Билл Смит, автор книги, которую будут читать с год или того меньше, имеет земельную собственность в таком вот Тотлтауне, Уильям Шекспир, которого читает весь мир, владеет землей в Лондоне. Предоставьте Биллу. Смиту, тоже почившему в бозе, как мистер Шекспир, авторское право, такое же вечное, как его право на землю в несуществующем Тотлтауне. Пусть он проиграет его, пропьет или пожертвует церкви на благотворительные нужды. Пусть его наследники владеют им столь же безраздельно, как он сам.

Иногда я наезжаю в Вашингтон, сижу там во время прений и стараюсь вдолбить эту мысль конгрессменам, но у конгресса есть заранее заготовленные аргументы против международного авторского права, не очень-то убедительные. Я представил это дело как право на земельную собственность одному сенатору, но он ответил: «А если кто-нибудь создаст бессмертное произведение?»

Я: «Предположим, это случится, но мы-то с вами как узнаем, что оно бессмертно? Так что же беспокоиться?»

Он: «Я желаю защитить мир от наследников и других правообладателей, которым выгодна ваша идея».

Я: «Неужели на свете перевелись люди с коммерче-

ским чутьем? Книгу, которая живет вечно, нельзя продавать по искусственно заниженной цене. Всегда будут публиковать ее роскошные издания и самые дешевые».

— Возьмите Вальтера Скотта,—сказал Твен, обращаясь уже ко мне,—когда его романы еще принадлежали ему, я покупал самые дорогие издания, лишь бы денег хватило, потому что они мне очень нравились. Но та же фирма публиковала такие дешевые их издания, что и кошке по средствам. Просто люди блюли свою собственность, но делали это с умом. На одном участке они разрабатывали золотую жилу, на другом разводили овощи, а третий отвели под карьер. Понимаете?

Я понимал, и с величайшей ясностью, что Марк Твен вынужден отстаивать простую истину: человек имеет такое же право на детище своего ума (вы только подумайте!), как и на создания рук своих. А когда старый лев рычит, щенки порываются. Я тоже порывал утвердительно, и разговор о книгах вообще перепорхнул на его собственные в частности.

Все больше смелея и чувствуя за спиной сотни тысяч любопытных читателей, я спросил, женится ли Том Сойер на Бекки Тэчер и будем ли мы вообще иметь возможность познакомиться со взрослым Томом.

— Я еще не решил, как поступить,—ответил Твен. Он встал, снова набил трубку и зашагал в шлепанцах по комнате.—Я хотел бы написать продолжение «Тома Сойера» в двух вариантах. В одном он удостоивается больших почестей и попадает в конгресс, в другом я собираюсь его повесить. А друзья и враги книги могут выбрать конец себе по вкусу.

Тут я совсем забыл о почтении и заявил протест относительно такого намерения, потому что, для меня по крайней мере, Том Сойер словно живой человек.

— А он и есть живой,—возразил Марк Твен,—он совсем как один мальчик, которого я знал и каким его помню. Но хорошо бы вот так закончить книгу—и, обратившись ко мне, пояснил:—Потому что когда начнешь размышлять над всем этим, то понимаешь, что ни религия, ни воспитание, ни образование ничего не значат перед силой обстоятельств, которые вертят человеком как хотят. Возьмем следующие двадцать пять лет в жизни Тома и немного перетасуем обстоятельства, управляющие его поступками. И в зависимости от них он станет мерзавцем или ангелом.

— Значит, вы действительно так думаете?

— Вот именно. Кстати, не эту ли игру обстоятельств вы называете «кисмет»¹?

— Да, но, пожалуйста, пусть эта игра не будет такой двойной, ведь Том уже не ваша собственность, он принадлежит всем нам.

Твен рассмеялся—и какой это был раскатистый, искренний смех!—а потом прочел мне лекцию о праве писателя распоряжаться судьбой своих персонажей, как ему захочется. Так как этот разговор представляет сугубо профессиональный интерес, я его милосердно опускаю.

Вернувшись в большое кресло и говоря о правде в литературе и тому подобном, он добавил, что автобиография—единственный жанр, в котором каждый являет себя миру в истинном свете вопреки собственной воле и отчаянным попыткам избежать этого.

— Большая часть вашей «Жизни на Миссисипи» тоже автобиографична?

— Насколько это возможно, когда пишешь книгу, в частности и о себе. Но в настоящей автобиографии, наверное, просто невозможно сказать о себе всю правду истинную или обмануть читателя, заставив поверить в то, чего не было.

Однажды я проделал такой опыт. Есть у меня друг, человек с болезненной склонностью говорить правду во всех случаях жизни, который и помыслить не может о том, чтобы солгать, и я уговорил его для нашего общего развлечения написать автобиографию. Он согласился; рукопись составила том в восьмую долю листа, но этот хороший, честный человек оказался бессовестным лгуном. Каждый факт, который я хорошо знал, попав на бумагу, был извращен, и автор ничего не мог с собой поделать.

Не в природе человеческой писать правду о себе. Да и читатель всегда чувствует, солгал автор или ему можно верить. Он как человек, который не знает, почему вот эта женщина показалась ему прекрасной, ведь он даже не помнит, какие у нее волосы, глаза, зубы или фигура. И читательское впечатление всегда правильно.

— А вы собираетесь когда-нибудь написать автобиографию?

¹ В рассказах Киплинга—олицетворение сверхъестественной силы, равнодушного фатума, распоряжающегося судьбами людей.— *Прим. перев.*

— Если и напишу, то меня постигнет та же участь. Я из кожи вон буду лезть, чтобы казаться лучше в любом пустяке, что не служит к моему украшению, и мне, как и прочим, не удастся обмануть читателя, он поверит только правде.

Это замечание, естественно, привело нас к разговору о совести, и тогда Марк Твен изрек знаменательные слова. Слушайте и запоминайте:

— Совесть нам очень надоедает. Она как ребенок. Если ее баловать и все время играть с ней и давать все, чего ни попросит, она становится скверной, мешает наслаждаться радостями жизни и пристаёт, когда нам грустно. Обращайтесь с ней, как она того заслуживает. Если она бунтует, отшлепайте ее, будьте с ней построже, браните ее, не позволяйте ей играть с собой во все часы дня и ночи, и вы приобретете примерную совесть, так сказать, хорошо воспитанную. Совесть же скверная отравит вам всю радость жизни. Свою я, наверное, укротил. По крайней мере она что-то молчит последнее время. Возможно, я даже уморил ее излишней суровостью. Нельзя, конечно, убивать детей, но, между прочим, совесть во многих отношениях и отличается от ребенка. Быть может, она лучше всего мертвая.

Потом он немного рассказал о себе—что обычно рассказывают незнакомцам,—о своей юности, и как его воспитывали, и каким образом его родители благотворно влияли на него. И глаза его тоже рассказывали, под нависшими бровями лучился свет, и снова он вставал, и легко, как девушка, пересекал комнату, чтобы показать мне какую-нибудь книгу, и затем ходил взад-вперед, попыхивая трубкой. Ах, если бы я мог набраться храбрости и попросить эту трубку ценой в пять центов в дар! Я теперь понимаю, почему варварские племена так упорно желали вкусить от печени храброго воина, павшего в бою. Будь трубка у меня, она, по всей вероятности, сообщила бы мне толику его умения прозревать души людей. Но он ни разу не положил ее в пределах досягаемости, и я не смог ее украсть.

Один раз, и это было, было воистину, он положил мне руку на плечо, и словно при звуках фанфар меня наградили «Звездой Индии» во всем ее голубом шелковом великолепии, усыпанном бриллиантами. Если когда-нибудь в превратностях и случайностях земной судьбы меня ждет бесповоротное падение, я расскажу тюремному

надзирателю, как однажды Марк Твен положил мне руку на плечо, и он отвел мне отдельную комнату и удвоит мою нищенскую порцию табаку.

— Никогда не читаю романов,— сказал он,— разве уж общественное мнение загонит меня в угол и начнут приставать с расспросами, что я думаю о книге, которую читают все.

— И чем завершилась последняя атака?

— Вы о книге Роберта?

Я кивнул.

— Я прочел его роман, из интереса к мастерству конечно, но подумал, что слишком долго пренебрегал беллетристикой и, наверное, на полках у меня скопилось немало хороших книг, так же изящно сделанных. Поэтому я устроил себе курс ускоренного прочтения романов, но потом бросил это занятие, меня оно не увлекает. Ну а что до книги Роберта, то впечатление было такое, словно уличный певец услышал прекрасную органную музыку из соседней церкви. Правда, я не стал вникать, так ли уж эта музыка серьезна и необходима, я просто слушал, и мне она нравилась. Но я говорю об изяществе и красоте стиля. Понимаете,— продолжал он,— у каждого есть право на собственное мнение о прочитанной книге. Я вам сказал свое. Живи я при начале мира, я бы сперва послушал, что соседи говорят об убийстве Авеля, прежде чем громко осудить Каина. Конечно, мнение у меня было бы, но я бы не спешил его обнародовать. Так что я сообщил вам свое личное мнение о его книге. А что касается моих широкоизвестных, то я не слишком в них уверен, и мир может спать спокойно.

Он свернулся калачиком в кресле и заговорил о другом:

— Девять месяцев в году я живу в Хартфорде, но работать почти не приходится. Я уже смирился. Все время приезжают разные люди, и «заглядывают» во все часы дня, и толкуют обо всем на свете. Как-то я решил подсчитать, сколько раз на дню меня оторвут от работы,—составить список. Сначала пришел некто и заявил, что желает видеть мистера Клеменса, и только его. Это был агент по изготовлению фотогравюр с живописи, но я очень редко использую в своих книгах репродукции с картин. После него явился другой. Он тоже хотел говорить только с мистером Клеменсом и попросил написать что-нибудь для Вашингтона. Я его проводил.

Проводил третьего, потом четвертого. К тому времени уже наступил полдень, я устал и захотел отдохнуть. Но пятый был единственный из всей этой компании, кто пришел персонально от себя. Сначала он прислал визитную карточку, а в ней стояло: «Бен Кунтц, Ганнибал, Миссури». Я вырос в Ганнибале. Бен был мой школьный товарищ. Поэтому я распахнул двери и объятия высокому, неповоротливому толстяку, совсем не похожему на прежнего Бена, ну ничего общего.

«Да ты ли это, Бен? — спросил я. — Знаешь, ты изменился за последнюю тысячу лет». И толстяк ответил: «Видите ли, я не совсем Кунтц, но я его встречал в Миссури, и он сказал, чтобы я не сомневался и шел прямо к вам, и дал визитную карточку и, — тут он разыграл маленький спектакль в мою пользу, — если вы подождете, я мигом достану проспекты... Я не то чтобы сам Кунтц, но у меня есть полный набор удочек для продажи».

— И что ж было потом? — спросил я почти беззвучно.

— Я захлопнул дверь. Это был не Бен Кунтц — не совсем, видите ли, — не мой школьный друг, а я с любовью обнимал его и... меня подцепили на удочку в моем собственном доме.

Итак, в Хартфорде удастся работать очень мало. Каждый год я приезжаю сюда на три месяца и работаю четыре-пять часов в день в том маленьком доме в саду на холме, где вы были. Конечно, я не возражаю, если меня прервут два-три раза в день. Когда работа в полном разгаре, от таких пустяков она не страдает. Вот если начнут отрывать восемь, девять или двадцать раз в день, это сказывается на композиции.

Я горел желанием задать ему разные нескромные вопросы, например какое из своих произведений он любит больше, но его взгляд повергал меня в состояние такой почтительности, что я не собрался с духом. Он говорил, я слушал, а дух мой льнул к его стопам.

На ковре теперь была проблема начитанности, и я до сих пор не решил, действительно ли он думал, что говорил.

— Я не люблю беллетристику и прочие повествования. Я люблю факты и всякую статистику. Если кто-нибудь изложит голые факты насчет выращивания редиски, мне будет интересно. Вот сейчас, например, перед вашим приходом, — он указал на полки с энциклопедией, — я читал статью «Математика». О настоящей, чи-

стой математике.

Мое собственное знание математики кончается таблицей умножения, но статья мне очень понравилась. Я, конечно, ни слова не понял, но факты, или то, что автор считает фактами, всегда чрезвычайно интересны. А этот математический парень верит в свои факты. Я тоже. Мне подавайте факты,—тут голос его упал до еле слышного бормотанья,—и тогда с ними можно делать что угодно.

Запечатлев в душе этот драгоценный совет, я отклонялся, а великий человек ласково заверял меня, что я совсем, ну нисколько, его не оторвал.

Очутившись за дверью, я почувствовал страстное желание вернуться и задать еще несколько вопросов, ведь теперь-то я знал, о чем спрашивать, но, хотя книги Твена принадлежали мне, его время было его собственностью.

У меня тоже будет время, чтобы вспоминать об этой встрече над могилой отлетевших дней, но грустно думать, что о многом мы не успели поговорить.

В Сан-Франциско газетчик из «Колл» поведал мне массу легенд о том, как Марк работал у них начинающим репортером лет двадцать пять назад и как он был восхитительно не способен сделать репортаж о текущих событиях, но предпочитал сидеть где-нибудь притулившись и размышлять до последней минуты. А потом выдавал материал, не имевший никакого отношения к нужной теме, и редактор проклинал все на свете, а читатели «Колл» просили еще.

Хотелось бы мне послушать, как сам Марк Твен рассказывает об этом, и вообще о тех давних временах и других событиях своей веселой и разнообразной жизни. Он был бродячим наборщиком (когда двигался от берегов Миссури к Филадельфии), подручным лоцмана, а потом лоцманом-профессионалом, сражался солдатом на стороне Юга (правда, всего три недели), был личным секретарем у вице-губернатора Невады (это занятие ему не понравилось), рудокопом, редактором, спецкорреспондентом на Сандвичевых островах и бог знает кем еще.

Вот бы найти способ и напоить человека с таким богатым опытом—а чудесно было бы подливать ему в стакан из разных бутылок—и, говоря языком его соотечественников, «заставить ретроспектировать»!

Но смертный не достоин созерцать пиршества богов!

О ПАРТИЯХ

...Но хватит о душных, заплеванных салунах. Давайте обратимся к величественному зрелищу, кое представляет собой Государство во имя народа, для народа и управляемое народом, как это понимают в Сан-Франциско. Книга профессора Брайса сообщает, что каждый американский гражданин старше двадцати одного года имеет право голоса. Он может ничего не смыслить в собственных делах, не ладить с женой, не внушать уважения своим детям, быть нищим, полупомешанным от постоянного пьянства, банкротом, подонком, просто-напросто дураком от рождения, но он имеет право голоса. И если ему заблагорассудится, он может голосовать без передышки — за губернатора штата, государственных служащих, твердые местные цены, канализационные подряды и прочие начинания и дела, в которых он так же мало разбирается.

Один раз в четыре года он голосует за нового президента. В свободные промежутки он выбирает судей, то есть людей, которые должны обеспечивать справедливое судопроизводство. Судьба судей во многом зависит от любви населения к перевыборам, которые повторяются каждые два-три года. Такая ситуация считается наиболее подходящей для избрания независимого во мнениях и нелицеприятного деятеля. Вся масса голосующих разделена на две партии — республиканскую и демократическую. Каждая из них полагает, что другая ведет перл создания (то есть Америку) прямым путем в ад. Следует также отметить, что демократы пьют больше республиканцев и когда напьются, то много толкуют о штуке, которая называется «тариф», в которой они ничего не понимают, но которую считают оплотом национальной экономики или же, наоборот, вернейшим средством ее гибели. Иногда они говорят одно, иногда — другое, в зависимости от того, что думают по данному поводу республиканцы, которые вообще постоянно себе противоречат. Но то, что я вам рассказал, — правдивый и яркий отчет о лицевой стороне американской политики. С изнанки она выглядит по-другому.

Так как все здесь имеют право голоса и могут голосовать решительно по любому поводу, то в результате появились на свет некие мудрецы, понаторевшие в искусстве скупки голосов и оптовой продажи их всем, кто в них очень нуждается. Вот, например, какой-нибудь

американец занят строительством своего жилища и ему некогда голосовать за местных бойцовых петухов, окружающих присяжных и прочую живность, но у тех, кто вечно слоняется по улице и кто ничего не делает, времени предостаточно. Их кличут просто «парнями», и парни составляют своеобразный слой населения. Это все молодые люди, они не умеют ни воевать, ни работать. Нет, они не кровопийцы, они просто бездельники, которые не умеют ни выращивать скот, ни копать колодцы. Это, попросту говоря, праздношатающиеся, которые готовы поддержать любое дело и начинание, лишь помани их бутылкой. Они ждут, они всегда под рукой, а ведь смысл и слава американской политики в том и состоит, чтобы всегда быть под рукой. И вот некий мудрец, владелец салуна, умело распределяя спиртное, всегда имеет в своем распоряжении целую компанию таких парней, которые за стаканчик вина проголосуют за или против всего, что есть в подлунном мире. Конечно, не каждый хозяин винного погребка обладает необходимой сноровкой. Успех зависит от тщательного изучения местной политической жизни, тут требуются такт, умение убеждать, неистощимый запас анекдотов на забаву толпе и для привлечения ее каждый вечер в салун, пока он не станет настоящим салоном забулдыг. Но главное — надо иметь в виду, что рассчитывать на немедленный эффект этой питейной стратегии не приходится, хотя в конечном счете «парни», которые угощаются на даровщинку, расплатятся со своим благодетелем в тысячекратном размере... Таков обычный стратегический план действий. Рядовых граждан угощают даровым вином, им перепадает немного денег — и они голосуют. Тот, кто может обеспечить десяток голосов, получает соответствующее вознаграждение. Тот, кто имеет в своем распоряжении тысячу, — весьма уважаемый человек, и так далее, вплоть до главного салунного стратега, наиболее изощренного в искусстве накапливания голосов и умения пускать их в оборот, когда потребуется. Такой человек управляет городом, как самодержец, наделенный безграничной властью. Может быть, желаете знать, кому это выгодно? Все общественные должности (за исключением очень немногих, где требуются специальные технические познания) краткосрочны и распределяются в соответствии с «политическими» симпатиями. Чего же вы хотите? Большому городу требуется большое количество служащих. Каждая

должность обеспечивает приличное жалование и влияние, которое стоит двух жалований. Эти должностные лица благоволят к тем, кто обеспечивает им голоса. Председатель комиссии по канализационным подрядам, к примеру,—джентльмен, который получил свою должность благодаря республиканцам. Он мало что знает о канализации, еще меньше заботится о том, чтобы знать, но у него достаточно здравого смысла, чтобы отдать все подряды по прокладке канализационных труб и эксплуатации мусороуборочных машин тем господам, с помощью которых он получил голоса. Начальнику полиции помогли занять сей пост голоса парней, которые еженощно подвизаются в одном прекрасном салуне. Начальник полиции может быть строжайшим блюстителем нравов, но он не допустит, чтобы его помощники запретили в этом салуне ночные сборища и картежную игру. Большинство должностных лиц избираются сроком на четыре года, и дурак тот, кто не выжмет из своего положения все выгоды, какие только можно.

Единственно, кто страдает от такой прекрасной общественной системы, так это сами люди, создавшие ее, от нее страдают сами американцы...

В настоящее время Сан-Франциско находится под управлением человека, зрение которого настолько ухудшилось, что ему требуется поводырь. Официально он известен как Босс Бакли, а неофициально—Слепой Дьявол. Вот передо мной, черным по белому, его послужной список. Он занимает четыре колонки убористого шрифта, и, может статься, не понравится вам. Вкратце он таков. Босс Бакли, обладая тактическим чутьем и глубоким знанием темных сторон городской жизни, сплотил вокруг себя немало избирателей. Сам он почти никогда не претендовал на какую-либо должность, но по мере роста числа своих сторонников продавал их услуги более высокостоящим группировкам, взимая проценты с каждого учреждения и должности. Он контролировал демократическую партию в Сан-Франциско. Вот, например, народ выбирает судей. На самом деле их выбирают люди Босса Бакли, и, естественно, судьи—его собственность. Мне приходилось во время официальных обедов и встреч слышать рассказы знающих людей, непричастных к политике, о «судопроизводстве» по гражданским и уголовным делам, когда судьи назначали цену за решение дела в пользу истца или ответчика. И об этом рассказывалось

совершенно спокойно, с бесстрашием хроникера. Все контракты по ремонту дорог, строительству общественных зданий и так далее контролирует Босс Бакли, потому что решения по этим контрактам выносят люди, которых Бакли послал в городской совет. И с каждого такого контракта Босс Бакли взимает процент для себя и своих сторонников.

У республиканцев в Сан-Франциско тоже есть хозяин. Он не столь гениален, как Босс Бакли, но я отказываюсь верить, что он хоть сколько-нибудь добродетельнее. Просто он располагает меньшим количеством голосов.

БУДУЩЕЕ АМЕРИКИ

Каста американских богачей выделилась в ходе сложной борьбы равноправных индивидов. Эта индивидуалистическая коммерческая борьба не только изолировала — к их собственному и всеобщему удивлению — богатых, с той же слепой силой она калечит и уничтожает миллионы человеческих душ. Но этот факт не сразу бросается в глаза. Английский путешественник, попадая в большие города, видит, как люди тратят деньги, видит картину всеобщего процветания, ощущает плотную атмосферу гордости и довольства; для того чтобы найти оборотную сторону этих явлений, ему придется отклониться от магистралей.

Меня поразил один небольшой эпизод. Как-то воскресным вечером я ужинал в центре города с мистером Эбрахамом Кээном; мы говорили об Ист-сайде, этом городе внутри города, со своими драмами, со своей литературой и печатью; мы говорили также о России и ее проблемах, а потом я возвращался домой на метро около двух часов ночи. Напротив меня сидел парнишка лет одиннадцати с наивным лицом, хрупкой фигуркой, на нем была форменная одежда рассыльного. От усталости он склонился набок, затем резко распрямился, со вздохом поднялся с места, вышел из вагона, поднялся наверх и, едва поезд двинулся дальше, затерялся в электрическом зареве Астор-сквер.

«Почему, черт побери,— подумал я,— этот младенец не спит дома в такое время ночи?»

Меня лично этот измученный маленький бедняга заставил предпринять болезненное исследование. «Сколько часов в день разрешают детям работать в Нью-Йорке? — начал я задавать вопросы. — И когда им разрешают прекращать обучение в школе?»

Обнаружилось, что я нащупал самую слабую точку в фасаде национального американского благополучия. Глаза

открылись на детей — разносчиков газет, на маленьких чистильщиков сапог, расположившихся на углах улиц. Ночная работа детей — это социальный позор. Я собирал сведения о детской преступности, о ребятишках девяти или десяти лет, страдающих от страшных болезней, о тех, кто в результате оказывался в госпитале или в тюрьме. Мне стала открываться еще одна сторона великой теории святого права на собственность и подчинения государства интересам бизнеса, на чем основывается система американских институтов. Эта теория не принимает в расчет детей. Да, это теория, которая не принимает в расчет женщин и детей, этот, что ни говори, костяк жизни. Все это — частности...

Странно, как мало мы, живущие на рассвете нового времени, задаемся вопросами об идейных основаниях нашего общественного порядка. Мы обнаруживаем, что в нашей жизни много нерешенных проблем, много жестокости, мы выдвигаем разные предложения, направленные на исправления и улучшение, но мало кто задумывается о том, какие идеи лежат в основании всех этих уродливых искривлений, этих законов, этих обычаев и свобод, которые, в разнообразных своих формах, полностью опутали мир замысловато вытканым узором. Между тем жизнь человеческая базируется на воле, принимающей форму идей, и, лишь корректируя идеи, изменяя идеи и заменяя идеи, можно достичь улучшения и прогресса. Все остальное — вторично.

Итак, теория свободы, на которой зиждется либерализм Великобритании, конституция Соединенных Штатов и буржуазная Французская республика, предполагает, что все люди независимы и равны. Молчаливо предполагается, что эти люди достигли зрелости и бессмертия, что они владеют своей собственностью, а также своими женами и детьми и все законоположения устроены таким образом, чтобы обеспечить им возможность осуществления их прав. Несомненно, это лучшая теория сравнительно с теорией божественного права королей, которую она триумфально опрокинула, но в то же время, как сейчас стало ясно, она поразительно далеко разошлась с истиной, и лишь немногие фанатики логического мышления пытаются довести ее до окончательных результатов. Например, эта теория не принимает во внимание тот факт, что более половины взрослых в любой стране — женщины и что мужчины и женщины любой страны,

взятые вместе, и вполонину не столь многочисленны и важны для благополучия государства, сколь несовершеннoлетние. Она воспринимает жизнь просто как жизнь — тупое и омертвевшее понятие, основанное на самодовольстве и самооценности наслаждения; эта теория закрывает глаза на тот факт, что жизнь есть отчасти рост, отчасти познание, отчасти смерть, дающая дорогу новой жизни, и в любом случае — служение и жертвенность. Эта теория утверждает, что забота о детях, их образование, а также мероприятия, связанные с проблемами занятости и благосостояния женщин и детей, есть частное дело. Поэтому она с поразительным упорством и ожесточением противится обязательному обучению детей и системе фабричного законодательства. Здравый смысл всех трех великих прогрессивных наций, о которых идет речь, сильнее их теории, однако же и поныне тяжелые социальные пороки следует объяснять той поразительной ревностью, с которой государство ставит себя между мужчиной и его женой, его детьми и иными видами собственности, что являет собою характерное — и не имеющее прецедентов — свойство современной общественной организации (первоначально ориентированной на средний класс), согласно коммерческим и индустриальным концепциям которой все мы (а Америка особенно) ныне живем.

Я начал с сонного паренька-рассыльного в нью-йоркском метрополитене. Но еще до того, как разобраться с этим вопросом, я столкнулся с массой любопытных вещей. Подумать только! В этой богатейшей, величайшей стране из тех, что когда-либо видел земной шар, более 1,7 миллиона детей до пятнадцати лет работают на полях, фабриках в шахтах и мастерских. А от Роберта Хантера, чье исследование «Нищета», будь у меня власть, я бы сделал обязательным чтением для каждого преуспевающего взрослого в Соединенных Штатах, я узнал, что «в этой стране не менее восьмидесяти тысяч детей, в основном маленьких девочек, работают на текстильных фабриках. На Юге сейчас работают в шесть раз больше детей, чем двадцать лет назад. В этой части страны доля детского труда увеличивается ежегодно. Каждый год все больше детей перевозят из сельских и горных местностей в индустриальные города с их удрушающей атмосферой...»

Итальянцы умышленно берут с собою детей. От специального представителя городских властей на Эллис-Айленде Уотчорна я слышал, что процент детей — пле-

мянников и племянниц, сыновей приятелей — у итальянцев особенно высок. Мне пришлось быть свидетелем того, как он разбирал и вынес обвинительный приговор по одному подозрительному делу. Речь шла о каком-то особенно неприятном итальянце, опекуне мальчугана с грустными глазами, чьих родственников не удалось установить...

В худшие для хлопчатобумажной промышленности Англии времена условия были едва ли хуже, чем сейчас на американском Юге. Пяти-шестилетние дети, крохотные и слабенькие, встают утром и, как взрослые мужчины и женщины, отправляются на фабрику, чтобы выполнить дневное задание, а возвращаясь домой, «они с трудом добираются до кровати, слишком изможденные, чтобы раздеться». Многие дети работают всю ночь — «в оглушительном реве машин, в антисанитарных условиях, где воздух влажен и пропитан запахами перерабатываемого хлопка».

«Не скоро забуду я, — продолжает мистер Хантер, — шестилетнего мальчугана с руками, протянутыми вперед, чтобы поправить что-то в машине, бледным лицом и худой фигуркой, уже несущей следы тяжелого труда. Этот мальчик, шести лет от роду, работает двенадцать часов в сутки».

Из книги мистера Спарго «Горький плач детей» я узнал следующее о радостях жизни иных юных обитателей Пенсильвании:

«По десять-одиннадцать часов в сутки дети одиннадцати-двенадцатилетнего возраста сгибаются над лотком, выбирая шифер и другие примеси угля. Воздух черен от угольной пыли, а от шума камнедробилок, защитных перегородок и потока угля, громящего в лотках, лопаются барабанные перепонки. Порой дети попадают в машину и получают тяжелые увечья или соскальзывают в лоток, где задыхаются от угарного газа. Многие погибли таким образом. А другие со временем получают шахтную астму или туберкулез, которые постепенно подтачивают их здоровье. Их легкие, куда постоянно, изо дня в день попадает угольная пыль, приобретают черный оттенок и забиваются частицами антрацита...»

В местечке Фолл-Ривер, штат Массачусетс, преподобный Дж. Ф. Кэри рассказывал нам, как раздетые до пояса мальчишки, свободные американцы, работают на мистера Бордена, нью-йоркского миллионера, укладывая белье в красильные чаны, и от этих химикалий их тельца

приобретают цвет проказы. Впрочем, у нас, англичан, нет никакого права осуждать американцев за все это. История нашего собственного промышленного роста черна от крови замученных и умерщвленных детей.

В Америке все еще есть фабричные крепостные. Штат Нью-Джерси посылает сегодня своих нищих детей на Юг, где они попадают в условия хуже рабских, но, как пишет Коттл в своих воспоминаниях о Саути и Колридже, точно таким же отвратительным экспортом занимался в позднегеоргианские времена Бристоль, чтобы насытить манчестерские фабрики. Мы оказались впереди по части фабричного законодательства, но никакой заслуги государства в том нет—это была компенсация, полученная землевладельцами от промышленников, за реформы и введение свободной торговли кукурузой и продуктами питания. В Америке же промышленники сами решают свои проблемы.

И Америка сталкивается с трудностями, о которых мы и понятия не имеем. В области трудового законодательства главное слово принадлежит властям штата; в каждом штате силам света и прогресса приходится бороться за детей и будущее с силами прибыли, лжи, предрассудков и глупости. Каждый штат ссылается на дурной пример другого штата, и всегда существует опасность, что федеральная власть останется в стороне. При существующих условиях невозможен никакой единый минимум. А когда закон все же принимают, стремление властей вмешаться в дела вызывает всеобщее негодование, и нет никакой возможности применить силу. Например, сенат штата Иллинойс, скандализированный видом детей, которые, стоя по колено в крови, в этих грязных сточных канавах, очищают кишки и разделывают мясо, недавно принял трудовой закон, устанавливающий минимальный возраст для работы на этом производстве—шестнадцать лет; но, как рассказывали мне в Чикаго, есть простой и легкий способ обойти этот закон. В Нью-Йорке могли бы продемонстрировать своды правил, согласно которым мой заспанный ночной рассыльный незаконен и невозможен...

Такова низшая ступень лестницы, на верху которой сверкает витринами Пятая авеню и расточает свои непристойные щедроты мистер Эндрю Карнеги. Равным образом эта ситуация являет собою непредвиденный итог ложной теории свободы. Неумное расточительство богатых, архитектурное убожество Ньюпорта, грязь и шум,

хаотическое нагромождение доходных домов в центральном и южном Чикаго, здания компании «Стандард ойл» на Бродвее, темные улицы под вознесенными линиями железных дорог в Нью-Йорке, безобразно замусоренные берега Ниагары, а более всего ад детского страдания — все это различные взаимосвязанные аспекты и неизбежные результаты все того же беспорядочного образа жизни. Пусть каждый прокладывает себе путь сам — и вот что выходит в итоге...

Коррупция

1. ПРОБЛЕМА НАЦИИ

Мне кажется, что в этом новом, неоформившемся еще обществе протекают, только в более широких масштабах, те же экономические процессы, что и на наших родных островах. Наверху происходит огромная концентрация богатства, а внизу разверзается глубокая пропасть, которая становится все обширнее и засасывает множество людей, живущих на грани нищеты, что являет собою характерную и необходимую черту индустриального общества свободной конкуренции, — та переполненная пропасть, из которой у детей нет шанса выбраться и в которой взрослые даже не мечтают о досуге или самоуважении. А между этим блеском богатства наверху и усиливающимся упадком внизу располагается огромная масса населения, быть может пятьдесят миллионов или более, здоровых и активных мужчин, женщин и детей (я пока полностью исключаю — затем, чтобы обратиться к ним в следующей главе, — цветных и специфические заботы Юга), которым чужда и безответственная свобода, и неизбывное рабство и которые составляют живую и определяющую суть Америки.

Взятые вместе, они образуют то, что мистер Рузвельт называет «нацией», и то, что раньше называли в Америке Народом. Нация — это не богатые и не бедные, не капиталисты и не трудящиеся, не республиканцы и не демократы; это огромное противоречивое множество, которое включает в себя все эти величины. Это универсальная абстракция, это высшая реальность. Вы будете искать ее в Америке, и вы ее не найдете, как не находят в тщетных поисках леса среди деревьев. У нее нет определенного голоса; невнятные и частные высказыва-

ния бесчисленных печатных органов, выходящих по всей стране, слова сотен ораторов, книг и проповедников встречаются порой отклик, а порой остаются неслышанными. Сколько раз мне говорили, где можно найти типичного американца; одни указывали на Мэн, другие — на Аллеганы, третьи отсылали «дальше на запад», четвертые — в Канзас, пятые — в Кливленд. Но на самом деле он нигде и повсюду. Это англоговорящая личность, сохранившая, несмотря на значительную примесь немецкой, скандинавской, ирландской крови, поразительно четкие свойства англичанина. Он испытывает недоверие к стройным теориям, к логике и неохотно говорит об идеалах. Он поглощен, он занят своими делами, и в то же время он — я чувствую это в самой атмосфере жизни — думает.

Насколько широко и практически он мыслит, можно увидеть из журналов стоимостью в десять центов, этого забавного изобретения последнего времени. В Англии наши шестипенсовые журналы, кажется, целиком предназначены детям или бездельникам; в них печатаются только рассказы, анекдоты или картинки. Еженедельники блистают поразительно одинаковой пустотой. Но в соответствующих американских изданиях широко публикуются глубокие и на удивление хорошо написанные материалы, посвященные сложным общественным проблемам. Взяв наугад один из журналов, я обнаружил в нем отлично составленный обзор событий на железных дорогах, в другом обнаружил анализ проблемы трестов. Вот названия некоторых книг, которые широко читаются по всей стране: «Суть железнодорожной проблемы» Парсона, «Позор городов» Стеффенса, «Бешенные деньги» Лусона, «История «Стандард ойл» мисс Тарбелл, «Индустриальная проблема» Эббота, «Горький плач детей» Спарго, «Нищета» Хантера и прежде всего «Богатство против благосостояния» Ллойда. Эти названия то и дело мелькают в журналах. На протяжении удивительно короткого отрезка времени американская нация отказалась от безрассудного самодовольства XIX века и обратилась к самопознанию, не имеющему аналогов в истории.

Эгоистические интересы остались в прошлом, с ними покончено. «Манассас», прекрасно задуманная романтическая история времен Гражданской войны, принадлежащая перу Эптона Синклера, самого молодого и самого заметного среди американских писателей нового поколения, вызвала лишь ограниченный интерес, но его же

роман «Джунгли», где описываются будни мясного треста и внутренний мир иммигранта, эта наиболее беспощадная картина американской жизни из тех, что появились донине, буквально воспламенила всю страну.

Американская нация, которая еще совсем недавно казалась безнадежно увязшей в тенетах крайнего индивидуализма, непоколебимо верящей в предохранительные клапаны экономики и таким образом приближающейся к окончательной катастрофе,—эта нация ныне выказывает озабоченность и задает вопросы. Она вступила на путь серьезного и широкого исследования запутанных экономических и политических проблем, которые, как сеть, сомкнулись над ее будущим. Фундаментальная проблема Америки, как и Европы, состоит в том, чтобы освободить свою землю, свою гражданскую жизнь, все могущество своей экономики от анархического и безответственного управления со стороны частных владельцев—сколь опасным и страшным может быть это управление, показывают расследования, проведенные на железных дорогах и в мясных трестах,—а также в том, чтобы подчинить общественную жизнь широким, чистым, гуманным принципам современной науки. Решая эту колоссальную проблему перестройки, что является единственной альтернативой упадка, которым грозит плутократия, каждая страна сталкивается со своими собственными трудностями. Например, в Великобритании постоянна острая проблема удержания в целостности империи, как и тот факт, что органы законодательства, почти целиком состоящие из частных землевладельцев, тормозят каждый шаг, направленный к улучшению общественного устройства. Каждая европейская страна испытывает гнет вооружений. В Америке свои особенные трудности. Она в значительной степени свободна от сколько-нибудь серьезных военных забот, а от своего единственного заморского владения на Филиппинах готова освободиться, и чем скорее, тем лучше. Но с другой стороны, ей приходится сталкиваться с целой системой крайне сложных и запутанных юридических проблем, она наследует самую мощную в мире традицию индивидуализма, ее политическая система вырождается, и все в большем количестве на нее надвигаются чужеземцы, не способные адаптироваться к коренным основам американской жизни. Эти и иные проблемы становятся все острее.

В ДЕНЬ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛОУЭЛЛА

Мы отдаем сегодня дань памяти одному из великих литераторов. Что более всего поражает меня в славной группе новоанглийских писателей — Эмерсоне и Лонгфелло, Готорне, Уиттьере и Торо, Мотли, Холмсе и Лоуэлле — это свойственные им чувство меры и величие духа. Они были необыкновенными людьми и прекрасными писателями, нрава простого и бесстрашного.

Сознаюсь, для меня Джеймс Рассел Лоуэлл — скорее критик и мастер прозы, чем поэт. Его безраздельная преданность Словесности сверкает, как путеводная звезда, над утлым челном культуры. Его юмор, широта взглядов, мудрость, всеобъемлющий характер деятельности вряд ли имеют себе равных в вашей стране. Не столь великий мыслитель и поэт, как Эмерсон, уступавший в творческом накале Готорну, в оригинальности философии и образа жизни — Торо, в остроумии и причудливости воображения — Холмсу, он все это мог оценить лучше, чем кто-либо другой, а как исследователь и критик литературы он превзошел их всех.

Я не надеюсь прибавить что-нибудь новое к уже существующей в Америке высокой оценке Лоуэлла — критика, юмориста, поэта, редактора, преобразователя, литератора, государственного деятеля. Но да будет мне позволено напомнить вам два его высказывания: «Я наделен отнюдь не пророческой остротой зрения, но, когда я смотрю вниз в надежде узреть райскую долину среди величественных гор, я не вижу ничего, кроме черных руин, и повсюду в мире мне слышатся стоны обездоленных... И тогда мне кажется, будто *сердце* мое вот-вот *перельется* в прекрасный *гимн*, имя которому — Евангелие Перемены, несущее утешение и силы угнетаемым, — и в этом заключена моя безумная надежда». Такова одна из характерных черт молодого Лоуэлла,

благородного врага несправедливости, Лоуэлла-человека. А вот другое его высказывание: «Нации, говорящие по-английски, должны воздвигнуть памятник пребывавшим в заблуждении строителям вавилонской башни, ибо как слияние разных потоков крови сделало их одной из самых деятельных современных рас, так и смешение разных наречий даровало им язык, возможно, наиболее приспособленный для выражения благородной мысли поэта». Это — другая черта, присущая Лоуэлли, ревностному поборнику Литературы. Таково было его отношение к нашему языку.

Интересно знать, г-н президент, что бы почувствовали те, кто в XIV, XV, XVI столетиях ковали наш язык, если бы они могли войти в этот зал сегодня, и внезапно мы увидели бы среди нас людей, облаченных в монашеские рясы, домотканые одежды, сверкающие латы, если бы они вернулись сюда из страны, что больше даже Америки, из далекой Страны Теней. Какое выражение явилось бы на их смутных ликах в тот момент, когда пришельцы убедились бы в том замечательном факте, что язык, который они закаляли в деревенских коттеджах, судах, монастырях и замках маленького туманного острова, стал великим языком, на котором говорит половина мира, а другая половина пользуется им как вторым после своего родного? Ведь даже теперь дело обстоит именно так: английский язык, ими созданный и возведенный на трон Шекспиром, язык, на котором говорим мы с вами, звучит и под Южным Крестом, и в просторах арктических морей!

Не думаю, чтобы вы, американцы, и мы, англичане, ныне так уж разительно были бы похожи в физическом отношении или чертами характера. Думается, сходства между нами не больше, чем между вами и австралийцами. Связывают нас теперь лишь общность языка и *чувство бесконечности, им подразумеваемое.*

Однако язык, достигший совершенства, — а наш с вами расцвел прежде, чем первые белые отправились исследовать эти берега, — нечто гораздо большее, чем просто средство, помогающее обмениваться материальными благами. Это — духовная скрепа, глина, соединяющая кирпичики наших мыслей в цельное здание идеалов и установлений, храм, причудливо украшенный редкостными цветами воображения, сложная структура Красоты и Правды.

В одной из ранних своих статей Лоуэлл говорит: «Мы далеки от желания видеть то, о чем столь многие возносят горячие молитвы, а именно литературу, выражающую только национальные интересы. Ибо одна и та же могучая лира человеческого сердца отвечает прикосновению мастера во все времена, под любыми широтами, и любая литература, если она всего лишь национальна, ущербна в той мере, в какой обращена к тому, что имеет местное, а не общее значение».

Чего же мы ищем в тесных пределах нашей жизни, к какой цели устремляем многошумный ход цивилизации? К тому ли, чтобы разбогатеть и получить возможность удовлетворять любой материальный каприз, а такие желания, как правило, возрастают по мере их удовлетворения? К тому ли, чтобы иметь возможность напористо и расчетливо использовать один другого к наибольшей собственной выгоде? А может, для того чтобы, не вполне понимая, что мы делаем, промчаться на самой высокой скорости по дороге жизни, вслепую растратив свой маленький запас энергии? Я не могу поверить в это. Конечно, хоть и не совсем осознанно, мы стремимся воплотить в действительность наше представление о человеческом счастье, стремимся к далеким целям — всеобщему здоровью, благожелательности, красоте, пытаемся жить так, чтобы качества, которые делают нас людьми: ощущение меры, тяга к прекрасному, милосердие и чувство юмора, — всегда бы ставились нами выше свойств, сближающих нас с тигром, устрицей и обезьяной.

Поэтому я хотел бы спросить: что станется со всеми нашими усилиями по преобразованию мира, если мы будем руководствоваться только духом коммерции? Являются ли купля-продажа, материальное преуспевание и обилие того, что способствует плотскому комфорту, гарантией нашего продвижения к истинной цели? Слов нет, всяческий материальный комфорт — вещь неплохая. Сознаюсь, я питаю к нему немалую привязанность. Но для истинного прогресса он весьма ненадежный спутник. Я могу представить себе мир, благополучно освобожденный от всех последствий мировых катаклизмов, поле жизни, отлично вспаханное и удобренное, но все же не взрастившее того хлеба, которым питается дух и который помогает человеку оставаться человеком.

Что же мы в силах предпринять, по какому руслу

должны направить свое влияние, дабы не утратить надежду? Могу назвать по крайней мере одно средство: надлежащее и достойное использование великого и замечательного орудия — нашего общего языка.

В этом весьма умудренном мире речь есть действие, слова равны поступкам и нет возможности устеречь крылатое слово, как бы мы ни были бдительны. Так превратим же наш язык в орудие Правды, освободим его от лжи и экстравагантностей дурного тона, от извращенности понятий и целенаправленной пальбы междоусобиц, приучим себя к такой трезвости высказывания, устного и печатного, чтобы нам стали доверять и дома, и за границей. Сделаем наш язык выражением честности мыслей и порядочности в такой степени, чтобы низость, агрессивность, сентиментальность, самовосхищение стали в обеих наших странах чужаками. Велика и пагубна власть лжи, несдержанности выражений, расчетливой апелляции к низменным чувствам или побуждениям. Предадим их остракизму, изгоним их из нашей речи.

Я часто в последние годы думаю о том, как иронически должно относиться Провидение к пропаганде национальной исключительности, злопыхательским словесам, километрам псевдопатриотической писанины, которая с чувством исполненного долга производится в каждой стране с целью доказать, что другие страны — низшего порядка. Ведь легчайшего сквознячка во Вселенной достаточно, чтобы эти эфемерные письма сдуло в ее безвоздушное безмолвие. И они уже блекнут и вскоре рассыплются в прах. Полагаю, существует только два истинных вида выражения национального самосознания, два способа доказать значительность той или иной страны, которые выдерживают беспощадную проверку Временем. Первый и наиболее важный — неукоснительная прямота и великодушие всех действий страны, ее решимость не использовать к своей выгоде слабость других стран и не допускать тирании на собственной земле.

Второй вид — работа мыслителя и художника, людей, чьи вольные, раскованные сердца отданы служению Правде и Красоте, во всю меру понимания ими этих категорий. Пример именно такого служения оставили нам в наследство древние греки к вечной славе своей страны. Благодаря такому служению Марк Аврелий и Плутарх, Данте и Св. Франциск, Сервантес и Спиноза, Монтень и Расин, Чосер и Шекспир, Гёте и Кант,

Тургенев и Толстой, Эмерсон и Лоуэлл — и еще тысяча и один великий мастер — возвеличили свои страны в глазах всех живущих и способствовали прогрессу человечества.

Вам, наверное, приходилось наблюдать в повседневной жизни, что, когда мы убеждаем других в своих совершенствах и чрезвычайной правоте наших поступков, мы производим весьма прискорбное впечатление. Если же, напротив, мы имеем случай совершить справедливый или добрый поступок и люди узнают о том стороной или же нам удастся создать прекрасное произведение искусства и люди увидят его, мы вырастаем в их глазах, нас начинают уважать без всяких хлопот с нашей стороны. То же относится и к государствам. Они могут всю мочь вещать о своих добродетелях — и убедят в том лишь ветер. Но пусть их дела будут справедливы, нравы — гуманны, речи и произведения их граждан — полны здравого смысла, создания их мыслителей, творчество их художников — правдивы и прекрасны, — и эти государства будут почитать, а мнение их ценить.

Мы, сообщая владеющие английским языком — «лучшим результатом смещения наречий», по словам Лоуэлла, — этим превосходнейшим инструментом для создания речевой музыки, для передачи красоты воображения, должны хорошо запомнить следующее: в том, как мы используем этот инструмент, в широте, справедливости, гуманности наших идей, в той одушевленности, сдержанности, ясности и красоте слога, которым мы их выражаем, заключена величайшая возможность сделать наши страны прекрасными и любимыми, способствовать счастью человеческого рода и сохранить бесценный дух нашего содружества.

РЕЧЬ В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Того, кто сомневается в божественной природе нашей цивилизации, называют педантом. Каждый, кто с сомнением взирает на современный прогресс, становится отверженным. Однако, несомненно, нас все больше лихорадит, мы все чаще спешим, все усложняя на своем пути, а неумеренное умножение удобств делает нас до такой степени бездеятельными, что мы оставляем лишь слабые следы на почве жизни.

Во время войны мы скатились к' состоянию, близкому

варварству, и если не остановимся, то будем все глубже увязать в нем теперь, когда война окончилась. Подспудная причина этого в каждой из стран — все возрастающая скученность, образ жизни, основанный на механизации, погоне за деньгами и страхе скуки. Общеизвестно, как ужасающе силен этот страх. Но способность скучать уже есть болезнь.

В большинстве случаев современная жизнь такова, что способствует возникновению этой болезни с последующими поисками лекарства от нее, что вызывает новый приступ болезни, а это в свою очередь требует нового лекарства и так далее. Мы, например, гордимся своими успехами в области научно обоснованной санитарии, но что она представляет собой, если не громоздкое паллиативное средство от зла, порождаемого скученностью, средство, которое лишь увеличивает скученность, так что наша потребность в научно обоснованной санитарии будет лишь возрастать? Настоящий *elixir vitae*¹, вернее, его два компонента — это жизнь на свежем воздухе и горделивое удовлетворение собственной работой. Но мы создали такой способ существования, при котором эти два компонента сочетаются сравнительно редко. В старых странах, таких, как моя, зло скученности ощущается гораздо острее, чем в странах молодых, вроде вашей. С другой стороны, чем дальше человек от царства Аида, тем с большей скоростью он к нему поспешает, и механизация сопутствует Америке в этом зловещем беге гораздо интенсивнее, чем Европе.

Когда у нас впервые появились танки, их изображали как чудовища с железными рылами, ползущие, куда им заблагорассудится. Сознаюсь, именно так мой воспаленный взор воспринимает все современные машины — это чудовища, рыскающие, где им захочется, тянущие нас за собой и очень часто давящие своими гусеницами.

Думаю, в нас постепенно пробуждается осознание опасности бессмысленного развлекательства, мы начинаем также понимать, что мчимся на полной скорости, одержимые и преследуемые дьяволом механизации, к обрыву, под которым бушует море бед. Но если бы люди при этом понимали, как мало они о том беспокоятся! Пусть каждый спросит себя, готов ли он к тому, чтобы изменить теперешний образ жизни. Менять образ жизни других

¹ Жизненный эликсир (лат.).

людей — это, конечно, прекрасно, и, разумеется, будущее было бы замечательно, не имей мы иных забот. Средневековый ирландец, обвиненный в сожжении Армагского кафедрального собора вместе с находившимся внутри архиепископом, защищался так: «Что до собора, то я его, конечно, спалил, но я никак того не стал бы делать, кабы мне сказали, что там архиепископ». Мы все полны готовности трансформировать образ мыслей наших противников, раз теперь не принято их сжигать. Однако, будь мы даже такими неистовыми реформистами, как тот ирландец, нам вряд ли удастся заставить людей жить на свежем воздухе, получать горделивое удовольствие от своей работы, наслаждаться красотой и не отдаваться всецело только деланию денег. Никакие законы не в силах сделать нас кроткими, как «лилии долины» или «птицы небесные», или помешать нам поклоняться ложным кумирам и пренебрегать усилиями по самосовершенствованию.

Однажды я написал такую, не пользующуюся популярностью, строку: «В настоящее время Демократия напоминает бегущего человека, за которым следует, на все более и более почтительном расстоянии, его собственная душа». Демократия все больше подменяется понятием «современная цивилизация», которая гордится тем, что может задним числом смягчить чинимое ею зло, но которая не может предусмотреть его и еще меньше способна его избежать. Демократия, таким образом, говоря высоким стилем, чисто эмпирическое понятие.

Я нетерпеливо и очень внимательно смотрю на Америку, ожидая от нее многого. После войны она станет гораздо богаче в материальном отношении — более, чем когда-либо прежде; она будет самой значительной и могущественной нацией. Мы, англичане, питаем законный и до некоторой степени тревожный интерес к тому, к какой цели она направит свою силу и по какому пути пойдет ее национальное развитие, так как это в очень большой степени повлияет на наш собственный путь. Однако способность нести истинный свет и умение руководить будут зависеть в Америке не столько от материальных богатств или вооруженной мощи, сколько от отношения к самой жизни и от того, какими будут идеалы ее граждан. Американцы довольно жадно ищут знаний, им свойственна также, при всей их поглощенности успехом, способность мечтать. Они, конечно, желают

добра и стремятся к нему, хотя и не всегда знают, в чем оно заключается. Эти качества в сочетании с материальной мощью открывают перед американцами большие возможности. Однако, если Америка не поднимется против бессмысленной жажды развлечений, нам всем предстоит путь по наклонной плоскости. Если она и дальше будет угрожающе кичиться своим превосходством, если станет стремиться к количеству, а не качеству, нас всех ожидает неприглядное будущее. Если она поддастся болезни гордыни, порождаемой тугим кошельком и военным могуществом, а также погоней за успехом, мы все обречены на новый мировой пожар. На наши и ваши плечи ложится тяжкое бремя — доказать, что демократия может быть действенной и сохранять верность идеалам здоровья и красоты. Как мы распорядимся нашей духовной жизнью, к чему направим мысль человеческую? Что будем почитать, что — презирать? Собираемся ли мы возглавить шествие, руководствуясь духовными ценностями и правдой или только сообразуясь с выгодой и стремлением вооружаться? Англия — старая страна, хотя еще, надеюсь, и полная сил, Америка же стоит на пороге жизни. Выйдет ли она на мировую авансцену как великий предводитель? Над этим Америке стоит тщательно поразмыслить, и не столько в сенате и конгрессе, сколько в домах рядовых ее граждан и в школах. Теперь, когда война кончилась, от вашей страны могут зависеть судьбы цивилизации в будущем столетии. Если она оступится, если она прежде всего не разовьет способность критически относиться к себе самой — с той особенной суховатой иронией, что была свойственна великому Линкольну, — то вскоре на ее земле расцветет исполненный нетерпимости провинциализм, проклятье мира, столь часто уничтожавшее целые народы. Но главное, если Америка не разрешит проблемы жизни в городах, отношений между Трудом и Капиталом, распределения материальных благ, обеспечения народного здоровья и отдастся во власть изобретательства и механизации — она ввергнет себя в полосу анархии, расколов и диктаторских режимов, и все мы последуем за нею...

ОЧЕРКИ КЛАССИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

У искусства две важнейшие функции. Во-первых, оно обогащает эмоциональным опытом. А во-вторых, если только у нас хватит мужества довериться собственным чувствам, оно становится кладезем житейской мудрости. Мы переживаем чувства *ad pauseam*¹. Но мы так и не отваживаемся извлечь из них подлинную истину,— истину, имеющую отношение к нам, и неважно, имеет ли она отношение к нашим внукам.

Как правило, художник— во всяком случае, так было раньше— формулирует мораль и выстраивает рассказ. Но рассказ, как правило, идет свой путем. Две совершенно противоположные морали— мораль художника и мораль рассказа. Не верьте художнику. Верьте рассказу. Достойная задача критика состоит в том, чтобы спасти рассказ от художника, который сочинил его.

Теперь нам известна цель этих очерков: спасти американский рассказ от американского художника.

Обратимся сначала к американскому художнику. Прежде всего, как он попал в Америку? Почему он в отличие от отца перестал быть европейцем?

Слушайте меня, не слушайте его. Он скажет вам неправду, которую вы ждете от него. Что отчасти будет расплатой за ваше ожидание.

Он пришел сюда не в поисках свободы вероисповедания. В Англии 1700 года было больше свободы вероисповедания, чем в Америке. Свободы, завоеванной англичанами, которые хотели свободы и потому остались дома, чтобы бороться за нее. И они ее получили. Свобода вероисповедания? Почитайте историю Новой Англии первого столетия ее существования.

¹ До тошноты (лат.).

И все равно свобода? Земля свободных! Это земля свободных! Что ж, стоит мне сказать что-нибудь к неудовольствию свободной толпы, как она меня линчует, и в этом моя свобода. Свобода? Право, мне не приходилось ранее бывать в стране, в которой человек испытывал бы такой унижительный страх перед своими земляками. Потому что, повторяю, у них есть полная свобода линчевать его, как только он даст понять, что он не один из них...

Отцы-пилигримы и их преемники пришли сюда вовсе не в поисках свободы вероисповедания. Что осуществили они, оказавшись здесь? Неужели это можно назвать свободой?

Они не искали свободы. Или если искали, то печальным образом отказались от этого намерения.

Хорошо, тогда зачем же они пришли сюда? Причин много, и поиски свободы—последняя из них; я имею в виду—подлинной свободы.

Прежде всего они пришли сюда затем, чтобы *уйти*—простейшая из причин. Чтобы уйти. От чего? В далекой перспективе—от себя. От всего. Именно поэтому пришло в Америку большинство людей, и до сих пор идут. Уйти от всего, что они есть и чем были. «Отныне будь без хозяина».

Все это, конечно, прекрасно, но это не свобода. Скорее наоборот. Вид принуждения, от которого не избавиться. Это нельзя назвать свободой, пока не решишь, чем же *в действительности хочешь быть*. А американцы всегда кричат о том, кем они *не* являются. Если, конечно, они не стали или не становятся миллионерами.

Однако же переселение в Америку имело и положительную сторону. Весь этот гигантский поток человеческой жизни, что хлынул через Атлантику из Европы в Америку, поднялся не только на волне отвращения к Европе и стандартам европейской жизни. Впрочем, это отвращение, на мой взгляд, было и до сих пор остается главным побудительным мотивом эмиграции. Но даже и это отвращение имеет свои корни.

Похоже, бывают времена, когда человек испытывает яростное желание уйти от любого контроля. Европой правила старая христианская идея. Церковь и светская власть несли ответственность за эффективность христианских принципов, быть может, не всегда прилежно, но несли.

Основания власти, королевского абсолютизма, отцовского авторитета были подорваны во времена Ренессанса.

И как раз в этот момент началось великое движение через Атлантику. От чего же бежали люди? От старой власти Европы? Что они — разбивали цепи власти и искали новой, абсолютной независимости? Может быть. Но было и нечто большее.

Свобода прекрасна, но люди не могут жить без руководства. Всегда есть хозяин. И люди либо живут в радостном подчинении хозяину, в которого они верят, либо во внутреннем сопротивлении хозяину, которого они хотят сбросить. В Америке это внутреннее сопротивление было жизненно важным фактором. Отсюда и пошли янки. Только продолжающийся наплыв более раболепных европейцев сформировал в Америке покорный трудящийся класс. При этом подлинное подчинение сохранялось в пределах лишь одного поколения.

За чем же тогда отправлялись отцы-пилигримы, начиная свое опасное путешествие через черный океан? Да, это была мрачная решимость. Решительный разрыв с Европой, со старым авторитетом Европы, с королями, епископами и папами. Но больше того. Вглядитесь попристальнее, и увидите — больше. Это были решительные, властные люди, они хотели большего. Быть может, не королей, не епископов. Даже не бога всемогущего. Но также и не нового «гуманизма» в ренессансном стиле. Ничего общего с этой новой свободой, которая выглядела столь привлекательно в Европе. Чего-то более беспощадного хотели они, ни в коем случае не свободного и податливого.

Америка никогда не была податливой, она и сегодня неподатлива. Американцы всегда жили в некоторой напряженности. Их свобода соткана из острой воли, из острого напряжения: свобода библейской заповеди — не сотвори себе кумира, не укради... Только первая заповедь звучит здесь так: НЕ ПРЕТЕНДУЙ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ. Отсюда демократия.

«У нас нет хозяина» — вот крик американского Орла. Или Орлицы.

Испанцы отказались от постренессансной свободы Европы. И испанцы заселили большую часть Америки. Янки тоже отказались — отказались от постренессансного гуманизма Европы. Более всего они ненавидели хозяев. Но следующим по значению врагом был распространя-

ющийся дух вольного европейского юмора. В глубине американской души всегда жила мрачная настороженность; и эта мрачная настороженность ненавидела и ненавидит европейскую раскованность, с радостью следит за ее распадом.

У каждого континента есть свое великое чувство места, у каждого народа — отдельное и особенное положение в пространстве, которое называется домом, родным очагом. У каждого — свои источники жизненной энергии, свой ритм, свой химический состав, свое звездное небо: назовите это как угодно. Но чувство места — это великая реальность. Долина Нила породила не только кукурузу, но и поразительные религии Египта. В Китае рождается китайское, и так будет и впредь. Но китайцы в Сан-Франциско со временем перестанут быть китайцами, ибо Америка — огромный плавильный тигель.

Обособленность была свойственна Италии, Риму. Но теперь этому, кажется, пришел конец. Ибо даже места умирают. У Британских островов был удивительный магнетизм земли, или, если угодно, своя обособленность, и она стала основой английского народа. К настоящему моменту эта обособленность выказывает признаки распада. Может ли Англия умереть? И что произойдет, если Англия умрет?

Люди менее свободны, чем им кажется, увы, гораздо менее. Наиболее свободные, возможно, наименее свободны.

Люди свободны, пока они остаются в живом родном доме, они не обретают свободы, блуждая по миру и отпадая от дома.

Люди свободны, когда они повинуются глубокому внутреннему голосу религиозного чувства. Повинуются изнутри. Люди свободны, когда они являются частью живой, органической, верующей общины, стремящейся осуществить неосуществленную, быть может, неосознанную цель. Но не тогда, когда бегут куда-то на Дикий Запад. Наименее свободные души идут на Запад и кричат о свободе. Люди наиболее свободны, когда они менее всего осознают свою свободу. Крик — это звон цепей, так было всегда.

Люди свободны не тогда, когда делают то, что им угодно. В момент, когда получаешь возможность делать что угодно, утрачиваешь ответственность за то, что делаешь. Люди свободны лишь тогда, когда делают то, что

угодно их глубочайшему «я».

Но надо спуститься в свое глубочайшее «я»! Приходится нырять.

Потому что глубочайшее «я» внизу, а осознанное «я» — упрямый осел. Но в одном можно быть уверенным. Если хочешь быть свободным, надо отрешиться от иллюзии «делай что хочешь» и отправиться на поиски того, что хочет ОНО.

Подлинный день Америки еще не начался. Или, во всяком случае, еще не наступил рассвет. Была только ложная заря. То есть прогрессивному американскому сознанию свойственно лишь одно настоящее стремление — покончить со старым. Разделаться с хозяевами, возвеличить волю народа. Но воля народа — это всего лишь фантом, возвеличение немногого стоит. Итак, во имя воли народа, избавьтесь от хозяев. Но когда вы избавитесь от хозяев, останется лишь фраза о воле народа. Тогда остановитесь, поразмыслите и попытайтесь восстановить собственную целостность.

Вот как обстоит дело с сознательным американским импульсом и с демократией в этой стране. Демократия в Америке — это просто инструмент, с помощью которого уничтожают старого хозяина — Европу, европейский дух. Европа разрушена, и, в перспективе, исчезает американская демократия. Начинается Америка.

Доныне американское сознание являет собою ложную зарю. Отрицательный идеал демократии. Но под покровами вопреки этому явному идеалу возникают первые намеки и проявления ЕЕ. ЕЕ — цельной американской души.

Сорвите с американского красноречия одежды демократии и идеализма — попробуйте разглядеть под ними неясные очертания ЕЕ тела. «Отныне будь без хозяина».

Отныне обрети хозяина...

БЕНДЖАМЕН ФРАНКЛИН

Усовершенствование личности! О боже, что за скучный предмет! Усовершенствование автомобиля Форда! Усовершенствование какой личности? Я представляю собой множество личностей. Какую из них вы собираетесь совершенствовать? Я не механическое приспособление.

Образование! Какие из множества «я», составляющих

меня, вы собираетесь образовывать и какие оставлять во тьме невежества?

В любом случае я не хочу иметь с вами дела.

В любом случае я презираю тебя. Я презираю твои, о общество, попытки образовывать меня либо оставлять во тьме невежества, согласно твоим фальшивым правилам.

Идеальная личность! А ну-ка, покажите мне ее. Бенджамен Франклин или Авраам Линкольн? Идеальная личность. Рузвельт или Порфирио Диас?

Я — это и другие личности, не только этот терпеливый ишак в твидовом костюме, которого вы видите перед собою. Зачем я, собственно, разыгрываю терпеливого ишака в твидовом костюме? С кем я беседую? Кто там на другом конце этого терпения?

Кто вы? Из скольких «я» вы состоите? И каким из них вы хотите быть?

Кто собирается образовывать ваше потаенное «я» — Йель или Гарвард?

Идеальное «я»! Но у меня странное и изменчивое «я», не подпускающее к себе и воющее, подобно волку или койоту, под идеальными окнами. Видите, как горят в темноте его глаза? Это «я», возвращающееся в самое себя.

Совершенствование личности, боже праведный! Ведь каждая личность, покуда остается живой, состоит из множества воющих меж собой личностей. Какую же из них вы собираетесь совершенствовать за счет других?

Старый папочка Франклин скажет вам. Он сконструирует его для вас, образцового американца. О, Франклин был первым собственно американцем. Он знал, чего хотел, этот маленький упрямец. Он создал первый макет американца.

В начале своего пути этот маленький хитрый Бенджамен сформулировал для себя кредо, которое «удовлетворит человека любой веры и не оскорбит никого».

И разве не было истинно по-американски сказать, что — существует единый бог, создавший все (но бога создал Бенджамен),

— он правит миром по своему Промыслу (Бенджамен все знает о Промысле),

— ему следует поклоняться молитвенно и благодарно (что ничего не стоит),

— все же

(не утомляй меня своими «все же», Бенджамен, сказал бог),

— все же наиболее верное служение богу состоит в том, чтобы делать добро людям
(тут у бога нет выбора),
— душа бессмертна
(из следующей заповеди вы увидите почему),
— бог, конечно, вознаградит праведных и покарает порочных, сейчас или потом.

Что ж, если бы мистер Эндрю Карнеги или любой другой миллионер вознамерился создать бога, удовлетворяющего его целям, он бы не смог придумать лучшего. Бенджамен сделал это для него в восемнадцатом столетии. Бог — совершенный слуга людей, стремящихся преуспеть, стремящихся *производить*. Промысел, Промысловик. Божественный лавочник. Бессмертный винодел.

Вот и все, что оставили от бога внуки отцов-пилигримов. Столп из долларов.

— Душа бессмертна
(какую банальность повторил Бенджамен!).

И все же у человека есть душа, хотя ее не найдешь ни в его кошельке, ни в записной книжке, ни в сердце, ни в желудке, ни в голове. Душа человека — его *цельность*. А вовсе не тот симпатичный маленький вкусный кусочек, что выделил Бенджамен.

Странная это штука, душа человека. Это он весь. Что означает — непознанное в нем, так же как и познанное. Мне кажется просто смехотворным, как профессора и Бенджамен определяют функции души. Право, душа человека — огромный лес, а все, что нужно было Бенджамену, — маленький ухоженный сад. А нам всем следует подогнать себя под огородную меру вещей. Ура, Колумбийский университет!

Душа человека — темный лес. Но Бенджамен огородил маленький участок, который назвал душой человека, и начал возделывать его. Поистине промысел! И они думают, будто кусок колючей проволоки способен нас навсегда удержать в загоне? Ну и дураки.

Вот Бенджаменов забор из колючей проволоки. Он составил для себя список добродетелей и исходил его изнутри вдоль и поперек, как лошадь свою конюшню.

1. Воздержанность

Не ешь досыта; не пей допьяна.

2. Молчание

Говори только то, что может быть полезно, другим или тебе; избегай пустой болтовни.

3. Порядок

Пусть все вещи имеют свое место; пусть любое из твоих дел имеет свое время.

4. Решимость

Будь решителен в выполнении своего долга; доводи до конца то, что решил.

5. Бережливость

Не трать денег, если это не приносит пользы тебе или другим, то есть не транжирь.

6. Трудолюбие

Не теряй времени, всегда занимайся чем-нибудь полезным, откажись от всех необязательных дел.

7. Искренность

Не прибегай к пагубной лжи; сохраняя невинность и праведность в мыслях и, если говоришь, говори соответственно.

8. Справедливость

Не причиняй никому ущерба дурными поступками или уклоняясь творить добро, что есть твой долг.

9. Умеренность

Избегай крайностей, воздерживайся от возмущения дурными поступками, даже если они, по твоему мнению, того заслуживают.

10. Чистота

Будь нетерпим к нечистоплотности тела, одежды и жилья.

11. Уравновешенность

Не раздражайся по пустякам или по поводу обыденных неприятностей или неизбежного.

12. Воздержание

Входи в половые сношения редко и только в интересах здоровья и поддержания рода, но никогда из-за скуки, слабости или того, что может нарушить покой и репутацию—твою или другого.

13. Смирение

Подражай Иисусу и Сократу.

Один друг—квакер—сказал Франклину, что его, Бенджамена, все считают высокомерным, так что Бенджамен включил Смирение в список уже после того, как он был составлен. Забавно, какое именно смирение он демонстрирует. «Подражай Иисусу и Сократу» и смотри, как бы не затмить того или другого. Можно представить себе Сократа и Алкивиада, ругательски ругающих филладельфийца Бенджамена, а также Иисуса, взиравшего на него

с некоторым удивлением и говорящего тихим голосом: «Не обезумел ли ты от тщеславия, Бен?»

«Отныне будь без хозяина»,— отвечает Бен. «Будь каждый своим собственным хозяином и даже богу всемогущему не позволяй говорить от своего имени». «Каждый человек есть свой собственный владыка» — есть всего лишь апология безвладычества.

Что ж, первый из Американцев осуществлял эти соблазнительные заповеди с усердием, вырабатывая национальный пример. Он выписывал добродетели в столбик и ставил себе хорошие или плохие оценки— в зависимости от того, что, по собственному мнению, заслужил. Жаль, что этот дневник поведения не дошел до нас. Он отмечает лишь, что камнем преткновения для него был Порядок. Ему никак не удавалось стать аккуратным и опрятным.

Не замечательно ли иметь возможность не признаваться в худших пороках?

Он был наделен какой-то серьезной наивностью. Как ребенок. И как старичок. Он вновь стал подобен маленькому ребенку, неизменно столь же мудрому, сколь его дед, или даже мудрее.

Печатник, философ, ученый, писатель и патриот, безупречный семьянин и гражданин, почему же он не стал архетипом?

Пионеры, о Пионеры! Бенджамен был одним из величайших американских пионеров. И все же нам с ним как-то не по себе.

Что же с ним не так? Или что не так с нами?

Вспоминаю, как в детстве отец покупал мне потертый ежегодник, на обложке которого были изображены солнце, луна и звезды. В нем содержались пророчества кровопролитных битв и голода. Но в уголках страниц ютились короткие анекдоты и юморески вместе с назидательной картинкой. И я, бывало, хихикал самодовольно над женщиной, которая пересчитывает своих цыплят еще до того, как они вылупились из яйца, и все в этом роде, и был убежден, что честность— это лучшая политика, что тоже выглядело несколько самодовольно. Автором этих заметок был Бедный Ричард, а Бедный Ричард— это Бенджамен Франклин, который писал в Филадельфии много больше ста лет назад.

И может быть, я так и не избавился от назидательных картинок Бедного Ричарда. Они все еще изводят меня,

словно шипы, впившиеся в молодое тело.

Потому что, хотя я все еще считаю, что честность — это лучшая политика, я вообще не люблю политику; хотя бессмысленно считать цыплят до того, как они вылупились из яйца, еще более противно, когда их жадно пересчитывают уже *после* того, как они появились. Понадобились долгие годы и бесчисленные испытания, чтобы выбраться из-за этой колючей проволоки, которой Бедный Ричард окружил пастбище морали. И вот я, израненный, изодранный в клочья, пребываю в самом сердце Бенджаминовой Америки и гляжу на колючую проволоку, и тучная овца выбирается за ограду, чтобы набрать вес на свободе, а сторожевые псы лают у ворот, отпугивая тех, кто вздумает случайно воспользоваться обычным выходом. О Америка! О Бенджамен! Я разражаюсь длинным громким ругательством в адрес Бенджамена и американского загона для скота.

Нравственная Америка! Высоконравственный Бенджамен. Крепкий довольный Бен.

Ему как-то пришлось поехать на границу своего штата, чтобы уладить беспорядки среди индейцев. По этому поводу он пишет:

«Мы увидели, что посреди площади они развели большой костер; все они были пьяны, мужчины и женщины ругались и дрались. Их обнаженные темнокожие фигуры, освещаемые только зловещими отблесками костра, преследующие друг друга, обрушивающие на спины удары раскаленных головешек, их жуткие крики создавали картину, с которой ближе всего ассоциировались наши представления об аде. Их было не утихомирить, и мы отправились в свои жилища. В полночь там появилось несколько индейцев, которые, барабана в дверь, стали требовать еще рома, но мы не откликнулись.

На следующий день, поняв, что их поведение доставило нам неприятности, они послали трех делегатов, чтобы принести извинения. Один из них принес извинения, но объяснил все дело ромом, а затем попытался оправдать ром, сказав следующее: «Великий Дух, который создал все вещи, создал их с определенной целью; и что бы он ни задумал, эта цель всегда остается главной. Так что, создавая ром, он сказал: «Да будет ром, чтобы индейцы могли им напиться». И так должно быть».

И в самом деле, если замысел Провидения состоит в том, чтобы искоренить дикарей во имя тех, кто культиви-

рует землю, то не покажется невероятным, что ром был избран в качестве нужного средства. Он уже уничтожил все племена, что ранее населяли побережье...»

В устах добропорядочного, столь изысканно-самодовольного доктора это звучит несколько разоблачительно. Почти слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Но поглядите! Забор из колючей проволоки. «Искоренить этих дикарей ради тех, кто культивирует землю». О Бенджамен Франклин!

Культивируют землю, о боги! Индейцы занимались этим в меру своих потребностей. Но не больше. Кто построил Чикаго? А кто культивировал землю, пока на ней не вырос Питтсбург, а, Папочка?

Моральный итог! Вы только посмотрите! Включая культивацию. Если остался выбор только между Культурой и культивацией, я умываю руки.

Это возвращает нас к вопросу: что неладно с Бенджаменом, почему мы не можем терпеть его? Или — что неладно с нами, раз мы придираемся к столь образцовой личности?

Человек — нравственное животное. Прекрасно. Я — нравственное животное. И собираюсь таковым остаться. Я не позволю превратить меня в маленькое вместилище праведности, чего хотел бы Бенджамен. «Это хорошо, это плохо. Поверните маленькую ручку, и пусть течет вода из крана добра, — говорит Бенджамен и вся Америка вслед за ним. — Но сначала искорените тех дикарей, которые всегда поворачивают кран зла».

Я нравственное животное. Но я не машина нравственности. Я не имею дела с маленьким набором ручек и рычагов. Я не способен извлечь звуки из клавиатуры Воздержанности — Молчания — Порядка — Решимости — Бережливости — Трудолюбия — Искренности — Справедливости — Умеренности — Чистоты — Уравновешенности — Воздержания — Смирения. Право, я не механическое пианино, на котором играет нравственный Бенджамен.

Теперь я по крайней мере знаю, почему терпеть не могу Бенджамена. Он пытается отобрать у меня мою цельность, мой темный лес, мою свободу. Ибо как может быть свободным человек, лишенный бескрайности мира? А Бенджамен хочет загнать меня на участок, огороженный колючей проволокой, и заставить выращивать картошку либо строить города вроде Чикаго.

И как могу я быть свободным, если лишить меня

богов, которые приходят и уходят? Но Бенджамен признает право на существование только за моими добрыми согражданами, а меня от них тошнит; что же касается его божества и его промысла, то его бог правит лишь огромной небесной лавкой, на полках которой выстроились всевозможные предметы, от викторолы до кошек-девятихвосток.

И как может человек быть свободным, если лишить его собственной души, в которую он верит и не согласится отдать ни за какие блага? Но Бенджамен не разрешает мне иметь собственную душу. Он утверждает, что я всего лишь слуга человечества (галерный раб, на моем языке) и что если я не получаю вознаграждения здесь и сейчас — то есть если мистер Пирпонт Морган, или мистер Нози Эбрю, или правительство великих Соединенных Штатов, великих Соединяющих или Разъединяющих, сумеют захватить мой кусочек вместе со своим куском — что ж, нечего расстраиваться, я получу свое вознаграждение там и потом.

О Бенджамен! О Бенджи! Тебе меня уже не одурачить.

У большинства людей интуитивное чувство ценности развито слишком сильно, чтобы испытывать серьезное воздействие интеллектуальных аргументов, сколь бы убедительно они ни выглядели. Нас возмущает отрицание ценностей, мы склонны истолковывать мир в понятиях высокого и низкого. К сожалению, однако, мы подвержены заблуждениям и называем вещи не теми именами, приклеивая ярлык «высокого» к тому, что должно считаться низким, и «низкого» — к высокому. В нашем современном мире эта подмена критериев ценности является продуктом демократии, в Америке подобный процесс зашел дальше всего. Подобная подмена гораздо более опасна, нежели просто отрицание ценностей, ибо она гораздо более распространена. Для большинства отрицание ценностей ужасно; но подмена их — а ценности слишком часто уравниваются с демократическими предрассудками — приятна и лестна. Давайте проанализируем рекламную деятельность мистера Кальбсфляйша и попытаемся проследить процесс извращения ценностей и раскрыть методы их подмены.

Посылка демократии в своей крайней форме состоит в том, что все люди равны и что я ничем не хуже вас. Это столь очевидная неправда, что для того, чтобы заставить поверить в нее любого здравомыслящего человека, нужна целая система надувательства. В Америке этой системой надувательства овладели наилучшим образом. Возьмите пример мистера Кальбсфляйша. Это гробовщик. Его занятие никогда не пользовалось большим уважением, ибо, хотя это и необходимое занятие, нельзя сказать, будто оно требует высоких моральных и интеллектуальных достоинств. Мистер Кальбсфляйш и его коллеги осознали это и возмутились неспособностью части челове-

чества оценить их труд. Как добрые демократы, они решили доказать свое равенство с людьми, которых признают лучшими. Они начали с изменения имени своего занятия. Слово «гробовщик» вызывает низменные ассоциации. Тогда они придумали новое определение — назвали себя «погребателями». «Погребатель» рифмуется с такими высокочтимыми словами, как «ваятель», «просветитель», «учитель», не говоря уж о Праксителе. Что заключено в слове? Многое. Из гробовщиков и обыкновенных торговцев погребатели превратились в художников и членов почти просвещенной касты.

Изменив имя, погребатели затем возвысили и возвеличили свое призвание. Они сделали это очень простым, но необычайно эффектным способом, заявляя, что их долг — служение человечеству.

Понятие служения — кардинальное понятие христианства. Иисус и величайшие из его последователей провозглашали духовную значимость служения и призывали всех мужчин и женщин быть слугами себе подобных. Погребатели, как и все иные американские бизнесмены, столь же безраздельно поглощены идеей служения, сколь святой Франциск и его божественный повелитель. Но деятельность, которую они обозначают словом «служение», несколько отличается от того, чему основоположник христианства дал то же название. Для Иисуса и святого Франциска служение подразумевало самопожертвование, самоотречение, смирение. Для погребателей и других американских бизнесменов служение означает нечто иное: вести дело компетентно, прибыльно и в рамках закона, так, чтобы не попасть в тюрьму. Американские бизнесмены говорят на языке святого Франциска, однако их деятельность неотличима от деятельности менял и торговцев голубями, которых Иисус изгнал из храма тонкохвостой плетью.

Менялы и продающие голубей, несомненно, сопротивлялись, утверждая, что служат человечеству ничуть не хуже, а может, и лучше, нежели их судия. «То, что мы делаем, — должно быть, говорили они, — полезно и необходимо, общество считает нас незаменимыми». На той же основе — настаивая, что они хорошо выполняют необходимые задачи, — американские бизнесмены претендуют на служение, притом служение высшей пробы. Они игнорируют тот существенный исторический факт, что ценности жизни, все то, что служит прогрессу цивилизации, как

раз лишено необходимости. Научные изыскания, искусство, религия по сравнению с изготовлением гробов и завтраков лишены необходимости. И если бы мы все еще поклонялись необходимому, мы доныне остались бы на уровне обезьяны. В соответствии с любым разумным критерием ценностей ненеобходимые вещи и ненеобходимые люди, которые с ними связаны, имеют гораздо большее значение, нежели необходимые. Возвышая просто необходимое до уровня ненеобходимого, американский бизнесмен фальсифицирует критерии ценностей. Служение погребателя или агента по продаже недвижимости уравнивается со служением художника или человека науки. Таким образом, Бэббит может быть по совести убежден, что он и ему подобные делают для человечества не меньше, чем люди типа Пастера или Исаака Ньютона. Кальбсфляйш, возвышаясь среди своих украшенных шелком гробов, полагает себя равным Бетховену. Удачливые маклеры, убежденные в том, что Бизнес есть Религия, возвращаясь домой после спекуляций на бирже, могут по праву чувствовать себя столь же счастливыми, сколь и Будда, когда на него снизошло озарение и он отрекся от мира.

Везде и всегда мир состоял по преимуществу из Бэббитов и крестьян. Они незаменимы, необходимая работа должна быть сделана. Но только сейчас и только в Америке необходимые миллионы почитают себя равными ненеобходимым избранным. В Европе все еще удерживаются старые критерии, все еще сохраняется хотя бы призрак старой иерархии. Разбогатевший выскочка может презирать человека науки за его бедность; но все еще испытывает почтение к его знаниям, к его высокому интеллекту и бескорыстию. Техника надувательства, используя которую можно превратить удачные биржевые операции в занятие столь же достойное и благородное, сколь и научные исследования, художественное творчество, в Европе еще не разработана, она едва открыта. Правда, многие хотели бы видеть ее — завезенную в готовом и усовершенствованном виде из-за океана — в действии. Но я верю, я даже почти убежден, что их всегда будет ждать разочарование.

Тем временем на другой стороне Атлантики подмена ценностей осуществляется с прогрессирующей быстротой. Нынешняя ситуация такова: достойными объявляются те предметы и люди, которым раньше придавалось третье-

степенное значение... Тупоумие, ограниченность, бизнес провозглашаются высшими добродетелями. Интеллект, независимость и бескорыстная деятельность—бывшие некогда предметом восхищения—превращаются в пороки, подлежащие уничтожению. В Теннесси и других отдаленных районах уже начался крестовый поход против них. Остается ожидать, охватит ли этот процесс подмены ценностей весь континент.

НЬЮ-ЙОРК

Теперь, когда свобода вышла из моды, равенство как понятие подорвано, а братство признано невозможным, республикам следует изменить свои лозунги. Интеллект, Бессилие, Несостоятельность—это подойдет для современной Франции. Но не для Америки. Американский лозунг должен звучать совершенно иначе. Национальный девиз должен соответствовать фактам национальной жизни. Я бы написал под распростертыми крыльями американского орла следующее: Энергия, Процветание, Новизна.

Начнем с последнего, с новизны. Новизна в данном контексте может быть определена как свобода (по крайней мере в области практической, материальной жизни) от традиционных связей и давних предрассудков, от преемственности и унаследованных прав; коротко говоря, свобода от истории. Перемены воспринимаются в Америке как факт первостепенного и фундаментального значения, при этом воспринимаются не так, как другими народами,—как зло, которому должно противостоять, используя институты стабильной общественной структуры и производя предметы достаточно прочные и надежные, чтобы не превратиться в легкую добычу времени. Они воспринимаются как благо, как основа и способ практического существования. Большинство предметов в этой новой стране имеют временный характер, они рассчитаны на то, чтобы продержаться, пока нечто лучшее или по крайней мере более новое не займет их место. Дома по всей стране окружены атмосферой бренности; пейзаж, которого коснулась рука человека, выглядит раздробленным и незавершенным. Заводы постоянно модернизируются; половина их прибыли предназначена на расходы по этому непрестанному обновлению. Сорока-

летней давности паровозы, странным, почти невероятным образом напоминающие доисторических монстров, все еще громыхают по европейским рельсам. Любая уважающая себя американская железнодорожная компания сочтет себя опозоренной, если будет использовать паровозы, которым больше десяти лет от роду. Да и двигатели не продержатся дольше; вещи здесь идут на металлолом, едва пережив свое детство. На перемены молятся, ими восторгаются. Вот что такое новизна.

Далее — процветание. Америка — полунаселенная страна, изобилующая естественными ресурсами. Методы ведения дел — за исключением, быть может, Востока — не скованы старыми традициями исчезнувших форм цивилизации. Традиции феодальных времен, традиции сельскохозяйственного и ремесленного производства немало способствовали тому, чтобы замедлить индустриальный рост Европы. Большая часть Америки начинала свободной от любых предрассудков. В Калифорнии на каждых трех жителей приходится по автомобилю, и, учитывая местные обстоятельства, этому не приходится удивляться.

Говоря математическим языком, американская энергия есть функция процветания и модернизации. Недостаточно накормленному человеку требуется много времени для отдыха. Посади их на индийскую диету, и американцы утратят значительную часть своего интереса к рациональному ведению дел, своей живости и своей любви к чарльстону. Большую часть досуга они начнут проводить в дреме или в медитации — двоюродной сестре дремы. Но у них достаточно еды, больше чем достаточно, по правде говоря. Они могут позволить себе действовать локтями, более того, они должны действовать локтями, иначе рискуют умереть от полнокровия. Мужчины и женщины, которые запивают бифштекс жирным молоком, просто должны трудиться достаточно энергично, чтобы уцелеть.

Психологический эффект процветания не менее впечатляющ, нежели физический. В странах победнее ненадежность существования держит значительные группы населения в состоянии хронического страха. Призрак безработицы постоянно преследует и работников физического труда и служащих. В Европе нужно так немного, чтобы низвергнуть человека среднего класса в пропасть, где пребывают обездоленные; под ногами он постоянно ощущает бездонную яму нищеты, в которой уже оказалось так много рабочих. Страх, постоянный страх пресле-

дует, окутывает мрачной пеленой. Страх — враг жизни, он сковывает душу и тело. Вот почему в остальных районах Европы царит такая апатия.

В Америке такой страх вряд ли существует: там нет причин, которые могли бы помешать людям хорошо зарабатывать. Точно так же в этой стране понижение статуса — был клерком, стал, положим, фабричным рабочим — не считается постыдным, как в более старых странах, где до сих пор сохраняется предрассудок, будто ручной труд есть нечто унижительное и не заслуживающее уважения. Потому американский средний класс, в общем, свободен от страха утратить клановые привилегии. Свободные от страха американцы живут с верою в будущее, которая и питает их энергию. Щедрое расточительство, немислимое в других странах света, здесь стало правилом. Мужчины и женщины много зарабатывают и тратят то, что имеют, на всякого рода развлечения, которые общедоступны и стимулируют энергический образ жизни.

Модернизация также направлена на то, чтобы повышать энергию, — или, точнее говоря, она воздействует на способы внешнего проявления энергии, придавая ей форму решительного действия. Радостное приятие перемен, которое столь глубоко воздействует на американскую индустрию, методы ведения дел и архитектуру жилищ, оказывает также влияние и на повседневную жизнь людей. Удовольствие ассоциируется с переменой мест, среды, наконец, просто с движением во имя самого движения. Люди уходят из дому, если им хочется поразвлечься. Они находят выход своей энергии в посещении разного рода общественных мест, дансингов или в автомобильных прогулках — что угодно, лишь бы не сидеть покойно у своих домашних очагов (или, скорее, у своих домашних радиаторов). То, что называют «ночной жизнью», достигло в Америке невиданного расцвета. И нигде, пожалуй, так мало не говорят. Энергия в Америке самым очевидным образом получает свое наиболее действенное выражение. Потому может показаться, что американцы наделены даже большими запасами энергии, чем на самом деле. Человек может быть энергичен и в то же время сохранять спокойствие; его сдержанность можно ошибочно принять за апатичность. Но относительно людей, которые пляшут и куда-то вечно несутся, ошибки быть не может. Американская энергия всегда выражает

себя непосредственно. Она выплескивается под звуки барабанов и саксофонов, под трезвон телефонных аппаратов и трамваев. Она облекается в формы мчащихся автомобилей, огромных ревущих толп, речей, банкетов, «кампаний», лозунгов, фейерверков. Она вся — движение и шум, с каким вода выливается из ванны — до полного опустошения. Да, до полного опустошения.

НЬЮ-ЙОРК

Америку обычно представляют страной пуританизма. И это действительно так, что сможет обнаружить любой путешественник. Но тот же путешественник, к своему вящему удивлению — если только он приехал сюда, отягченный грузом привычных представлений об этой стране, — обнаружит, что раблезианская распущенность не менее характерна для этой страны, нежели пуританская строгость. В Филадельфии респектабельные книготорговцы не держат «Юргена» Кэбелла. В Бостоне Общество охраны нравов запретило распространение журнала «Меркюри», и в том же городе по крайней мере один из моих собственных романов продается из-под прилавка, как виски. Я останавливался в отелях среднезападных штатов, где находили неприличным для моей жены курить в общественных помещениях. И хотя я не бывал на Юге, мне приходилось читать в газетах поразительные истории о тех преследованиях, которым подвергаются там неверные жены и грешные мужья. Можно привести и множество других примеров американского пуританизма. Список получится длинным и забавным. Впрочем, и приведенных образцов достаточно для того, чтобы подтвердить старое представление о том, что Америка — пуританская страна.

Но в то же время это одна из наименее пуританских стран, где мне когда-либо приходилось бывать. В нью-йоркских театрах можно увидеть пьесы такого содержания, которые вряд ли увидишь в любом другом городе мира. Я уж не говорю о демонстрации обнаженных натур, рассуждения на эту тему стали общим местом — везде, кроме, быть может, страны, которую осваивали отцы-пилигримы. И уж во всяком случае, пуритане воспринимают спектакли и вообще зрелища гораздо терпимее, чем слова. Лишь несколько месяцев назад лорд Чемберлен

наконец дал разрешение на постановку пьесы Бернарда Шоу «Профессия миссис Уоррен». Между тем бесчисленные постановки в откровенно порнографическом духе не встречали препятствий на протяжении четверти века, пока «Миссис Уоррен» была под запретом. Преступление Шоу состояло в том, что он искренне и серьезно поставил вопрос о проституции. Он затеял обсуждение определенных проблем, он употребил определенные слова. Пуритане предпочитают прикрывать рот фиговым листком. В свете этой пуританской идиосинкразии тем более поразительной выглядит словесная откровенность целого ряда пьес, идущих в Нью-Йорке на протяжении последних месяцев,— пьес, в которых нет демонстрации обнаженного тела, но в которых все называется своими именами, а порой употребляются и вовсе грубые, вполне откровенные слова. Вспоминаю, например, пьесу под названием «Похитители младенцев». Это комедия в стиле времен Реставрации, но приближенная к современности— Уичерли, лишенный изящества оригинала. Это и впрямь нечто иное, нежели комедия времен Реставрации. Ее сюжет, где три пожилые дамы нанимают в любовники трех молодых людей, близко напоминает сюжет комедии Флетчера «Деревенские нравы», которую Драйден, защищая театр времен Реставрации от нападок Джереми Колльера, назвал самой неприличной пьесой той поры.

И это не исключение. Пьеса «Секс» вполне оправдывает свое название. Столь же показательны «Лулу Белль» и «Шанхайская история». Наиболее красноречивый эпизод из пьесы «Джентльмены предпочитают блондинок», которую я видел в Чикаго, отличался здоровым раблезианским юмором, что лично мне очень понравилось. Но что скажет по поводу этих шуток в духе Гаргантюа мистер Самнер из нью-йоркского общества борьбы с пороком? Что скажет целомудренный мистер Чейз из Бостона? Это было бы интересно узнать.

Дух антипуританизма проявляет себя не только в театре; его можно ощутить и в американской жизни. В одних районах страны запрещают курение и добровольные ревнители общественных нравов останавливают автомобили, чтобы проверить брачные свидетельства путешественников. А в других— отношения полов отличаются легкостью, интимностью и, как бы это сказать, воспринимаются доброжелательно. Путешественник, приехавший на западное побережье Америки непосредствен-

но из Парижа или Лондона с их условностями и респектабельностью, будет поражен, увидев, как уважаемые члены общества обнимаются и обмениваются поцелуями в ресторанах и дансингах. Он будет поражен откровенностью, с которой люди обсуждают свои частные дела — причем так громко, что наиболее интимные детали становятся достоянием тех, кто стоит на удалении в несколько ярдов. Он оценит почти африканский стиль танцев, а всеобщая атмосфера шумного веселья, которая пронизывает ночную жизнь в Америке, заставит его задуматься, не лучше ли было бы несколько смягчить сухой закон, чтобы несколько уменьшить потребление виски. В современной Америке Рим времен Катона и Рим времен Элиогабалуса сосуществуют и процветают с невиданной энергией.

АМЕРИКА И РАВЕНСТВО

Никто не сомневается, что Американская мечта существует. Сами американцы постоянно напоминают об этом. О ней твердят в своих речах политики, о ней говорится в трудах историков, в патриотических декларациях и поэтических радиокомпозициях. А не столь давно Американская мечта обрела спутника в лице «американского образа жизни». И конечно, именно он и есть воплощенная Мечта. В школах детей наставляют в духе знаменитого изречения Линкольна: «Американцы должны хранить верность идее об изначальном равенстве людей: все люди созданы равными». Американские школьники заучивают наизусть слова из Декларации независимости: «Мы считаем само собой разумеющейся истину, что все люди созданы равными, что они наделены Творцом определенными и неотчуждаемыми правами, что среди этих прав — право на жизнь, свободу и стремление к счастью». В обоих знаменитых утверждениях, обратите внимание, ударение сделано на равенстве. Итак, ясно, что Американская мечта есть мечта о равенстве. При этом подразумевается, что Мечта эта полностью осуществлена. С официальной точки зрения так оно и есть. И каждый американец тоже в этом искренне убежден, что оказывает глубокое воздействие на все его мировосприятие.

Но давайте взглянем на проблему с другой стороны. Давайте припомним два обстоятельства, о которых часто забывают за пределами Соединенных Штатов, но никогда — в самой стране. Первое: Соединенные Штаты возникли вследствие революции, не просто отпадения колонии от метрополии, но настоящей революции, в ходе которой со всем, что внушало отвращение прогрессистам XVIII столетия, было покончено, а все, что они одобряли, было воплощено в жизнь (и наши американские друзья из чувства справедливости могли бы не забывать,

что в Англии у них было немало сторонников). А второе обстоятельство заключается в том, что, по мнению отцов-основателей и их потомков, революция выполнила свое предназначение — свершилась полностью. Рубикон был перейден. Величайший за всю историю человечества эксперимент увенчался успехом. Если вы хотели покончить с королями, лордами, баронами, инквизицией, тайной полицией, ущемлением прав личности и всякими прочими отвратительными и устаревшими, тираническими установлениями Европы, если вы желали политического и социального равенства, свободы вероисповедания и слова, если вы стремились к собственному счастью, вам следовало пересечь Атлантический океан и начать все сначала на этой возлюбленной богом земле. Как писал Стивен Винсент Бене: «Всем европейцам, желавшим переселиться в Америку и помогать в осуществлении эксперимента, был открыт туда доступ при условии, что у порога они отринут все прежние убеждения. Они должны были заявить во всеуслышание, что американский образ жизни — единственно правильный и всякая критика его невозможна». Да, это была революция полностью осуществленная, и единственно, о чем следовало заботиться, так это как шествовать по предначертанному пути все вперед и вперед.

Мы знаем, как далеко ушла Америка. Теперь это, конечно, богатейшая страна и самая устрашающая сила на свете. И в мирное время, и в войну нельзя безнаказанно оспаривать ее силу. Она владычица планеты. Сто лет назад, когда Диккенс путешествовал по Америке, было очень смешно видеть, как эти неотесанные, хвастливые, беспрестанно сплевывающие янки с гордостью показывали свои жалкие, маленькие городишки со звучными греческими названиями. Теперь настала их очередь смеяться. Мечта мятежных плантаторов, фермеров и охотников, мечта эмигрантов, потевших в трюмах океанских кораблей, воплотилась в действительность. Похоже, Джефферсон и Линкольн, Эмерсон и Уитмен оказались пророками. Народ, храбро провозгласивший, что все люди созданы равными, опередил тех, кто считал его горсткой новоиспеченных колониальных идеалистов. В конце концов этот народ даже спас от саморазрушительных сил Европу, которая так часто над ним насмеялась. Да, действительно, у американцев есть основания для самодовольства. В такой ситуации любой народ чрезвычай-

чайню гордился бы собой. Мы тоже, подобно большинству американцев, считали бы себя избранным народом; мы тоже полагали бы, что революционная Мечта, какой она была когда-то, реализована ныне в единственно правильный и такой успешный образ жизни и что другие народы, не желающие его принять, либо негодяи, либо просто глупцы.

Все сказанное помогает уяснить то в американцах, что поражает большинство не-американцев, уяснить, как уже отмечал Бертран Рассел, разницу между патриотизмом нашим и американским. Наш патриотизм — нечто главным образом биологическое, инстинктивное, подсознательное. Американский патриотизм носит идеологический характер, он — производное от сознания, от умения рассуждать. Для нас, по словам Рассела, «собственная страна — родина, для американцев — Град божий на Холме».

Этот патриотизм объясняет также странное смешение у американцев — политиков, журналистов и общества в целом — узконационалистических интересов и благотворительного идеализма. Все они служат идее и своей стране. Во имя этой идеи они готовы в случае необходимости совершать жестокие поступки, но так как их идея выражена в возвышенных формулировках и знакомых с детства сентенциях, американцы должны быть на высоте понятий, связываемых с альтруизмом и преданностью идеалу. Это обстоятельство помогает также уяснить, почему среднему американцу не нравится Советская Россия. Дело не только в противостоянии капитализма и коммунизма. Это противостояние революции старой, выполнившей свою миссию, и революции новой. Раз существует американская революция с ее великолепной Мечтой, которая вызвала к жизни такой положительный и выгодный американский образ жизни, то к чему нам еще некая русская революция на новый лад, совсем не похожая на нашу? Коммунизм отвергает Американскую мечту, смеется над американским образом жизни, поэтому средний американец относится к коммунизму враждебно. И в этом его нередко поощряет большой бизнес. Правда, необходимо помнить, что многие американцы относятся с недоверием к большому бизнесу, но при этом все же недолюбливают и коммунизм в силу преданности своей собственной американской революции, наследниками которой они себя считают.

Удивительно быстрое промышленное развитие Соединенных Штатов, особенно после Гражданской войны,— нечто большее, чем результат географических условий. Идея «все люди созданы равными» — идея освободительная в широком смысле слова. Она дала возможность проявиться множеству талантов, которые в Европе были бы зарыты в землю. Энергичным и способным людям в Америке открывались перспективы, как нигде в мире. Когда вы осваиваете еще не изведанные земли, главным препятствием, сдерживающим и мешающим на каждом шагу, становится старая классовая система. Каждый человек имеет право заниматься делом, которое ему по плечу, но успешное освоение новых земель могло совершаться только в условиях демократии. Классовые различия на границе просто-напросто смехотворны. И еще одно: если мужчины и женщины живут полной опасностей, многотрудной жизнью, как и полагается пионерам, они должны быть уверены, что их усилия увенчаются блестящей победой. Этой мысли можно придать политический аспект, и вот появляется легендарный символ: бревенчатая хижина, путь из которой неукоснительно ведет в Белый дом. Или же приманкой становятся большие деньги и сопутствующая им власть — и вот возникают бесчисленные предания о босоногих мальчишках, которые стали миллионерами. Доллар — олицетворение успеха, и американцы очень много говорят о долларах не потому, что они любят деньги больше, чем другие народы, — они, в сущности, беззаботный и добрый народ, — но потому, что им очень важен успех как таковой. Это их равенство развило в американцах дух рьяной конкуренции, и создается впечатление, будто только этого и не хватало, чтобы сделать громадные новые территории плодородными и процветающими. Если там, где человек родился, ему не открывалось больших возможностей, если он был сомнительного происхождения и страдал от высокомерия окружающих, можно было податься в другие места, и обычно подавались на Запад. Там для всех хватало места, и это была настоящая Америка, где можно было чувствовать себя свободным и равным и где все зависело от тебя самого. Так что Мечта во всем своем блеске тоже упорно двигалась на Запад.

Об этом свидетельствует и популярная американская литература, для которой Мечта о равенстве всегда была священной. Литература тоже продвигалась на Запад

вместе с Мечтой и снова и снова рассказывала все ту же историю о человеке с Востока, который где-то на границе Дикого Запада открыл для себя немеркнущие американские ценности. Или же в популярных романах повествовалось о замечательном, честном демократе с Запада, который, оказавшись среди высокомерных и утонченных бездельников в каком-нибудь из восточных штатов, задавал им хорошую взбучку к их же собственной пользе. Даже самый плохонький сегодняшний вестерн с его надоевшими ковбоями и шерифами чем-то подспудно обязан этой изначальной идее осуществленного общественного равенства. Однако по мере заселения Запада тем американским романистам и драматургам, кто все еще верил в Мечту, приходилось уже оставаться дома и сражаться за нее в родных краях. Им пришлось, образно говоря, открывать новый Запад — в трущобах Ист-Сайда или на пораженных бедностью фермах. Неимущий молодой человек, настоящий американец, появился в этих поздних романах и драмах, чтобы бросить вызов богатым и могущественным, консолидировавшимся в господствующий класс. Затем героем американской литературы стал иммигрант, который, не владея английской речью, тем не менее лелеял в сердце Мечту. Но к концу первой мировой войны ситуация весьма осложнилась. В шумные и бесшабашные «двадцатые» писатели, защищая простую и здоровую Мечту, обрушились на безудержную тягу к материальному преуспеянию и чрезмерную стандартизацию жизни. В первой половине тридцатых, в годы Великой депрессии, писатели открыли для себя Маленького Человека, живущего на пособие и не имеющего перспектив получить работу. Равенство его стало казаться весьма сомнительным. Прежний оптимизм уступил место чувству безысходности и горечи. Когда же диктаторы в Европе стали произносить речи и вооружаться, «американский образ жизни», опираясь на здравый смысл, принял облик «нового курса» и стал любимой фразой в народе. Мечту обрели вновь. Более того, она стала еще упоительнее и расцвела как никогда. За сто лет до этого Америка была Вратами Спасения, страной обетованной для толп европейских ремесленников и отчаявшихся крестьян. А теперь, в конце тридцатых годов, когда потоку ремесленников и крестьян был поставлен заслон, Америка снова оказалась Вратами Спасения, землей обетованной для некоторых самых знаменитых граждан

Старого Света, великих ученых, писателей и музыкантов, бежавших сюда от фашизма и грядущего краха Европы. В «Поступи времен», фильме, снятом на эту тему, «Голос Времени» горделиво вещал: «Сотни гениальных и талантливых европейцев прибыли в Новый Свет в надежде — как до них другие иммигранты — приобщиться к животворному потоку, имя которому — Америка». А немного погодя тот же голос убеждал, что эти поздние пришельцы вкупе с более ранними «прибыли в Америку, чтобы начать новую жизнь и обрести, каждый своим путем, Американскую мечту», но интонация была совсем другая, ничего общего не имеющая с тем тоскливым смятением и чувством безнадежности и поражения, которые звучали в начале тридцатых. И вот уже писатели, поэты, публицисты, радиокомментаторы, словно ослепленные и зачарованные блеском Мечты, воспевают, как сотня маленьких уitmenов, новое видение Америки. Небывалый, неземной свет любовно покоится на обычной аптеке или заправочной станции. Любой полицейский, водитель грузовика, женщина в магазине, девушка на свидании с солдатом приобрели благодаря им какое-то дополнительное, мистическое значение. Все они — участники эпического священнодействия: американский народ на американской улице разговаривает американским языком об американских делах — вот что такое американский образ жизни.

Война уже застала американцев в этом возбужденно-самодовольном настроении и усилила его. Все, что делалось, свершалось под немеркнущим светом Мечты. Свободные и равные американцы, тысячи рядовых персонифицировались в одну-единственную героическую фигуру солдата, «джи-ай» Джо, который лучше всех на свете. Будем справедливы: Джо отправился на край света и хорошо воевал там, как и подобает этому замечательному парню. Мы все многим ему обязаны и должны быть ему благодарны. Его самого не в чем упрекнуть, однако атмосфера, окружающая его в собственной стране, в фильмах и журнальных рассказах, весьма специфична, по временам сентиментальна до приторности и почти истерична. Такое впечатление, что привычное, старое, вполне благожелательное отношение к солдату уже недостаточно хорошо, и следует этот символический образ накачать под высоким давлением. Бедный парень едва успевает облачиться в солдатскую форму, а мы уже видим, как он умирает от ран или покоится в одинокой могиле

далеко-далеко от дома. Я, наверное, прочел с десятков таких рассказов в американских журналах, издатели которых в совершенстве изучили вкусы своих читателей. В этих рассказах не то что ранение — самое мимолетное участие в боевых действиях изображается как хождение по мукам. Вот Джо покинул наконец ад под радостные клики земляков: «Привет, Джо!», и эти слова звучат как пароль на вход в волшебную страну равенства, вознесшуюся над дымящимися и пахнущими серой безднами преисподней. Но как бы демократично ни звучали эти приветствия, такая атмосфера совсем не соответствует ситуации: простой, рядовой гражданин выполняет свой прямой, само собой разумеющийся долг.

Разница в интонации между английскими и русскими фильмами о войне, с одной стороны, и американскими — с другой, в высшей степени примечательна. Частично это можно объяснить тем, что война шла так далеко от Америки, но, полагаю, это объяснение недостаточно. Причина была еще и в том, что война разразилась тогда, когда струны, на которых исполнялись гимны во славу Мечты, и медь оркестра, трубившая в честь американского образа жизни, звучали оглушительнее, чем прежде. Конечно, в этих славословиях была доля истины, но тем не менее звук был слишком форсирован, а в гимнах слышалось такое сознание собственной незаменимости, такой восторг, что они казались не совсем искренними. Впрочем, возникавшие сомнения умело и осторожно заглушались. Однако истина всегда спокойна. Когда мы в чем-то абсолютно уверены, мы не вопим в экстазе, не восклицаем, не топаем ногами.

Большинство людей склонны к добру. Думаю, что американцы, хотя их теперешнее состояние может быть опасно и для них самих, и для окружающих, в основе своей тоже народ хороший. Об этом свидетельствует, как мне кажется, самая суть их Мечты — непритязательное видение будущего, простое, наивное и доброжелательное.

Вот человек возвращается наконец в свой городок, где он провел детство и где все знают, кто он и что он. «Привет, Джо!» — говорят ему, широко улыбаясь. И он разгуливает по улицам, болтает со стариками соседями, иногда ходит на рыбалку и в простой рубашке с короткими рукавами садится играть в покер с Доком и другими парнями. В сердцевине Американской мечты лежит именно этот символ — возвращение домой человека, который

оправдал свое назначение, и мотив сей звучит бесконечно. Это—возвращение к простым радостям мальчишества, к тому, что легко дается, незамысловато, исполнено теплых дружеских чувств. Это как бы вечный День благодарения. Это—побег из одной Америки, такой мрачной, запутавшейся, что вынести жизнь можно лишь напившись до упаду, в Америку иную, ту самую истинную Америку, о которой мечтали Джефферсон и Линкольн, Уитмен и Твен,—Америку провинциальную, простую, ясную, освещенную утренним солнцем, где люди знают, что созданы равными, что они навсегда порвали с тиранией Старого Света, и где деревья на западной границе, сияющие осенним золотом, не имеют ничего общего с увядающими лесами прежней Родины. Даже турист может уловить видение такой Америки—мне это известно по собственному опыту. Но это видение недолговечно, ведь это не подлинный американский образ жизни. Это—Мечта, разумеется добрая мечта, и только народ, еще не испорченный в душе, может следовать за ее звездой.

О свободе американцы говорят и пищут так же много, как и о равенстве, но часто это лишь слова, привычка, послеобеденная болтовня—«треп». У них нет такого же искреннего желания обрести свободу, как равенство. Они не стремятся к ней так упорно, как англичане. Мнение, что американец располагает самой большой свободой в мире,—величайшее заблуждение. (Обратите, кстати, внимание, как журналисты, по тридцать лет исполняющие приказы Уильяма Рэндолфа Херста, издеваются над русскими журналистами, якобы пишущими по указанию Коммунистической партии.) Это американское заблуждение идет из далеких времен. Американская революция освободила людей от гнета и тирании, характерных для Европы XVIII века. Однако слишком многие из американцев воображают, что положение не изменилось и ничего не произошло с тех самых пор, когда Джефферсон набросал черновик Декларации независимости. Этим часто пользуются беспринципные политиканы вроде мэра Чикаго Томсона, который имел обыкновение утверждать, что никогда-никогда не позволит королю Георгу V вмешиваться в дела города. Он, однако, ни словом не обмолвился о гангстерах, которые распоряжались жизнью граждан Чикаго. Мэр Томсон по разным понятным причинам предпочитал вести баталию двухвековой давности и

притворяться, что Георг V—это Георг III. Мне могут возразить, что безответственная чепуха, которую нес Томсон, совершенно нетипична. Но дело не только в том, что он доводил до абсурда весьма распространенную точку зрения. Он при этом ни на миг не забывал, что большинство избирателей еще в школе выучили все относительно Войны за независимость и с тех пор не слишком много размышляли о проблемах общественной жизни. Этот трюк часто удается.

Тысячи речей, которые держали и держат реакционные американские общественные деятели, начинаются с декларации, что свобода существует только в Соединенных Штатах,—тем удобнее им потом требовать расследования так называемой «антиамериканской деятельности». Подобные инквизиторские настроения не очень-то свидетельствуют в пользу истинного свободолюбия. Если американец не смеет критиковать американский образ жизни, значит, этот образ жизни не означает настоящей свободы. То, что считалось свободой в 1776 году, может не иметь с ней ничего общего в 1946-м. Можно освободиться от того, что посягало на свободу раньше, и в то же время этой свободе могут угрожать опасности более злободневные. Например, одно из самых важных завоеваний свободы—право ученого настаивать в том, что он считает истиной; это право—одно из главных завоеваний человечества в вековой борьбе за освобождение. Но контроль, осуществляемый во многих американских университетах со стороны попечителей-бизнесменов, которые часто решают, чему нужно, а чему не нужно учить студентов, есть серьезный вызов свободе. Опять-таки если газеты, журналы и кино все больше подпадают под власть небольшой группы сверхбогачей, которые склонны лелеять свои предрассудки, тогда свобода слова других общественных групп прискорбно ущемляется. Есть и иные виды цензуры, помимо тех, которые являются прерогативой самовластных государственных учреждений и политической полиции (и американцы весьма гордятся тем, что от них они защищены конституцией). Однако коммерческие интересы, нити которых сосредоточены в руках богатых и сильных, часто оказывают давление, которое, по существу, исполняет те же функции, что и цензура. И это давление тем опаснее, что цензурой его не считают. Всего этого не предвидели в XVIII веке, и в официальных документах на сей счет ничего не сказано.

Но в наши дни все это существует. В теории со свободой может быть все в порядке, но на практике ее трудно бывает осуществить. Если, к примеру, вы живете в обществе, где никто вас не берет на работу, потому что вы рьяный сторонник социализма и соседи поэтому неодобрительно относятся к вашей жене, а местные лавочники грубят ей, если детям вашим достается в школе, если двери всех учреждений закрыты перед вами, тогда свобода исповедовать те политические взгляды, которые вы желаете исповедовать, становится весьма рискованной. Частые рассуждения об американском «праве личности» означают в большинстве случаев свободу действий для оборотистых богачей, которым дела нет до нужд и чувств остальных членов общества. Этот их «исконный» индивидуализм ничего общего не имеет с настоящей личностной ценностью, которая обычно связывается с понятием свободы. Напротив, этот индивидуализм не очень-то в ладах со свободой. Что же касается провинции, то тут серьезным орудием общественного давления, помимо индивидуальной воли, могут быть различные местные предрассудки. Почва для этого подготовлена. После Гражданской войны, когда стране требовалась дешевая рабочая сила, в Америку прибыло около сорока миллионов иммигрантов из разных стран Европы, и надо было как можно скорее американизировать вновь прибывших. На них поспешно пригонялось одно и то же платье, сработанное по американским меркам. Это и был американский образ жизни, и все прежние шведы, немцы, итальянцы, поляки, евреи должны были научиться жить по этим меркам. Поэтому дети и внуки иммигрантов, естественно, должны были рассматривать американский образ жизни не как один из многих, не как национальное явление, но как образ жизни, единственно возможный для приличных людей.

Большая часть произведений американской литературы, особенно в двадцатые годы, содержала протест против чрезмерной стандартизации бытия, тирании общепринятости («Бэббит» — великолепный образец этого рода литературы). Следует сразу же сказать, что американцы являются (или были до недавнего времени) своими самыми суровыми и язвительными критиками. Снова и снова их писатели и наиболее проникательные мыслители делают мишенью это обожествление прогрессивной пошлости, эти нападки посредственности на все лучшее и

попытки втиснуть в русло общепринятого все выдающееся и неповторимое. Своеобразный горький юмор — характерный и весьма ценный вклад американских писателей в сокровищницу мировой культуры, и юмор этот не что иное, как жестокая издевка над тираническим и самодовольным кодексом морали и поведения. Это — произведения авторов, которые чувствуют себя до глубины души возмущенными тем, что видят, но придают своему возмущению шуточный характер. (Вспомните, например, источающие яд и горечь рассказы популярного юмориста Ринга Ларднера.) Да, Америка со своим торжествующим образом жизни — страна богатая, могущественная, во многом достигшая блестящих успехов, но в то же время это страна разочарования и цинизма, безразличная и черствая к неудачникам.

Да, человек имеет здесь полную возможность проявлять неудовольствие, его никто не заставляет быть оптимистом, если он того не желает. Да, здесь в области литературы, журналистики, драматургии и (меньше) кино свобода утвердила себя в значительной степени, и американцы имеют основание говорить об этом. Писатель и его коллеги из смежных областей искусства еще обладают правом бороться за права личности. Но когда к писателю приходит неимоверно льстящий самолюбию успех, в действие запускается механизм неофициальной цензуры, и спустя десять лет после дебюта многие блестящие молодые американские мятежники бросают оружие и сдаются в плен Голливуду или журналам, которые рекламируют американский рай. А средний американец, для которого столь искусно трудятся и Голливуд, и эти журналы, даже не помышляет о свободе в настоящем смысле слова. Такого среднего американца прекрасно характеризует его словарь: он не желает «высовываться», он хочет быть как «вся прочая банда», «нормальным парнем», а это доказывает, что Америка вовсе не испытывает страстного стремления к свободе, но главным делом почитает равенство. «Нормальный парень» равен другим «нормальным парням». Мечта, этот огромный, расплывчатый в очертаниях, завораживающий воздушный шар, крепко привязана к исторической фразе «все люди созданы равными», но сейчас не XVIII столетие и Соединенные Штаты уже не союз сражающихся колоний-общин, откуда пионеры уходят на Дикий Запад. Уже невозможно уйти на Запад и там обрести подлинную

Америку во всей ее первозданной чистоте. Фронтира не стало. Гигантские тресты, контролирующие судьбы целых армий трудящихся, заменили крошечные предприятия, которые существовали во времена Джефферсона. В XVIII веке думали, что наша экономика существует сама по себе, но тогда, наверное, так и было. Теперь, создав гигантские и сложные механизмы производства и потребления и почти поглощенные ими, мы находимся в полной зависимости от экономики. В наше время человек, исключенный из процесса производства в современном индустриальном обществе, ничем не отличается от человека средневековья, изгнанного из своей общины. С другой стороны, богатый американец, руководящий жизненно важной отраслью производства, обладает более действенной властью, чем большинство европейских лордов и баронов, которых отвергала Америка эпохи революции. Если наша жизнь подчинена прежде всего законам экономического развития—а не надо быть марксистом, чтобы это признавать,—то мечтать о равенстве и одновременно принимать как должное хаос современной экономики, порождающий вопиющее экономическое неравенство в обществе,—значит готовить себе серьезное поражение.

Эта проблема особенно характерна для Америки. Страна использует весь потенциал своей старой революции, чтобы преградить путь всем новым. Так как у нее уже была революция, в других она не нуждается. Образ жизни установлен, и другие социальные порядки рассматриваются не как возможный путь решения проблем, а как вызов американскому образу жизни. Но если в Америке не произойдет еще одной революции, она не сможет сохранить настоящую верность духу революции прежней. В настоящее время действительность противоречит Мечте. Американцы сейчас не ближе к достижению подлинного равенства—равенства в духе критериев XX, а не XVIII столетия,—чем народы многих других стран, причем иногда граждане этих последних могут продемонстрировать большую степень фактического равенства, чем Америка. Это верно, что некоторые старые социальные различия в Америке исчезли, но появились новые, например бессмысленный снобизм по поводу приобретения автомобиля новейшей модели и тому подобное. (Значительная часть американских романов с неудовольствием констатирует эти новые социальные различия и признаки

неравенства.) Однако гораздо серьезнее пугающее неравенство в обладании реальной властью. Среди свободных и равных американских граждан есть люди, которые живут не многим лучше, чем средневековые крепостные, а есть и такие, кто в материальном отношении не уступает баронам и принцам. Ни в одной другой стране не приходилось мне слышать столько историй, рассказываемых вполголоса о могуществе и беспринципности богачей, как в Америке. И если некто может купить почти все, включая и то, что в других странах не продается,—я имею в виду не только материальные ценности, но и некоторые необычные услуги,—а другой не может купить почти ничего, то их равенство—просто циничный фарс. Но и это не самое худшее. Время, как любят говорить американцы, шествует вперед. Америка так же подчинена историческому процессу, как и остальные страны. Однажды ее спас политический гений Рузвельта, который оздоровил Мечту и подправил экономический механизм страны. Теперь, в послевоенном мире, который поворачивается в сторону социализма, Америка все еще топчется на позициях своей давно свершенной революции XVIII века и ежедневно демонстрирует неприязнь к любым коллективным усилиям. Ее сегодняшнее настроение свидетельствует об ужесточении позиции, которое можно выразить словами генерала Гранта: «Я выбью их отсюда, даже если для этого потребуется целое лето». Неприязнь к социалистическому пути решения проблем наряду с угрозой непрекращающихся трудностей с использованием рабочей силы и растущей безработицей могут качнуть страну к своеобразной, фашистского толка, экономической политике, в результате которой утвердятся, если не в теории, то на практике, еще более ужасающее равенство. И псевдомистическая трактовка американского образа жизни, подкрепленная сознанием национальной военной мощи, по всей вероятности, будет способствовать этой эволюции в ложном направлении. Таким образом, величайшая демократия в мире может стать самым непримиримым врагом развивающейся идеи подлинной—политической, экономической и социальной—демократии, идеи, обладающей огромной освободительной силой. Тогда американская Мечта о равенстве, такая простодушная, невинная и добрая по сути своей, как и сами американцы, будет утрачена, а мир в результате этой потери станет еще опаснее и страшнее.

Все это может случиться, но надеюсь, не произойдет. Американцы — хорошие люди, еще не испорченные жадностью и страстью к господству. Открыть новые общественные границы взамен старых, географических, ликвидировать разрыв между Мечтой и действительностью им мешает прежде всего их доктринерский педантизм, который цепляется за явно несовершенные формулировки XVIII века, а также самодовольство общества, которому слишком часто льстят его политики и пресса. Пусть душа американцев останется прежней, им следует только перейти, так сказать, к другому окну, с более широким обзором. Американцы — все еще дети своей некогда славной революции. И Мечта о равенстве ими еще не утрачена. Она все еще преследует их, она сродни их общему заветному желанию вернуться домой, к себе, прежним, и жить просто, дружить с соседями и не участвовать в конкурентной гонке, выбиваясь из сил. А нас этот американский опыт учит прежде всего не тому, как ускорить производственный процесс и все упаковывать в пластик, или изрядно надоевшей чепухе с молниеносным рекламированием и сбытом, но тому, как хорош теплый, дружеский, человеческий тон общения, который звучит в словах: «Привет, Джо!»

ФИЛОСОФИЯ

Эшвилл был маленьким провинциальным городком. Выходец из семьи более чем скромного достатка, семьи уважаемой, однако же всегда ограниченной в средствах, Вулф обладал в зародыше дурными свойствами, какие нередко находят питательную почву в подобной среде,— антисемитизмом, расовыми предрассудками, ксенофобией, комплексом неполноценности; эти свойства постоянно прорывались наружу, но ему доставало мужества и широты воображения, чтобы вновь и вновь подавлять их. Спасительной силой был его природный оптимизм, но это был оптимизм, приходивший в конфликт с внутренней склонностью к отчаянию, это была вера, приходившая в конфликт с чувством обреченности. Беспримесное выражение вулфовского оптимизма можно обнаружить в характере Юджина Ганта; противоположность оптимизму — в характере Джорджа Уэббера.

Джордж Уэббер не чужд антисемитизма, он по-юношески груб в выражениях (о своих случайных любовных приключениях он отзывается не иначе как «подобрал шлюху»), и его эмоционально привлекает тот тип немецкого почвенничества, которое в своей крайней форме оборачивается ритуалами поклонения Вотану, теориями евгеники в духе союза немецких девушек и издевательством над пожилыми евреями, которых заставляют чистить отхожие места, не пользуясь шваброй и не надевая резиновых перчаток. И впрямь, оказавшись впервые в Германии, Джордж Уэббер впервые в жизни чувствует себя «найденным».

И все-таки ощущаешь некую убежденность в том, что эта крайняя форма, окончательное извращение духа так и не осуществится. В отличие от Генри Миллера Вулф не приемлет метафизику Освальда Шпенглера. Американские писатели испытывают особенную склонность ясно

формулировать свои идеи и художнические намерения в самом тексте произведений. В «Тропике Рака» Генри Миллер следующим образом разъясняет существо своих взглядов: «Быть может, мы обречены, быть может, нам, *никому из нас* не осталось надежды; но если это так, давайте же издадим последний страстный, леденящий кровь вопль, зловещий клич ярости, клич войны! Долой жалобы! Долой элегии и заупокойные плачи! Долой биографии и истории, библиотеки и музеи! Пусть мертвые хоронят мертвых. Мы, живые, да пустимся в пляс на краю кратера, в последний, иссякающий пляс. Но пляс!»

Этот призыв находит аналогию, хотя и не столь эмоциональную, у Шпенглера:

«Только мечтатели верят в то, что есть выход. Оптимизм — это трусость. Мы рождены в наше время и должны мужественно следовать путем, который ведет к предназначенному концу. Другой дороги нет. Наш долг состоит в том, чтобы удерживать последнюю позицию, без надежды на спасение».

Философия Вулфа не имеет со всем этим ничего общего. Его не мучает ощущение обреченности, скорее уж, страх того, что ему не хватит сил воплотить в слове бессмертное величие Америки, человечества и *свое собственное, как человеческой особи*. Он поет о Теле Электрическом с уитменовским напором; и если ему недостает несколько сомнительного оптимизма Уитмена, так это оттого, что он хочет большего, хочет идти дальше, чем Уитмен когда-либо шел в своих мечтах. Причины его мучительного и яростного поиска коренятся не в страхе близкого конца мира и не в том, что ему не хватит времени постичь мир до того, как он растечется в бесформенность; они коренятся в его убежденности, что великолепие и культура целой нации пребывают еще в младенчестве и что ему может не хватить жизни на то, чтобы увидеть народ в полном расцвете юности. В его представлении чудо воплощено не только в добре; он неизменно отдает себе отчет в том, что тьма такая же неотделимая часть его самого, как и свет.

Последние главы романа «Домой возврата нет», в которых описывается второе путешествие Джорджа Уэббера в Германию, позволяют проникнуть в существо политических идей Вулфа, поскольку он сам сформулировал их с полной отчетливостью.

Оказавшись в Берлине, Джордж обнаруживает, что он пользуется здесь некоторой известностью. Его книга хорошо распродается, и немецкие критики превозносят ее (между прочим, и доньше лишь на немецком существуют исчерпывающие исследования вулфовского творчества). Каштаны в цвету, в открытых кафе полно народа, и «в золотом сиянии дня неизменно слышится музыка». В это время проходят Олимпийские игры, и Джордж становится свидетелем впечатляющей демонстрации организационного дара великого немецкого народа. И в то же время за медью фанфар, за сияющим и прекрасным фасадом Порядка он начинает ощущать нечто зловещее. Иные из его немецких друзей говорят с ним об определенных предметах в уклончивых выражениях и за закрытыми дверями; другие вообще опасаются рот раскрыть.

«Он не видел никаких ужасов, о которых ему шепотом рассказывали. Не видел избитых. Не видел посаженных в тюрьму или преданных смерти. Не видел людей в концентрационных лагерях. Он не видел открытого, кровавого насилия или грубого принуждения».

Интересно, что особенно запоминающиеся и жуткие описания нацистских погромов появились в американском журнале «Лайф» почти сразу же после прихода Гитлера к власти. По-видимому, Джордж читал их, и удивительно, что они почти не произвели на него впечатления. Он приехал в Берлин три года спустя с невинной душой туриста, который не может поверить, что в стране, где чисто выметают улицы и поезда ходят по расписанию, может быть что-нибудь не так. В «Паутинах и скалах» Джордж страстно, с неистовым сарказмом говорит о линчевании на Юге. В 1936 году он настолько далек от того, чтобы поверить в фашистские линчи, что лишь случайные намеки, опасливые взгляды и напряженная атмосфера самого быта позволили ему сделать окончательные выводы. Только под самый исход путешествия, когда поезд остановился на границе Франции и Германии, где немецкая полиция схватила спутника Джорджа — запуганного человека, еврея по национальности, который пытался нелегально перевезти деньги, — герой подвергает свои убеждения критической переоценке.

«Все то, что этим последним летом Джордж Уэббер увидел и пережил в Германии, оказало на него огромное воздействие. Впервые он лицом к лицу столкнулся с подлинным злом, издревле обитающим в душе челове-

ской, и это потрясло его до глубины души. Не то чтобы в его образе мыслей внезапно произошел решительный поворот. Его представление о мире и своем в нем месте менялось постепенно, год от года, и поездка в Германию просто придала этому процессу законченную форму. Она резко высветила множество связанных меж собой явлений, которые Джордж наблюдал в самые разные времена, и ему раз и навсегда стали ясны опасности, таящиеся в тех скрытых атаквистических порывах, которые человек унаследовал от своего темного прошлого. Он увидел, что гитлеризм — это еще одна вспышка старого варварства...

Он понял, что этот варварский, «первобытный дух алчности, похоти и силы» во все времена был подлинным врагом человечества. «У него множество личин, множество ярлыков. Гитлер, Муссолини — у каждого свое имя».

Политические воззрения Джорджа основываются скорее на эмоциях, нежели на экономике, они имеют скорее чувственный, нежели научный характер. Он употребляет слова «алчность», «похоть», «сила» в их абстрактном значении, не задаваясь вопросами: «алчность — по отношению к чему?», «похоть — направленная на что?», «сила — ради чего?». С политической точки зрения он может быть уподоблен кэрролловской Белой Королеве, которая способна поверить до завтрака в шесть немыслимых предположений. Но если политические взгляды опасны в отрыве от науки, то столь же опасны они и в отрыве от сердца. Вулф, гуманист до мозга костей, скорее ощущал, нежели анализировал пути будущего.

Сказав о духе алчности, похоти и силы, он продолжает: «В разных формах он проявляется и в Америке. Ибо он процветает повсюду, где поборники жестокости вступают в сговор, где торжествует закон «человек человеку волк».

Его страшит близкое будущее своей страны, но он верит в окончательное торжество порядка, основанного на справедливости и счастье, за которые нужно бороться и которые нужно завоевать.

Лишь проведя ночи в полутемных, с запертыми дверями и занавешенными окнами квартирах своих немецких друзей, Джордж Уэббер сформулировал для себя нечто вроде заключения:

«Так уж случилось, что в этом далеком краю, среди глубоко волнующих и тревожных обстоятельств чужой мне жизни, я впервые ощутил в полной мере, как больна

Америка, и увидел также, что болезнь ее сродни немецкой — грозный недуг, поразивший душу человечества. Один из моих немецких друзей, Франц Хайлиг, потом сказал мне то же самое. Германии уже не помочь: болезнь зашла слишком далеко, ее уже ничто не оборвет — разве только смерть, разрушение, полный распад. Но в Америке, мне кажется, это еще не смертельно, не неизлечимо — пока нет. Недуг тяжел, и он станет еще тяжелее, если в Америке, как в Германии, людьми овладеет боязнь взглянуть в глаза самому страху, боязнь исследовать, что стоит за ним, что его порождает, боязнь сказать об этом правду. Америка молода, она все еще Новый Свет, надежда человечества, Америка — не то что эта старая, истасканная Европа, в которой гнездятся тысячи глубоко въевшихся, неустраненных древних болезней. Америка еще жизнеспособна, еще поддается лечению... если только... если только люди перестанут бояться правды. Ибо ясный и четкий свет правды, затемненный здесь, в Германии, до полного исчезновения, — вот единственное лекарство, которое может очистить и исцелить страждущую душу человеческую».

Он провозглашает свое философское кредо в длинном письме к «Лисхоллу Эдвардсу» (Максуэллу Перкинсу), которое подводит итог трудам его жизни:

«Следуя своей философии, вы приемлете существующий порядок вещей, потому что не надеетесь его изменить; а если бы и могли изменить, вам кажется, что любой другой порядок был бы ничуть не лучше. Если говорить об истинах нетленных, вечных, возможно, вы и Проповедник правды, ибо нет мудрости, превосходящей мудрость Екклезиаста, нет в конечном счете приятия прочнее, нежели суровый фатализм скалы. Человек рожден жить, страдать и умереть, и, что бы ни выпало на его долю, удел его трагичен. В конечном счете это бесспорно. *Но каждым часом своей жизни мы обязаны опровергать это, дорогой Лис*».

Томас-Джордж считает, что, лишь полностью перестроив нынешнюю структуру общества, можно победить и уничтожить «врагов» (страх, ненависть, рабство, нищету и нужду), хотя и не говорит, каким именно образом. Злу, которое он ненавидит, может бросить вызов только Правда:

«Вооруженные мужеством правды, мы встретим идущих на нас врагов и непременно их одолеем. И если,

победив их, мы увидим, что приближаются новые враги, мы встретим их на рубеже, где победили прежних, и оттуда снова пойдем вперед. В этом утверждении, в продолжении этой непрестанной войны — религия человека, его живая вера».

Это далеко от идей Шпенглера, но это столь же далеко от идей Оксфордской группы. Это не индивидуальная философия, не философия, призванная, используя оружие сердечных, искренних улыбок, примирить труд и капитал. Она имеет мало общего с Бэньяном, скорее она ближе Блейку. По сути дела, это философия человека доброй воли, мужественного сердца и неразвитого политического чувства, человека, который говорит: «Я хочу быть добрым! И я смогу им быть, если попытаюсь. И вы сможете. И все мы должны быть добрыми».

Вулф видел пороки общества и исполнялся благородного гнева и негодования при виде бесчеловечного отношения человека к человеку; но его глубинный идеализм не позволял ему осознать причины социальных пороков, как не позволял принять никакой реальной теории в качестве основы их излечения. В некотором роде он являет собою символ самой Америки; в его книгах более ясно, нежели в сочинениях любого иного писателя его времени, отражается умонастроение великой державы, столкнувшейся внезапно с кризисом, — гигантской страны, обладающей колоссальными потенциалами социального, промышленного и культурного роста и пребывающей в растерянности перед лицом проблем, которые на вид не имеют между собою ничего общего. Первостепенной важности явления развиваются мощными потоками, но не сливаются в единое русло. Огромные успехи промышленности сочетаются со столь же огромными спадами; высочайший в мире уровень жизни освещает лучами мрачные зоны отталкивающей нищеты; несомненно выдающийся вклад Америки — от Войны за независимость до Гражданской войны — в историю демократии уравнивается историей угнетения, чему свидетельством существующие ныне трудовые законы, скованная вечным страхом жизнь американских негров-южан, память о процессе Сакко и Ванцетти.

Англичане лучше понимают Англию, французы — Францию, русские — Россию, нежели американцы — свою родную страну: похоже, что к патриотизму в Америке, как нигде в мире, примешивается сомнение. Вулф испы-

тывал по отношению к своей стране чувство редкостной по силе и трогательности любви, он верил в ее немыслимое золотое будущее; но что касается ее сложных социальных и экономических проблем, он имел о них самые смутные и бессистемные представления.

По природе своей он никогда бы не смог стать политиком — для этого он глядел на людей со слишком близкого расстояния. Он воспринимал человека так, как если бы стоял с ним грудь в грудь, как если бы их лица почти соприкасались; люди в его глазах вырастали до таких гигантских размеров, столь мощно подавляли его своей близостью, что совершенно не удавалось осознать силы, движущие их и движимые ими. Эта неспособность понять все, что относится к социально-экономической структуре общества, и заставила его в конце концов взбунтоваться против внешнего мира, не обнаружившего признаков совершенствования на протяжении его короткого жизненного пути, «мира, обезумевшего в своем слепом фанатизме, невежестве, мира, свихнувшегося в своих предрассудках, издевательстве, ненависти ко всем, кто сохранил здоровье, не сдался и не стал безумцем».

И все же это не клич бунтаря, человека, расставшегося с политическими иллюзиями; это клич подростка, так и не научившегося правилам арифметики.

Если у Вулфа не было ничего общего со Шпенглером и Генри Миллером, точно так же не было у него ничего общего с Кестлером или Селином. Он анархист ничуть не в большей степени, чем были анархистами елизаветинцы с их безграничной и беспорядочной любознательностью. Он не жаждет вечного поиска, он страстно жаждет решения. Не быть потерянным — значит быть найденным. Мерзость, богатство, убожество, дикость и застойный, спертый воздух Америки рвут ему сердце. Он ищет какого-нибудь способа противостояния. Он страшится ответа, ибо сама агония вопрошания заключает в себе чудо и красоту; но ему нет покоя, пока ответ не обнаружен:

«Я думаю, что все мы, американцы, заблудились, но я думаю, что нас найдут... Я думаю, подлинное открытие Америки еще впереди. Я думаю, подлинное воплощение нашего духа, нашего народа, нашей могучей и бессмертной земли еще должно наступить».

Всю свою жизнь он прожил, стараясь избежать пате-

тики; и в то же время он всегда был убежден, что даже абстрактная патетика лучше, чем никакой патетики, что это по крайней мере глас утверждения, доносящийся с ангельских высот. Его природа не позволяла ему внести более значительный вклад в бесконечную борьбу человеческого сознания, поглощенного поисками достойного образа жизни.

Его неспособность мыслить в терминах практической политики заставляла его страшиться, как бы кто-нибудь не вовлек его в непосредственную политическую борьбу. «Что мне делать? — писал он Маргарет Робертс 6 апреля 1938 года. — Подобно Вам, в последние несколько лет я глубоко ушел в дела современности — по мере того как возрастал мой интерес к жизни, уменьшался мой интерес к внутренним переживаниям; в мире сейчас так много всего, что поистине ранит меня, что я думаю, не должен ли я взяться за оружие или вообще отдать жизнь в борьбе со всем этим, — но что мне делать?»

На него наседали, а он, наполовину гневаясь, наполовину извиняясь, отказывался поставить свое имя под той или другой петицией — в защиту Испанской республики, сезонных рабочих Юга, Тома Муни, «парней из Скоттсборо». Что ему со всем этим делать?

«Когда-то вольтеровская мысль, высказанная в «Кандиде», что в конце концов человеку следует возделывать свой сад, казалась мне циничной и эгоистически-бесчувственной; но теперь я не уверен, что в ней не содержится и некая глубокая мудрость и человечность. Возможно, высшее предназначение человека состоит в том, чтобы наилучшим образом делать дело, которое он умеет делать, к которому он наилучшим образом приспособлен. И возможно, именно таким образом он сослужит величайшую службу другим людям».

Возможно. Но за этим выводом стоял все же преследовавший Вулфа страх, что стоит ему принять участие в каком-нибудь политическом движении, и он будет связан долгом политической дисциплины. Его всегда, продолжает он взволнованно, загоняют в угол разные достойные люди, понуждая принять ту или другую сторону или сделать то или иное заявление. Многие писатели и писательские объединения, похоже, вовлечены в этот род деятельности, и, хотя он «восхищается их энергией» и не подвергает сомнению их искренность, как они, черт возьми, находят время заниматься своей собственной

работой? «Участвуя в демонстрации перед французским консульством или интервьюируя президента Рузвельта, не напишешь книгу».

В этих объяснениях, адресованных миссис Робертс, вместе с глубоким сомнением, звучали самооправдательные ноты. Бесспорно, у него не было времени пикетировать консульства или беседовать с президентом; но уж секунду-то он, пожелай того, мог выбрать, чтобы поставить подпись: «Быть может, мне следует взяться за оружие или отдать жизнь, чтобы остановить все это...»

Истина состоит в том, что к весне 1938 года Вулф политически отступил даже с этих нечетких позиций, к которым было внутренне приблизился. Он не восхищался писателями, вовлеченными в политический конфликт, он боялся их. Они представляли угрозу его страстно взыскуемому уединению, уединению особенно всеохватному и объяснимому в свете его уникальной поглощенности течением времени. Он и впрямь чувствовал, что ведет со Временем борьбу не на жизнь, а на смерть. Символически его можно было бы изобразить в виде человека, лихорадочно покрывающего знаками бесконечный лист папируса, между тем как Время, гигантский орел, выклевывает клочки этого папируса и слои грифеля и бьет его крылами по голове, чтобы ослепить. От этой борьбы он ничему не мог позволить отвлечь себя, оставаясь нечувствительным даже к уколам собственного социального сознания. «В окончательном итоге» он был поглощен возделыванием не сада, а пустыни целого континента.

Прежде всего Вулф был гуманистом: он бы испытал отвращение, читая робкие, хитроумные, приятные романы, вошедшие в моду сегодня: их действие может происходить там, где читателю будет угодно себе это вообразить, их персонажи носят тщательно продуманные, стандартные, вполне стертые имена, а их мысли отражают всеобщую срединность. Он всегда имеет в виду определенную страну, определенного человека; с его страниц встают не символы, не типы, но гигантские, устрашающие и внушающие восхищение человеческие существа.

Вулф всегда и полностью представлял собою мальчишку и художника — никогда не был, подобно Прусту, человеком вселенной, дрейфусаром, этимологом, любителем-военным, никогда не был, подобно Джойсу, католиком-отступником, ученым, специалистом-ювелиром. Он

знал слепую ярость своего внутреннего мира и мира, его окружающего, и он показывал эти миры, отражая один в зеркале другого; и он умер во гневе и тоске, потому что ни тот, ни другой не обрел той определенности, какую он так и не смог им придать.

1948

СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ

«Жизнь, свобода и стремление к счастью». Из Декларации независимости (в оригинале было «жизнь, свобода и собственность», но, видимо, это сочли бестактным). Высокий принцип, может быть, высший, но, подобно многим высоким принципам, с оттенком бессмыслицы. Невозможно стремиться к счастью: это химера, сбивавшая с толку американцев с тех самых времен, когда была написана Декларация. Счастье приходит не потому, что к нему стремятся.

Оно приходит внезапно и, быть может даже, не приносит радости, но приходит неудержимо.

Что такое счастье? Кто-то сказал, что это — отсутствие боли, и, я думаю, по существу идея верна: но в таком определении она лишена полноты и завершенности. Счастье должно включать в себя элемент незаинтересованного переживания. Я думаю, только поэты-метафизики — несомненно, Крэшоу, а также Джордж Херберт — вполне понимали это. Но к несчастью, большинство из нас далеко не поэты-метафизики.

Счастливые мгновения нормального детства многообразны. Яркие влажные бутоны лютиков в половину роста ребенка. Маленькие прозрачные зеленые крабы в морских заводях, актинии, словно стремящиеся поглотить пальцы, которыми ребенок робко прикасается к ним, — это страшно, но часто счастье сопровождается страхом; черно-белое благоухающее поле гороха неподалеку от деревни в Дорсете. Редко дети испытывают счастье, участвуя в каком-нибудь событии; например, день рождения: празднество порождает дурные предчувствия, даже страдание. Детство наслаждается своим безудержным счастьем в одиночестве. В отрочестве, а затем и в зрелости счастье может обретаться во взаимной любви. Любовь в молодости, любовь в зрелые годы — различия

нет. Похоже, любовь сейчас обозначают грубым словом, вкладывая в него весьма сомнительный смысл. Но тот, кто порочит любовь, ничего не знает о жизни. Если вы еще не испытали сами этого чувства, можно обратиться за пояснениями к мировой литературе, к большей ее части. Разве Данте писал чепуху? А Шекспир? А Роберт Бернс или Роберт Браунинг? Любовь—это *процесс удержания* счастья. Конечно, она коренится в сексе; но она не замыкается сексом. *Настолько это могучая сила.*

Влюбленный едва ли способен поверить, что его любовь окажется взаимной. Ибо как может оказаться взаимной любовь к самому себе, как увидеть свое отражение в глазах возлюбленного? Что он увидел во мне? Что она увидела во мне? Это неизбежные вопросы. Очень тщеславные женщины и очень тщеславные мужчины, нарциссы обоих полов, способны ответить на этот вопрос, взглянув в зеркало. Но для большинства из нас это тайна.

Полюбить означает полностью потерять себя—во всяком случае, вначале. Это порыв к бесконечному служению—с обеих сторон. Это расставание души с ее оболочкой—такого не испытать до самой смерти.

Сексуального удовлетворения попросту недостаточно. Само по себе оно может быть столь же приемлемо и столь же—не более того—приятно, сколь мастурбация. Ибо для того, чтобы сексуальное общение означало нечто большее, чем ночь, проведенная вместе, оно должно включать в себя сердце, и сознание, и нежность.

Вот и все о сексуальном счастье, приносящем наибольшую радость, которую нам, несчастным созданиям, колышущимся между землей и небом, дано когда-либо испытать.

Но есть и другие источники счастья. Ученый, поглощенный своей работой; музыкант—своей; художник; теолог; священник; монахиня. Писателя я исключаю: он должен в максимальной мере обладать опытом добра и зла, и секс, в любой форме, должен занимать в его жизни важное место.

Солдаты часто находят наслаждение в войне и в военных профессиях (от оценок я в любом случае воздерживаюсь). Мне приходилось встречать и штатских, подвергавшихся разным опасностям, утверждающих, что их война, с ее братством, была счастливейшим временем их жизни. И утверждающих это искренне.

Добрый, как правило, весел,
Если не случай злой,—

писал Йейтс, явно пребывая в эйфорическом состоянии. Но это вовсе не всегда так. Я знавала веселых людей, которые скрывали в веселье свою злобу. Геринг, насколько я могу судить, казался человеком жизнерадостным. Красноречив тот факт, что, когда этот жирный преступник избежал виселицы, проглотив цианистый калий, многие из нас едва удержались от аплодисментов.

К счастью нельзя стремиться. К чему можно стремиться, так это к известной свободе от неприятных ощущений. Такое стремление лежит в основе любой общественной деятельности. Те, кто посвящает свою жизнь—нередко молодость—заботам об отчаявшихся, изгоях, наркоманах, пытаются в какой-то мере освободить их от неприятных ощущений. Когда это удастся, люди испытывают счастье, и в какой-то степени испытывают счастье их подопечные. Я видела трущобы Нью-Йорка—пьяницы, распластанные на порогах домов, или на тротуарах, или в канавах. Что означает для них счастье? Подозреваю, что еще один глоток, еще одна бутылка «Ред Бидди» или как там еще называется их мерзкое зелье. Мне приходилось слышать (хотя и не часто в те времена подъема социального сознания), как люди говорят: «Я не подаю нищим. Все равно они только пропьют эти деньги». Совершенно верно; но если это то, чего они хотят,—совершите свое благодеяние. Мы не приносим дары с условием, что их используют лишь каким-нибудь определенным образом.

Позвольте мне описать момент необыкновенного детского восторга. Семья устраивала «музыкальный вечер», меня отправили спать. Подозревая, что я выскользну из постели и усядусь на лестнице, мать оставила дверь в гостиную открытой. Сначала я услышала, как исполнили «Волка», «Луна подняла свою лампаду», «Мари, девочка моя». Никакого удовольствия. Но затем прозвучал торжествующий голос (он принадлежал одному из профессионалов, которые иногда приходили к нам):

О, моего Восторга Полнолунье!

О, как чиста Луна Небес в июне

И как же часто будет без меня

Она в мой Сад заглядывать, но—втуне!¹

¹ Пер. И. Кутика.

Впервые я отправилась в постель без принуждения, по своей воле. После этого я не хотела слушать ничего другого. Фицджеральд, недооцененный поэт. Но какой голос! Превосходно поставленный тенор, взывающий ввысь с легкостью жаворонка. Я так и не узнала имени исполнителя.

Многие находят счастье в религии. Я тоже, хотя не часто. Я слишком мало разбираюсь в ней, лишена твердой веры. Я обретала счастье, слушая отдельные псалмы. Но не было ли то отчасти волшебство искусства? Ибо псалмы—это искусство. Все дело в музыкальном оформлении. Порой оно превосходно, порой на редкость бездарно. Так чему же я поклоняюсь—Богу или Искусству? (Хотя Он имеет немало общего с последним.) Все кажется одинаковым, когда испытываешь восторг.

Кто удержит радость силою,
Жизнь погубит легкокрылую.
На лету целуй ее—
Утро вечности твое!¹—

широко цитируемые строки Блейка. Что означают они? Что радость, сколь бы преходящей ни была, может быть обретена навеки—то есть превращена в счастье, более стабильное состояние,—если не делать попыток удержать ее? Если это так, как узнать, что пришел момент радости?

Конечно, я понимаю, что «стремление к счастью», о котором говорится в Декларации независимости, не обещает счастья отдельным мужчинам и женщинам. Никому из нас не избежать бесчисленных личных трагедий. Оно означает в конечном итоге вечные попытки построить Справедливое Общество.

ХЭППЕНИНГ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Во время пребывания в Калифорнии меня и Чарлза пригласили принять участие в двухдневной дискуссии с Олдосом Хаксли и Харолдом Ури на какую-то благопристойную тему. Если бы мне удалось вспомнить, что это была за тема, в этом рассказе было бы больше смысла: но что имеет смысл в Лос-Анджелесе?

¹ Пер. С. Маршака.

Если бы мне также удалось вспомнить, собирались ли они транслировать дискуссию по телевидению, это тоже бы помогло. Но я помню — и это важно, — что на сцене нас почти совершенно ослепили прожектора — и Олдоса тоже. Зрение Чарлза всегда оставляло желать лучшего, но и я видела ясно только передний ряд — пространство между ним и сценой оставалось как во тьме.

В утренних газетах было помещено частное объявление о приходе Иисуса Христа Второго, который намеревался сорвать нашу встречу. Когда мы появились в зале, который был переполнен, на каждом месте была листовка, оповещающая об этом интересном факте. Это не слишком нас задело, хотя мы заметили необычное скопление университетской полиции. На сей раз имя самозванца было известно, но я не запомнила его.

С самого начала все мы ощущали атмосферу напряженности, но это не беспокоило нас, ибо мы привыкли к такого рода публичным выступлениям.

Говорил Чарлз. Говорила я. Говорил доктор Ури. Говорил Олдос. А затем разыгралась драма.

С места в первом ряду — который, как я говорила, был виден мне достаточно ясно — поднялся бородатый узколицый молодой человек, немного выше среднего роста, крепко сложенный и по-вечернему одетый. С полной решительностью он провозгласил себя Иисусом Христом Вторым. Он еще мог понять — иного и не ожидал — Сноу и Ури, но когда Олдос и я называют себя христианами (не уверена, что Олдос так называл себя) — это уже слишком. Если ему будет позволено...

Ему не было позволено. Появилась университетская полиция. В этот момент, казалось, начала образовываться свалка: в нее ввязались несколько человек, по виду студентов. Теперь уж я почти ничего не различала, только суматоху в клубах коричневой пыли. Чарлз не видел вообще ничего. Как и Ури. Как и Олдос. Мне казалось, что происходит нечто весьма опасное, что публика возбуждена, но что касается нас, сидящих на сцене, то нам оставалось только выжидать.

Понадобилось некоторое время, чтобы унять эту потасовку, и затем нас попросили продолжать.

Но когда дискуссия возобновилась, добрая треть публики в явном возмущении поднялась со своих мест. Что такого мы, в конце концов, им сделали? Наблюдая исход, мы тоскливо завершили выступление.

Потом мы с Олдосом кое-что надумали — Чарлз и Ури решительно возражали, но их не послушали. Мы выяснили, что Иисуса Христа Второго взяли в полицейский участок. Этому предшествовали довольно шумные события. Олдос и я считали, что могла быть допущена несправедливость и следует выяснить, в какой именно полицейский участок забрали молодого человека, навещать его и предложить посильную помощь.

Чарлз и Ури устало пожали плечами, но предоставили нам свободу действий. Как мы могли быть *вполне* уверены — эта мысль не оставляла Олдоса и меня, — что молодой человек *хотя бы в воображении не был тем, кем провозглашал себя?*

Начались наши долгие ночные скитания. Отделение за отделением — его могли оставить в первом же, однако передавали дальше и дальше. Было очень поздно. Харолд Ури пытался скоротать время, говоря, что по крайней мере он может объяснить мне второй закон термодинамики. И действительно мог: он был превосходным педагогом. Но в конце концов мой интерес иссяк. Он начал говорить о «двигателе» — каком двигателе? Моя потерянная и изможденная душа утратила всякую способность восприятия, ничего, кроме «пуф-пуф», я представить себе не могла. Миссис Ури сказала: «Хватит, Харолд. Разве ты не видишь, что она уже давно не с нами?»

Наконец мы подошли к полицейскому участку, где, похоже, содержался молодой человек и где толпились его сторонники. Увидев Олдоса и меня, они окружили нас. Думаю, там было человек тридцать, но казалось, что их сотни. В гуле проклятий я слышала только одно: Иисус Христос явился, чтобы проклясть атомную бомбу, а мы уже тем, что не выступили в его поддержку, защищали ее.

Против подобной чепухи разум бессилен, но некоторая доза чепухи может прогнать страх. Кое-как я добилась тишины — Олдос вряд ли что-либо видел и был совершенно растерян — и заявила следующее: при свете прожекторов никто из нас не мог видеть того, что происходило. И мы пришли сюда, чтобы поговорить с молодым человеком, если можно, и как-то помочь ему. Что касается бомбы, юноша не является серьезным борцом, это просто религиозный маньяк. Некоторых это утихомирило, но другие продолжали шуметь.

Я подошла к начальнику участка. Сказала ему, что это было за мероприятие. Если можно, мы хотели бы погово-

рить с Иисусом Христом Вторым. Как мне показалось, с оттенком облегчения начальник ответил, что Иисуса здесь больше нет—его отправили в другой участок, довольно далеко отсюда.

Это охладило меня, и, думаю, Олдоса тоже. Чарлз и Ури, собрав все оставшиеся силы, улыбались, как чеширские коты. Военнослужащие студенты требовали, чтобы нас привлекли к судебной ответственности по какому-нибудь обвинению. Меня это беспокоило, мне надо было возвращаться в Беркли к детям.

Так или иначе, мы слишком устали, о дальнейшем хождении по полицейским участкам не могло быть и речи. Мы пошли спать и спали сном праведников—ибо никто не мог быть праведнее нас.

Утром здравомыслящие студенты пришли извиняться. Они поняли, что мы были ни при чем. Они посоветовались с юристами и оценили наши попытки помочь им. Они поняли, что Иисус Христос Второй маньяк, фигура вполне характерная для Калифорнии.

Вторая часть нашей дискуссии протекала спокойно. На фоне приключений предыдущего вечера она оказалась на удивление мирной.

Продолжение наступило около года спустя, когда Чарлз и я были в Энн-Арборе, в университете штата Мичиган.

Был туманный день, тихий и теплый, мы пили чай, когда сказали, что к нам посетитель. Имя показалось отдаленно знакомым, но узкое, дышащее сердечностью лицо было знакомым вполне.

Он радостно приветствовал нас: «Вы, должно быть, меня не помните!»

«Прекрасно помню,—ответила я не слишком любезно.—Вы Иисус Христос Второй, и вы загубили нашу дискуссию в Лос-Анджелесе».

Он кивнул, расплылся в улыбке, пожатием плеч просто отмахнулся от этой темы. С нашей стороны было очень любезно заняться его поисками; но, по существу, его ни в чем не обвиняли, и полиция—думаю, к рассвету—отпустила его. Все это старая история.

Он согласился выпить с нами чаю. Он хотел бы рассказать, как живет сейчас. Одетый по моде, ухоженный, туфли блестят, он производил впечатление на редкость разумного молодого человека. Оказывается, он жил в самом Энн-Арборе, но был не студентом универси-

тета, а учеником профессора теологии, преподававшего в местном университете.

Он был счастлив: все было хорошо. Он провел с нами не более четверти часа. Он просто пришел нанести визит вежливости. Он вышел под яркое полуденное солнце Земного Рая. Больше мы его не видели.

Это было около тринадцати лет назад. Я часто гадала, как складывалась в эти годы его жизнь. Думаю, что уже тогда он перестал быть Иисусом Христом. Продолжалось ли его блаженство? Права я или ошибаюсь, но я убеждена, что это безвредный и добрый человек. Я надеюсь, что Земной Рай не померк в его глазах и не стал горек, и я думаю, что, будь Олдос жив, он бы разделил мое чувство. Правда, мы оба не лишены сентиментальной струнки.

1974

КУЛЬТУРЕ НЕМОЖЕТСЯ

Так как этот год заканчивает десятилетие и круглая цифра, 1960, делится на десять, почти все ведущие американские журналы недавно обстреляли читателей очередью огнедышащих неотложных вопросов, например: «По каким направлениям будет развиваться наша культура в грядущей декаде?» или «Есть ли твердая почва для разбега в шестидесятые?» Первый из этих вопросов мне задал по телефону человек из журнала с миллионным тиражом. Но выбрал он для звонка неудачное время. Я только что посмотрел телевизионную программу, в которой Жак Барзун, Лайонел Трилинг и У. Х. Оден обсуждали проблему «Кризис нашей культуры», причем так несерьезно и алогично, что казалось, будто они не обсуждают проблему, а олицетворяют ее. Мистер Барзун сидел словно аршин проглотив и моргал, а мистер Трилинг сильно наклонился вперед и поэтому при наездах камеры создавалось впечатление, что он сейчас ее забодает. Мистер Оден, похожий на Сомерсета Моэма — только раздобревшего и массивного, покоился в кресле и все время лукаво подмигивал. Иногда, сбрасывая пепел в пепельницу, он таинственно улыбался и демонстрировал свой костюм — обычное одеяние пожилого английского интеллектуала, — рубашка с отложным воротничком и пиджак. Временами он неожиданно делал эксцентричные замечания, например объявил, что хоть и стыдно признаться, но газеты он читает, или столь же внезапно осведомлялся у господ Трилинга и Барзуна, сколько им лет. Вообще же он вел себя как «телемудрец», то есть блистал яркой индивидуальностью и больше помалкивал. Зато двое других говорили очень много, чтобы возместить недостаток индивидуальности. Они вещали бархатными голосами, словно две фисгармонии (я почему-то

вспомнил при этом произведение мистера Барзуна «Ума палата»), и рядом с ними мистер Оден просто пищал, то есть говорил обычным человеческим голосом, способным выразить и величайшую беспечность, и величайшую грусть, но голос его плохо гармонировал с фисгармоническим дуэтом. А все трое они представляли триптих официальной американской культуры, и их воздействие, особенно на телезрителей-интеллектуалов моложе сорока, должно было равняться нулю.

Не испытываю охоты предсказывать, что будет с американской культурой на этом высокоумном уровне. Однако повсюду, и на театре, и в среде более молодых писателей, я различаю определенное направление, или, точнее говоря, сильное и все возрастающее тяготение к двум темам. Первая, особенно заметная на Бродвее,— это «биографический» жанр. Популярны зрелища все чаще бывают основаны на жизнеописании еще живущих или недавно умерших деятелей. Два года назад мы имели «Рассвет над Кампобелло» Дора Шэри—о том, как Франклин Рузвельт боролся с полиомиелитом. Нашумевший мюзикл «Джипси» знакомил нас с тем, как юная Джипси Роза Ли стала звездой стриптиза, а самые успешные спектакли в нынешнем сезоне— «Фьорелло!», «Чудотворец» и «Звуки музыки»—связаны с достижениями юного Фьорелло Лагардиа, победой глухонемой девочки Элен Келлер над физическим недостатком и приключениями австрийского семейства Трапа, которое бежало от нацистских погромов и прославилось в Америке песенным искусством. Была также пьеса, посвященная усилиям издателя-еврея Генри Галдена бороться с сегрегацией на американском Юге с помощью сатиры. А вскоре перед нами предстанет Джули Холлидей—в драматизированной биографии Лоретты Тейлор, чьей основной проблемой было пристрастие к бутылке.

Я не собираюсь вникать в достоинства всех этих постановок, которые, за исключением «Джипси» и «Фьорелло!», весьма далеки от совершенства. Меня интересует превалирование биографического жанра над прочими и его популярность. Ни в какой другой стране театр не занимается столь усердно биографическими раскопками в поверхностных слоях национального прошлого. Начало же этому течению положил Голливуд, фильмами вроде «Жизнь Джолсона», «Жизнь Глена Миллера» и множества подобных, и все они имели целью

доказать с помощью псевдофактических свидетельств, что каждый американец, наделенный талантом и энергией, может возвыситься из тьмы первоначальной неизвестности до самых сияющих вершин популярности. Теперь вот и Бродвей последовал этому кинематографическому примеру, и американская драматургия, которая до этого имела дело по большей части с вымышленными персонажами—жертвами обстоятельств,—тоже вроде меняет курс. Теперь она тяготеет к реально существовавшим людям, которые победили неблагоприятные обстоятельства. Одиноким герой, прищипываемый мужеством, верой и благими намерениями, не только с успехом сопротивляется суровой судьбе, но одерживает в этой борьбе верх и становится национальным кумиром. А когда мы начинаем жаловаться (и вполне естественно, если драма сама по себе слабовата), что это облегченная картина жизни, что она заведомо оптимистична, нас ставят на место возражением «а так было на самом деле». Американская публика питает безграничное доверие к победоносному индивидуализму, и, разумеется, сама возможность усомниться легко отменяется соображением, что победа эта есть факт исторический.

Параллельно с биографическим жанром развивается второе направление, которое я не решаюсь назвать религиозным или духовным, потому что некоторые его проявления не имеют ничего общего ни с религией, ни с духовностью. Говоря более обобщенно и, следовательно, ближе к сути дела, это направление связано с убеждением, что все, касающееся духовной жизни человека, гораздо важнее того, что происходит во внешнем мире. Разумеется, эта убежденность, как правило, выражена с помощью фрейдистской терминологии: человеком всевластно управляют Эго, Суперэго и Ид. Иногда эта убежденность подается под другим соусом, и тогда декларируется, что верх человеческих упований, самый высший долг—это когда один человек любит другого. Так, современный Иов, герой пьесы Арчибальда Маклиша «Дж. Б.», получившей Пулитцеровскую премию за прошлый год, не видит смысла ни в политике, ни в психологии, ни в религии; отвергая их все, он «находит полное удовлетворение»—так это называется—в любви к собственной жене. То же самое происходит и в усердно восхваляемой

новой пьесе Пэдди Чаевского «Десятый человек». Центральный персонаж, склонный к мыслям о самоубийстве, бывший коммунист, пребывающий в мучительных сомнениях, излечивается от разочарования во всем человечестве, приняв участие в ритуальном изгнании беса, вселившегося в молодую девицу. «Лучше верить в нечистых,— поучает героя старый раввин,— чем не верить ни во что». Это в высшей степени спорное умозаключение спасает героя от нигилизма, и он обретает личное блаженство, влюбившись в девушку. В пьесах такого рода нет и намека на то, что среди причин, доводящих человека до отчаяния, может быть отношение к нему общества, а мысль, что социальные отношения тоже могут быть созидательны, отвергается с порога как самый несбыточный утопизм. Счастье внутри нас и больше нигде, внешний мир, жестокий и неизменный, лучше всего игнорировать, ведь он может лишь ранить, и очень опасно, первозданную суверенность души. Эта доктрина внутреннего света явственно прослеживается в современной американской литературе. Так, в повестях Дж. Д. Сэлинджера о семействе Гласс фигурируют новомодные мистики и осененные благодатью самоубийцы, чья готовность к бескорыстной любви постоянно и грубо отвергается обществом, которое в своем смиренномудрии они не решаются критиковать.

Экстремисты битничества идут значительно дальше, достигая просветления умов с помощью ЛСД и опиума, но наиболее выразителен в этом отношении драматургический эксперимент, в настоящее время доступный нью-йоркским театрам,— идущая вне Бродвея пьеса «Связной», которая проповедует несколько на манер «Ожидания Годо» радости мистицизма и умелого «дозирования», которые даруют блаженную раскованность «до» и иллюзию сверхчеловеческого духовного прозрения «после» (автор Джек Гелбер). Нельзя не упомянуть и о Нормане Мейлере, и философии хипстеризма, основы которого он излагает в своей противоречивой книге «Самореклама». Частично это антология мейлеровской публицистики, частично—упражнения в самокопании. Вскоре после «Нагих и мертвых» мистер Мейлер стал активным социалистом. Теперь, и это закономерность, он метнулся в прямо противоположную сторону и попал в объятия самого откровенного психопатического эгоцентризма. Хипстер, коротко говоря,— это человек, который «раз-

велся» и с историей, и с обществом, который живет исключительно текущим днем, называет себя белым негром и чья цель—самопознание через сексуальное наслаждение, подстегиваемое, в случае необходимости, марихуаной.

Кристофер Кодуэлл в своей блестящей работе «Исследование умирающей культуры» относил упадок буржуазного искусства за счет двух факторов. Он писал:

«С одной стороны, культура имеет рыночную стоимость—отсюда ее вульгаризация и коммерциализация. С другой—превозносится самодовлеющая ценность произведения искусства, а вследствие этого увековечивается индивидуалистическая связь человека и искусства. Это неизбежно приводит к тому, что искусство лишается ценности социальной, его связи с обществом разрушаются и, в конце концов, произведение искусства, становясь частной, индивидуальной фантазией, перестает быть искусством».

Тяжеловесная фраза, но имеющая некоторое отношение к тому, что происходит. Мистер Кодуэлл, которого нет в живых уже больше двадцати лет, не мог предвидеть, что Бродвей, этот театральный рынок, будет торговать пьесами—биографиями знаменитых современников, а если бы и мог, то лишь утвердился бы в своем выводе о коммерциализации искусства. И, между прочим, тревожившая его эволюция произведения искусства, становящегося «частной фантазией», как раз и есть следствие того культа эгоистического самоосуществления и удовлетворения, о котором я только что рассказал.

Эта эволюция, по мнению некоторых критиков, не представляет ничего опасного, это просто—цитирую одного из них—«преходящая реакция на советский атеизм и материализм». Пусть бы хоть так. Однако в действительности современная американская культура хромая движется лишь в одном направлении, и ей совершенно необходимо снова обрести равновесие.

День, когда в Вермонте хоронили Роберта Фроста, выдался ослепительный: небо без единого облачка, каждый вяз, каждый сарай словно вырезан бритвой на фоне сияющей белизны, и только снег поскрипывает под ногами людей, безмолвно идущих между сугробами, щурясь под огромным солнцем.

Тех, кто отличался на каком-нибудь поприще, по безобидному сентиментальному обычаю, принято погребать с наглядными эмблемами их мастерства: на память приходят лиры, украшающие надгробные плиты композиторов, и венки из бит и мячей над местом последнего упокоения прославленных крикетистов. Но мало кого опускали в могилу среди такого изобилия орудий ремесла, как Роберта Фроста. От ельника на вершине холма у горизонта до любых примет обычного и будничного вокруг — клена, сельского магазинчика, лопаты — все, что видели, мимо чего проходили провожавшие его в последний путь, все послужило ему темой для стихов и пищей для размышлений протяженностью в жизнь. Однажды его называли «оригинальным заурядным человеком», но способны ли, готовы ли мы, заурядные люди, понимать тех, кто выделяется среди нас оригинальностью, — вопрос другой. Я не знаю, много ли американцев, если они будут совершенно искренни, безоговорочно согласятся с утверждением президента Кеннеди, что Фрост «завещал нашей стране свод бессмертных стихов, из которых американцы будут вечно черпать радость и понимание». Ведь если его поэзия так проста, какой кажется на первый взгляд, то она весьма и весьма заурядна. А если она так глубока и трудна, как уверяют достойнейшие из его поклонников, то круг истинных его ценителей не может не быть очень узок, как всегда, когда речь идет о великой поэзии.

Однако президент Кеннеди превознес его, и в последние годы Фрост превратился в своего рода неофициального поэта-лауреата, почитаемого, боюсь, главным образом за его связь с Белым домом, а не потому, что его произведения вызывают в сердцах американцев непосредственный отклик. Но как бы то ни было, последние дни Фроста перед его кончиной в возрасте не то восьмидесяти семи, не то восьмидесяти восьми лет (точно не знает никто) подарили ему почитание, любовь, множество друзей, в то время как дни его юности проходили в тяжелом крестьянском труде, подневной работе, не дававшей средств к существованию, и беспечной безвестности.

Он родился в Сан-Франциско. Мать его была шотландкой по происхождению, отец, фермер, перебрался на Запад из Нью-Гемпшира. Когда ему было десять лет, его отец умер, и мать уехала с ним на Восток и поселилась в Лоренсе, в штате Массачусетс, так что он вырос истинным жителем Новой Англии, каким и оставался до конца своих дней. С девятнадцати до тридцати восьми лет он сумел опубликовать только четырнадцать стихотворений. За это время он попробовал — неудачно — поступить в Дартмутский колледж, но позже продержался в Гарварде два года. В течение пяти лет, разделявших эти две тягостные попытки получить университетское образование, он работал подручным на текстильной фабрике, сапожником, редактором газеты в маленьком городке, учителем, а также арендовал ферму. Но почва Новой Англии, как он размышлял впоследствии, представляет собой наследие ледникового периода и большую часть года попеременно оказывается жертвой огня и льда. По этой причине — или же оттого, что одержимость сельской природой мешала ему быть хорошим фермером, — он был вынужден чем-то зарабатывать на жизнь, а потому преподавал английский язык в одной сельской школе и пробовал в другой преподавать «психологию» (новый фетиш, открытый Уильямом Джеймсом).

Таким образом, в тридцать семь лет он не был ни преуспевающим фермером, ни признанным поэтом. Долгие созерцательные размышления о деревенской жизни и пейзажах Новой Англии нашли кое-какое воплощение в двух тоненьких стихотворных сборниках «Жизнь мальчика» и «К северу от Бостона». Но издать их ему удалось только после того, как в 1912 году он переехал в Англию с твердым намерением «писать и быть бедняком без

дальнейших скандалов». В Англии он бродил по Западно-му краю и нашел добрых друзей в лице Уилфрида Гибсона и Эдварда Томаса, двух ранних георгианцев; в то время у него, казалось, было много общего с ними, и они пришли от него в восторг. Он покинул Америку с семейной репутацией дилетанта, но по возвращении небольшой круг читателей встретил его как профессионала. С этих пор ему уже не приходилось перебиваться с хлеба на воду, и почти тридцать лет он с некоторыми перерывами жил на другой ферме, был так называемым «поэтом-преподавателем» в Амхерсте и с удовольствием читал курсы в Мичиганском университете, в Гарварде, но главным образом в Вермонтском колледже в Мидлбери и еще в Дартмуте. Примерно каждые пять лет он выпускал очередной сборник, а в сороковых годах, достигнув пика продуктивности, хлопотливо «собирал хворост», если использовать его собственное выражение, для ежегодных «поэтических костров».

С 1924 года он получал Пулитцеровскую премию за поэзию через правильные — примерно шестилетние — промежутки. Эта регулярность, подгонявшая его под образ солидного поэта, столпа существующего порядка вещей, начала внушать наиболее интеллектуальным его поклонникам подозрение, что его творчество, быть может, менее значительно, чем кажется на первый взгляд. И правда, Фрост долгое время страдал от того, что критики никак не могли перешагнуть через собственные шаблонные оценки модных тогда и весьма разнообразных поэтических школ. Из-за дружбы с английскими георгианцами некоторые очень долго и упорно видели в нем опростившегося бунтаря против все возрастающего превалирования техники в современной жизни, эдакого пересаженного на чужую почву деревенского простака, любителя крикета и эля. Из-за того, что его возвращение в Америку совпало с наивысшим расцветом «новой» поэзии Чикагской школы, в нем, разумеется, увидели Сэндберга Новой Англии. А из-за того, что в тридцатые годы он сохранял свое неизменное равнодушие к политике, осознававшие свой социальный долг писатели эпохи рузвельтовского «нового курса» сбросили его со счетов как чудаковатого беглеца от действительности.

По-видимому, мы не способны раз и навсегда понять (хотя от доказательств этому ломаются полки в любой библиотеке), что предубежденные современные оценки

писателей в дальнейшем лишь очень редко остаются в силе. Откровенно говоря, Фрост был столь же поглощен собственным творчеством, а в некоторых отношениях был столь же трудный поэт, как Эмили Дикинсон, чьи размышления о жизни замыкались стенами ее дома в Амхерсте в штате Массачусетс, куда не допускались никакие посетители и откуда сама она в течение двадцати с лишним лет выходила крайне редко. Фрост, так сказать, был Эмили Дикинсон под открытым небом — то есть диковинкой, какую и представить себе невозможно. Даже когда он создавал стихи, которые позже были признаны лучшими из всего, что он написал, его поклонники опять оказались не из той категории, которая могла удовлетворить литературных законодателей. Люди, называвшие его «наш поэт-классик из Новой Англии», кроме того, были склонны видеть в Уилле Роджерсе Марка Твена двадцатых годов, а в Перл Бак — путешествующую Джордж Элиот тридцатых. Эта своего рода сентиментальность наизнанку представляет собой, так сказать, произвольный рефлекс интеллектуалов, которые вместо того, чтобы просто наслаждаться творениями художника, нередко озабочены только тем, какую дать ему оценку. Фроста это мало трогало, и было бы ошибкой видеть в нем мученика в ту или иную пору его жизни. Но на протяжении многих лет хорошие люди отворачивались от него.

Другие люди, уже готовые восхититься, отшатывались по более честной причине. Они брали в руки его сборники, предвкушая большое удовольствие, и что же они находили? А находили они стихи столь же прямолинейные и незатейливые, а нередко и столь же ложнопатетические, как стишки в календарях, предназначенных для фермеров. Но если вы будете упорны и не отступитесь, то обнаружите, что и он был упорен куда раньше, чем вы. Порой он создает впечатление человека, лишенного какого бы то ни было поэтического дара, но упрямо преодолевающего простенький, почерпнутый из природы факт, чтобы любой ценой открыть какую-то вселенскую истину. Неискушенным читателям следует задуматься над тем, что в этих стихах всегда ощущается присутствие сознания, мятущегося, ищущего и в конечном счете трагичного. Даже названия его стихов обманчиво обыденны. «Корова в яблочную пору» — о корове, срыгивающей сидр, — как будто предваряет незатейливую рифмо-

ванную шутку. Но это не так. Вот послушайте:

...Вкусивши плод,
Она на пастбище пожухлое нейдет.
Меж яблонь мечется, тайком забравшись в сад,
Где паданцы в траве червивые лежат.
Потом бросает, надкусив слегка.
Закинув голову, мычит на облака.
А вымя ссохлось, нет в нем молока.

Только после второй мировой войны, когда пожар революции, зажженный Хэрриет Монро, мало-помалу угас и от стольких огненных фигур его остались лишь кучки пепла у дороги, новое поколение критиков внезапно обнаружило, что Фрост по-прежнему тут и по-прежнему пишет свои простенькие, корявые стихи. И их обуяло волнующее подозрение, что, может быть, это американский Донн или Феокрит-янки или же—куда более трудная истина—что это Роберт Фрост в своей собственной оригинальности. Мысль, что черника, или березка, или игры, в которые играл с этой березкой мальчик, живший «от города так далеко, что про бейсбол он ничего не знал»,—что все это выдерживает самое суровое и несентиментальное в них углубление, вначале пугала, но затем читатель дюйм за дюймом пробирался сквозь нерасчищенный подлесок и, как «Солдат» в стихотворении Фроста, обнаруживал, что

...помеха, бросившая ниц
На землю тело, дух вперед послала,
За все мишени...

К тому времени, когда его начали считать чистейшей воды суровым пасторальным поэтом, не более близким георгианцам, чем Томас Харди—Братцу Кролику, сам он уже отвергал физический мир, как коварного предвестника зимы и болезней. Можно сказать и проще: он был подлинным поэтом и надвигающаяся старость глубоко на него подействовала.

Лепестки, что я ловил когда-то,—
Листья черных моих минут.

В возрасте семидесяти лет он был готов упрекать бога за судьбу Иова и за свирепость по отношению ко всему

человечеству. Этот вызов, брошенный в «Маске разума», оказался свыше его сил, но к тому времени критики были готовы признать, что в отличие от всех предшествующих и последующих поэтов Фрост проник в некоторые вечные сомнения при помощи разговорного языка фермеров Новой Англии. В стихах, которые при всей своей разговорности построены с поразительной тонкостью, он претворяет камни и цветы, ветер и лесные ягоды, батраков, бастующих фабричных рабочих и мальчишек, лазающих по деревьям, в чистейшие символы того, что в человеческой жизни и наиболее прочно и легче всего погибает.

Для очень большого числа американцев он, по-моему, был просто благородным старцем, про которого говорили, что он большой поэт, живописное одушевленное добавление к новой обстановке Белого дома — своего рода искусно сшитый прабабушкой коврик из мешковины и лоскутиков, какие иногда можно видеть в изысканных, колониального стиля домах богатых уроженцев Новой Англии или Виргинии как скромную дань уважения своему происхождению. Вероятно, ему пришлось смириться с мыслью, что множеству своих соотечественников он известен только по нескольким строчкам единственного стихотворения «Остановившись в лесу в снежный вечер», как Джон Донн, наверное, в могиле возмущенно охает из-за тех людей двадцатого века, которым он известен только по афоризму «Ни один человек не остров». В наше время, в эпоху массовой розничной торговли, мы вынуждены упаковывать наших великих побыстрее и попроще, чтобы сделать из них ходовой товар.

И все же самый конец его жизни ознаменовался счастливым эпизодом, когда подлинные читатели Фроста и широкая, ничего в нем не смыслящая публика равно смогли увидеть его таким, каким он был на самом деле. В сосулочном блеске церемонии инаугурации Кеннеди Фрост в двенадцатиградусный мороз выступил вперед и попытался прочесть вслух с листка стихи, специально написанные к этому случаю. Солнце било в его слабеющие глаза, ветер хлестал по лицу, белое сияние снега было нестерпимым, и он, сдавшись, начал, запинаясь, говорить то, что запомнил, а пальцы в тайном бешенстве скребли ладони, а седые волосы взвихривались надобом. Неловкая минута для президента, для устроителей,

пригласивших Фроста, и для колоссальной толпы. Но это был лучший финал, какой он мог бы вообразить: старый фермер, с которого наконец-то сорвано все лишнее, ослепленный кряжистый дуб, запутавшийся в собственных ветвях, одураченный солнцем, холодом и ветром — первозданными силами природы, прежде дарившими ему радостное упоение, но теперь внушавшими недоверие, потому что он увидел в них вечных насмешников над родом человеческим от Эдема до Вашингтона, столицы США.

1963

ВЬЕТНАМ

...В сотнях книг, в тысячах газетных и журнальных передовиц писатели и журналисты обсуждали и обсуждают политические истоки войны во Вьетнаме и человеческие трагедии, с нею связанные. Однако читателя, по моему, больше всего волнует не новый аргумент в старом споре, но осознание того факта, что Америка, почти всегда побеждавшая в войнах, тоже может ее проиграть, а также — совсем недавнее открытие, — что слон может трубить изо всей силы и даже потрясти этим землю, но не самообладание муравьев, чьим трудом земля держится.

Начало войны было легким и эфемерным, как дуновение Зефира. Южный Вьетнам был просто одним из множества странных и незнакомых географических названий, пополнивших список стран, которые Америка, только что вкусившая мощь великой мировой державы, благородно поклялась поддерживать и защищать... Ведь было бы просто высокомерием с ее стороны отказать таким маленьким храбрым странам в горстке американских «специалистов», столь необходимых для военного инструктажа. Поэтому в 1962 году американские войска вступили в дельту реки Меконг, потеснили Патет Лао и взяли на себя заботу о Лаосе.

В первые годы президентства Джонсона, наверное год или два, тень Вьетнама еще не могла затмить триумфальный блеск законопроектов, которые ему удалось провести при поддержке большинства сенаторов. И очень-очень медленно мы начали осознавать, что американские военные специалисты — это американские солдаты. Затем мы

решили, что путь на рисовые плантации, вполне естественно, должен пролегать через прифронтовые госпитали. Первыми почувствовали всеобщее смущение и холодок на призывных пунктах. Затем начались студенческие выступления и появились на свет противники войны во Вьетнаме. Думаю, что многие из них совсем не были пацифистами, отрицавшими всякую войну. Большинство, мне кажется, принимали вторую мировую войну потому, что надо было остановить Гитлера, они также полагали, что война в Корее — это война справедливая, первая война после создания Организации Объединенных Наций. Но их обескураживал антигуманный характер войны во Вьетнаме, уничтожившей больше гражданского населения, чем солдат, и опустошившей страну, которую Америка клятвенно обещалась защищать. Это была война без традиционных утренних атак, без определенной линии фронта, война, которую не лимитировали никакие человеческие соображения относительно норм морали и выбора оружия. Слова «нападм» и «огнеметы» прочно обосновались в нашем лексиконе и ужасали сознание, хотя, к примеру, наша «стратегическая бомбардировка» Дрездена во время второй мировой войны, на мой взгляд, не лучше Хиросимы; в Европе тогда лишились крова миллионы женщин и детей. Но ведь всякая война — твердила нам администрация — это ад. Поэтому во Вьетнам посылались все новые военные силы, поэтому там сбрасывалось все больше бомб. Если быть точным, то на Вьетнам было сброшено больше бомб, чем в Европе и Америке за все время второй мировой войны. Численность американских войск во Вьетнаме возросла с тридцати тысяч человек до пятидесяти, затем до сотни тысяч, а потом и до полумиллиона солдат. И уже поговаривали, что, пожалуй, только семисоттысячная армия сможет осуществить обещания генералов, чьи предсказания, когда и как начнется благоприятный перелом в ходе военных действий, убийственно напоминали многоумные пророчества французских генералов, подвизавшихся на той же ниве войны несколько ранее. Позиция администрации имела в себе нечто от величавой прямолинейности Баха, если, конечно, допустить, что у них может быть хоть что-то общее. Главной темой стало утверждение, что война в Азии есть продолжение второй мировой войны, которая сначала велась против Гитлера, а теперь ведется против русских. Что Соединенные Штаты торжественно

покаялись противостоять любой агрессии, угрожающей свободным нациям. И если нарушить клятву, данную Вьетнаму, тогда и другие подопечные и зависимые от Америки страны ударятся в панику и сдадутся на милость коммунизма. Страны Юго-Восточной Азии, право, как домик, сложенный из костяшек домино: упадет одна, рухнут и другие.

Однако большая часть народа, ознакомившись с этим примером, отвергла его, как она отвергла и пример с войной в Корее, которая была самой обыкновенной агрессией, что признало и большинство Совета Безопасности ООН. Новые левые, в силу своего дурного характера, проводили другую аналогию, а именно: как белые обошлись с индейцами в самой стране, как они приняли решение известить туземцев, к их же собственному благу переселив на постоянно охраняемые «территории» бесплодной земли, где ни один белый не смог бы существовать. Ко мне тоже привязалась одна аналогия, я постоянно вспоминаю об аванюре Наполеона на Гаити. Чтобы расправиться с туземцами, он направил экспедиционную армию в составе семи военных кораблей и сорока пяти тысяч своих отборных вояк, что тогда выглядело столь же устрашающе, как полмиллиона солдат и бомбардировщики во Вьетнаме. Но на Гаити был свой, туземный, генерал Кристоф, который применил старинную тактику, позднее ставшую известной как тактика «выжженной земли». Еще более успешной оказалась и так называемая тактика «партизанской войны». И оборванное туземное население уничтожило цвет французского воинства. Этого урока оказалось достаточно, чтобы отвратить Наполеона от самой мысли посылать военные экспедиции за четыре тысячи миль от дома и самой идеи завоевать Северную Америку. Это решение имело благополучный результат: Наполеон продал Джефферсону огромные просторы Французской Луизианы за пятнадцать миллионов долларов.

Подобные аналогии нельзя чересчур выделять, потому что, как известно, новые башмаки всегда сильнее натирают ногу, чем разношенные.

Существует и еще одна опасная возможность, о которой мне говорил покойный премьер-министр Неру, когда война во Вьетнаме только-только разгоралась, а именно: западная держава, увязнувшая в Азии, не способна, подобно древним римлянам, поверить, что варвары могут

сокрушить мощь ее легионов. «Знаете,— говорил он мне весьма откровенно,— беда западных стран в том, что они не терпят ущерба своему самолюбию». Но военная игра во Вьетнаме только начиналась, и я как-то упустил из виду, что самолюбие техасца* особенно уязвимо...

Как же так получилось, что Америка обрекла себя на роль святого Георгия, долженствующего поразить сорок три дракона? Думаю, придется вернуться к «рассветным дням» американской мировой мощи в начале пятидесятих годов. Именно тогда давали торжественные обещания, не утруждая себя подсчетом, во что они обойдутся. Коммунисты, не говоря об участниках национальных движений и миллионах жителей Азии, которые просто-напросто хотели бы, чтобы Запад оставил их страны в покое, и не собирались испытывать американскую военную мощь. Даже в тот день, когда Кеннеди произнес свою речь при вступлении в должность президента страны, Соединенные Штаты только еще поигрывали бездействующими мускулами. Но в тот день президент произнес фразу, великолепную с точки зрения красноречия и ужасающую в смысле политическом. Затем госсекретарь Раск с большим чувством процитировал ее перед Комиссией по иностранным делам как главную и основополагающую: «Пусть знают все страны мира, и друзья наши, и противники, что мы заплатим любую цену, снесем любое бремя, встретим лицом к лицу любое испытание, окажем помощь каждому из наших союзников, дадим отпор каждому из наших противников во имя утверждения и процветания свободы».

Прекрасная фраза, но действовать в соответствии с ней — роковая ошибка. Конечно, могущественная страна может изъявлять подобное желание, но в действительности она не сможет поддержать любого союзника, или сразиться с любым противником, или вынести бремя гражданской войны в собственной стране, всегда сохраняя готовность ринуться на помощь сорока трем союзникам и дать отпор сорока трем противникам. Боюсь, что Вьетнам стал расплатой за эту фразу из инаугурационной речи Кеннеди.

1968

* Имеется в виду Линдон Джонсон, выходец из штата Техас.—
Прим. перев.

ТРАДИЦИЯ И МЕЧТА

Английские и американские романы пишутся на одном языке, и это обстоятельство часто мешает нам увидеть их различие. Бывают, конечно, исключительные случаи, когда это различие выражено чрезвычайно слабо. Вот Генри Джеймс: американский он романист или английский? Здравомыслие, придется сказать: и то и другое — Генри Джеймс принадлежит обеим литературам. И все же читатель-англичанин как-то легко забывает, что, прежде чем осесть в Англии, Джеймс был американцем и Готорн является его литературным предшественником в такой же степени, как Джордж Элиот. Когда же через отдельные романы вступаешь в лес книг, наиболее характерных для этих стран, тотчас выявляются весомые и четко определимые различия, объяснимые разным историческим опытом и неоднородностью национального характера.

Эти черты различия определились давно. В литературе XIX века они проступали так же ясно, как и сегодня. Разве мы не почувствуем существенной разницы, сопоставив великие романы викторианцев с их американскими ровесниками? В Америке не было своего Диккенса, своего Теккерея и Джордж Элиот, не было Тrollope — так ведь и в Англии нет своего Готорна, не было и Мелвилла.

Американские романисты с самого начала осознали свой разрыв с английской традицией. К этой позиции их вынудила природа общественного строя, в котором они жили и который имели возможность сравнивать с британскими порядками. Примерно полтора века назад Фенимор Купер в таких словах жаловался на американскую жизнь:

«Мы бедняки по сравнению с Европой — нашим писателям нечем поживиться, они работают на скудной ниве.

Для историка не написано летописей, для сатирика нет глупцов (дураки есть, но с них малый прок); драматург не находит нравов, романист — мрачных преданий; декорум не подвергается грубым и злостным нападкам, и, стало быть, без работы сидит моралист. Поэзия, которая и на голом месте кустится и пышно цветет,—ее тоже нет».

Тридцатью годами позже к жалобам Купера присоединится Готорн, положивший немало труда на то, чтобы убедить своих читателей: его книги — не обычные «романы», но романы «о необычном». Обычные романы, говорил Готорн, «стремятся к предельной точности, давая не только лишь правдоподобную, но правдивую и неприкрашенную картину человеческого существования». Условия жизни в Соединенных Штатах еще не подготовили тогда рождения такого романа, и в этом разгадка, почему не писал «обычных» романов Готорн.

Проходит тридцать лет, и Генри Джеймс в своей критической биографии Готорна возводит новые обвинения на американское общество, все еще неспособное потрафить романисту:

«Возьмем характерные признаки высокоразвитой цивилизации, присущие любой стране и отсутствующие в Америке,—их число грозит вырасти до такой степени, что впору хвататься за голову: с чем же мы остаемся?! В европейском смысле этого слова государства у нас нет, да еще не совсем понятно, какая мы, собственно говоря, народность. У нас нет монарха, двора, бескорыстной преданности кому бы то ни было, нет аристократии, церкви, духовенства, армии, дипломатической службы, сельских джентри, дворцов, замков, феодальных поместий, старых усадеб, пасторатов, домишек под соломенной крышей, увитых плющом руин, нет великих университетов и закрытых школ—где, скажите мне, наши Оксфорд, Итон, Хэрроу? Литературы нет, романов нет, нет музеев, картин, закоренелых политиков, заядлых спортсменов, где, покажите, у нас Эпсом или Эскот? Вот такой примерно можно составить список, чего нет в Америке—чего, во всяком случае, в ней не было еще сорок лет назад. Почти несомненно, случись такая же беда с англичанами или французами—и духовное развитие этих народов пострадало бы ужасным образом. Это приговор, и вывод неизбежен и прост: тем дали все карты в руки, а мы оставлены ни с чем».

Так-таки и ни с чем? — воскликнет приятель Джеймса

и его товарищ по перу Уильям Дин Хоуэллс. Нет, осталась «жизнь людей во всей ее полноте». Очень хочется разделить демократический пафос Хоуэллса, но что касается романа, Хоуэллс ошибался, а прав был Джеймс, воспитавшийся на прозе Бальзака и Диккенса, Флобера, Тургенева и Джордж Элиот.

Для европейского романа — и для английского, может быть, в особенности — главной темой была жизнь человека в обществе, а точнее выразиться — воспитание мужчин и женщин. В каком же смысле? А в том, что люди вживаются в жизнь общества и учатся отличать настоящее от фальши — и в себе самих, и в окружающем их мире. Сказанное относится и к прозе Джейн Остин, и к сочинениям бунтаря Д. Г. Лоренса, в чьих книгах одинаково важное место занимают общественные вопросы и проблемы пола.

Английский роман породил условия, которых, разумеется, и в помине не было в Соединенных Штатах сто пятьдесят лет назад. Более того, их и не должно было быть, как о том объявили сами Соединенные Штаты. В длинном списке признаков высокоразвитой цивилизации, который с серьезными намерениями, хотя и не без юмора, потрудился составить Джеймс, легко разглядеть элементы того европейского общества, из которого сломя голову бежали первые американцы.

«Наша неразвитость и грубость в XIX веке, — писал Льюис Мамфорд, — вовсе не тем объяснялась, что мы еще не обжились на новой земле. Просто-напросто в своей духовной жизни мы забыли и думать о том великом прошлом, о котором все еще помнила Европа. Американец — это раздетый донага европеец. Колонизация Америки — это одновременно расшатывание европейской твердыни, и процесс этот направляли люди, не желавшие и не умевшие жить вчерашним днем. И в Америку направили свой путь европейские изгнанники, без всякого Моисея шествуя по бездорожью. Здесь они остались проводить свое изгнание, и в награду им, может статься, мерещилась Обетованная Земля».

Обетованная Земля, американская Мечта — дело не в названии: важно, что эта страна ни в чем не будет походить на оставленную Европу...

Заявлением «Американец — новый человек» Кревкер заключает свой перечень благ американской жизни, до странного похожий на скорбный список ее несовер-

шенств, составленный через шестьдесят лет Джеймсом.

В известном смысле классический американец признавал общество только простейшего типа. В сознании многих американцев разрыв с Европой и прошлым означал также упразднение любого внешнего давления на личность. В душе американец носил бунт против общества. В этом отчасти смысл великого романа «Приключения Гекльберри Финна», сыгравшего едва ли не решающую роль в создании американского мифа. Вот заключительные слова этой книги: «Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал»¹.

Чаще всего классические американские романы уделяли внимание не жизни человека в обществе, а жизни человека-одиночки, человека наедине с собой, в борьбе с самим собой.

Готорн оставил полную драматизма картину своего разорванного, двусмысленного родства с пуританами-предками и сознание греховности этого союза. Мелвилл в «Моби Дике» предлагает свое понимание зла, проистекающего из самонадеянной человеческой гордыни, которая не желает знать смирительных границ. В лучших образцах американской литературы прошлого и настоящего звучит голос Уитмена: «Я был человеком, я страдал, я был с ними»: Упор делается на личность — так у Крейна в «Алом знаке доблести», так в ранних новеллах Хемингуэй о мальчике Нике. В центре — отдельное человеческое существо, познающее жизнь. Но в какие-то моменты личность утрачивает свою обособленность и как бы вмещает в себя всю жизнь рода людского, становится Человеком, как, например, Уолт в «Песни о себе» Уолта Уитмена или герои романов Томаса Вулфа. Здесь проявилось все то же стремление — вырваться из общества. В наше время его наиболее ярко выразил Хемингуэй.

В том, что после своих ранних новелл Хемингуэй так и не сумел примириться с американской действительностью, европейский читатель, скорее всего, увидит невосполнимую слабость писателя. Но если вспомнить традиции американской литературы, дело представляется в ином свете: Хемингуэй «удирал на индейскую террито-

¹ Марк Твен. Собр. соч., ГИХЛ, 1961, т. 6, с. 305.

рию», искал Землю Обетованную, иными словами—отвоевывал американскую Мечту.

Одиноким героям определяют лицо американской прозы. В отличие от героев английских романов им, как правило, открыты иная жизнь, иное назначение. Отшельники, отчужденные от современного им общества, окруженные оболочкой пустоты, эти герои подчас кажутся больше самой жизни, во всяком случае такой жизни, которую дотошно воспроизводил реалистический английский роман, где толпа изображаемых мужчин и женщин неизбежно занижала центрального героя до своего уровня.

В них, в этих американских героях, сквозит нечто эпическое, что-то от мифа. Чтобы в этом убедиться, достаточно вызвать на проверку типичных героев американской беллетристики: Нэтти Бампо—Купера, Эстер Принн—Готорна, Измаил и Ахав—Мелвилла, Гек Финн—Марка Твена, Гэтсби—Скотта Фицджеральда, Юджин Гант—Вулфа, Сатпен и Джо Кристмес—Фолкнера, Холден Колфилд—Сэлинджера, Гендерсон—Беллоу.

Эти персонажи не показаны в процессе осознания природы общества и самих себя в этом обществе, своего места в нем, нет, они бесповоротно отторжены от общества...

Эти герои завораживают нас, как пришельцы из области мечтаний, вызванные к жизни, я бы сказал, национальным бессознательным, а сами романы волнуют неподдельным драматизмом, как скоро авторы понимают, что «трудный удел—быть американцем», по известному выражению Генри Джеймса, вникают в истоки и последствия этой судьбы. Редкий писатель сохраняет при этом спокойствие: коробится его стиль, бурные события сотрясают книгу. Под «трудным уделом» Джеймс понимал незатухающую любовь-ненависть американца к Старому Свету, вечно колеблющиеся весы отрицания и переоценки Европы.

Однако «трудный удел» подготовили и другие обстоятельства. Психологию американца на несколько поколений вперед определили условия жизни на фронтире—эта психология держится еще и в наши дни. Другой причиной «трудного удела», по мысли Ричарда Чейза, было «манихейство новоанглийских пуритан». «Закрепившись в литературе,—пишет Чейз,—пуританизм Новой Англии

с его величественной картиной предопределения и проклятия, борьбы царства Света с царством Тьмы и вечного действия Добра и Зла, казалось, воскресил манихейство. И совсем как пуритане Новой Англии, американцы предпочитают мелодраму вечной и бесконечной борьбы Добра и Зла идее искупления; расторгнутость и хаос волнуют их больше, нежели воплощение и примирение».

Эти глубокие исторические корни питают столь типичное для американской жизни чувство индивидуальной изолированности и непереносимое в этом случае чувство отчужденности — и этими чувствами живет и дышит американский роман в его самобытной форме выражения.

Неизменная озабоченность — что значит быть американцем? — составляет вторую постоянную черту американского романа. Только в периоды серьезных народных испытаний нечто похожее обнаруживает и английский роман — в первую очередь вспоминается «Быть паломником» Джойса Кэри. Но в целом английский роман не занимается выяснением вопроса, что такое англичанин. Английский писатель не скажет сам и герою не позволит сказать что-нибудь похожее на слова Дедалуса из «Портрета художника в молодости» Джойса: «Здравствуй, жизнь! В миллионный раз я иду вкусить твою реальность и в кузнице своей души выковать еще бесформенное сознание человечества».

Английский характер сложился не вчера и не одним разом — многие поколения приложили руку. Но исторически вышло так, что американские поэты и романисты свою первейшую задачу понимали как раз в духе хвастливого заявления Стивена Дедалуса. Скоро будет уже два столетия, как Америка пользуется национальной независимостью, а писатели ее все еще бьются над этой «первейшей задачей». Дело представляется таким образом, что американец не только «новый человек», как его аттестовал Кревкер, но человек, «создавший» самого себя. Возьмите любой период: американец ищет возможности примириться с американской жизнью, осознать ее, заручившись собственной поддержкой, — он, видите ли, американец, а это кое-что значит! В конечном счете большинство лучших американских романов верны одной теме — Америке.

Хорошей иллюстрацией этого положения служит «Великий Гэтсби». В романе Фицджеральда показана жизнь, ограниченная определенным местом и определенным

моментом времени. Однако в конце романа мы чувствуем: тут есть «что-то еще», и вот этого «что-то еще» мы никогда не найдем в английском романе.

Разумеется, от поколения к поколению меняется подход, перемещаются акценты. Джеймс пытался определить характер американской жизни, противопоставляя своих героев-американцев (и особенно героинь) европейцам, с которыми те встречались во время своего паломничества в Старый Свет. А сегодня на повестку дня все чаще выносятся конкретный аспект старой проблемы: что значит быть южанином? Это обстоятельство, конечно, многим обязано Фолкнеру, но и преувеличивать его значение тоже не следует.

Однако остается «что-то еще»... «Великий Гэтсби» кончается словами: «Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки... И в одно прекрасное утро...

Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое»¹.

«Зеленый огонек» в конце причала, где жила Дэзи Бьюкенен, «неимоверное будущее счастье» — в этих образах представляется Фицджеральду американская Мечта, которая манит и отодвигается с каждым годом. По-прежнему оставаясь мифом, во многом определяющим духовный уровень американцев, Мечта неизбежно остается нереализованной, ибо невозможно сколько-нибудь точно определить ее границы — заветные мечты множества людей укладываются в ее размытый контур.

С самого начала американская беллетристика в основном жила влечением к Мечте и чувством, что Мечту предали. На этом держатся романы Купера о Нэтти Бампо, отсюда идет горечь и ярость многих американских «радикальных романов» — от Фрэнка Норриса и Драйзера до Нормана Мейлера. Творчество этих писателей проникнуто критическим отношением: к предмету изображения (отдельный американец или какая-нибудь сторона американской жизни) они подходят с заранее составленным представлением о том, какой должна быть жизнь

¹ Ф. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. М., 1965, с. 179.

в Америке, и, противопоставляя идеал действительности, вершат суд над ней.

Далее. Еще одну характерную черту американского романа можно показать на примере Драйзера. В своей работе «Современный роман в Англии и Америке» профессор Джон Маккормик¹ определяет эту черту как «парадокс», знакомый только американскому писателю: ставший традицией отказ от традиций. Из истории мы знаем, что в отличие от английских романистов их американские коллеги всегда предпочитали вести уединенную жизнь: на целых двенадцать лет заточил себя в Сейлеме Готорн, бежал с глаз долой Мелвилл, определившись на нью-йоркскую таможню, а в наше время подолгу отсиживался в Оксфорде (штат Миссисипи) У. Фолкнер. Спору нет, причины тут могут быть самые разные, но важно уже само это отличие американской литературной сцены от стадной литературной жизни в Англии, сосредоточенной по преимуществу в Лондоне.

Изолированность, которой ищут для себя многие американские писатели, англичанину может показаться позерством, демонстративной акцией. Можно подумать, что литературная жизнь представляется романисту микрокосмом того самого общества, от которого он желает держаться подальше.

В самоизоляции писателя есть недостатки и преимущества. Ты не такой, как все, и ты одинок—эта мысль может порядком распалить честолюбие. Вы не находите себе равных, не знаете, кем можно себя мерить,—и покажутся доступными бог знает какие высоты. Но если, начав писать, человек продолжает дорожить своим одиночеством, нужно иметь железное чувство самокритики, чтобы не разболтаться и не удариться в эксцентричность. Например, Фолкнер. Он, конечно, гений. Но отнимите у Фолкнера его гений—и нам не о чем будет говорить.

Гений спасает Фолкнера, и все же в мысли Эдмунда Уилсона заключено много правды: «...слабость Фолкнера... есть старческая слабость общества, в котором он обретается...»

Выявляя черты различия между американским романом и английским, нельзя не остановиться на следующем

¹ J. McCormick. Catastrophe and Imagination: An Interpretation of the Recent English and American Novel, London, 1957.

моменте. Если американская беллетристика в первую голову решала вопрос «что значит быть американцем» и с этой целью выпускала героя-одиночку в открытый мир, то английская проза на протяжении всей своей истории была отягощена идеей «класса». «Класс» есть в любом английском романе, какого писателя ни возьмете. Есть он у Гиссинга и Уэллса, у Лоренса и Оруэлла. Есть у Джейн Остин и Теккерея, у Мередита. Снобизм и претенциозность, неотделимые от понятия классовости, для английской прозы были неистощимым источником комизма, питавшим творчество и Фанни Берни, и Л. П. Хартли, и Энтони Поуэлла.

Различие двух литератур резюмируется хотя бы таким образом: писатель-новичок из Соединенных Штатов еще может мечтать, что когда-нибудь он напишет великий американский роман; англичанину же непозволительно даже задумываться об этом. За его спиной лежат два с половиной столетия английского романа, и нужно иметь по-настоящему большой талант, чтобы почувствовать себя несвязанным, свободным. С первых же шагов в литературе английский романист неизбежно подтраивается к какой-то традиции, может быть, безотчетно и, может быть, даже против своей воли.

На узость этой традиции ему, впрочем, не приходится жаловаться. К тому же роман — жанр международный, и английский романист может отчасти усвоить традиции романа, бытующего за пределами Англии. Он может вдохновиться Достоевским, Прустом или Джойсом, не говоря уже о французах XIX века. Национальная английская традиция удивительно легко воспринимает зарубежные образцы, но, восприняв, слегка видоизменяет их.

Великаны английской литературы открыли пути, которые новым писателям и читателям кажутся непреложными, обязательными. Англичане чувствуют могучее незримое присутствие Филдинга, Джейн Остин, Пиккока, Диккенса, Тrollope, Джордж Элиот, даже Гиссинга, которые навечно наложили свою печать на определенные характеры и ситуации. Можно сказать и по-другому: в определенных обстоятельствах англичане разыгрывают старые роли и говорят реплики, подсказанные незримым присутствием этих могучих суфлеров. От подобной тирании прошлого американский романист свободен. У него, надо думать, больше гонору, больше дерзости. Он более шероховат, что ли: красота, форма, тонкий психологиче-

ский анализ его мало волнуют, да они просто ему недоступны. Ведь говорил же Томас Вулф: это все «Европа, ерунда». И если писатель-американец не по таланту честолюбив, претенциозность его не знает границ.

Конечно, наши рассуждения носят предельно общий характер и оборачиваются против нас же, как скоро мы беремся рассматривать творчество конкретного писателя — безразлично, американца или англичанина. Время и общественные перемены могут и вообще расстроить наши выводы. В самом деле, на протяжении только последних пяти лет литература обеих стран претерпела заметную эволюцию, и, если движение не застопорится, мы будем свидетелями значительных перемен...

* * *

Свой сборник рассказов «Кони и люди» Андерсон посвятил Теодору Драйзеру, романисту, значение которого почти всякий раз преуменьшается в сегодняшней Америке. Нетрудно разглядеть и причины подобного отношения. Кроме поразительной искренности, произведения Драйзера ничем не поражают; сомнительно, написал ли он когда-нибудь хоть одну фразу, которая могла бы доставить эстетическое удовлетворение, будучи взята изолированно, сама по себе. Грамматика, синтаксис, словоупотребление у Драйзера чрезвычайно произвольны, и более или менее продолжительное чтение даже его лучшей книги — «Американской трагедии», где, начиная со второй половины романа, причастия настоящего времени почти окончательно присваивают себе функции глаголов, — производит на органы чувств не менее угнетающее действие, чем звук безостановочно работающей пневматической дрели. Но в конце концов к читателю прорывается некий сигнал, для передачи которого вся эта невнятица и была, по-видимому, предназначена. Становится ясно, что перед вами писатель, глубоко обеспокоенный судьбой своих героев. В итоге приходится согласиться с Менкеном, который писал: «Драйзер сам способен чувствовать, и поэтому он не оставляет равнодушным. Остальные же просто жонглируют словами».

Первое, что поражает читателя в романах Драйзера — идет ли речь о Филадельфии середины прошлого века в

«Финансисте» или о Канзас-Сити и Ликурге в «Американской трагедии»,— это поразительное духовное убожество обитателей американских городов. Персонажи Драйзера, можно сказать, посажены на «голодную диету», их интересует только материальный комфорт, их взаимоотношения сведены к денежным расчетам и животным поползновениям. Драйзер первым из писателей США запечатлел этот аспект действительности. Он знал эту жизнь изнутри, она составляла тот мир, в котором он родился 28 августа 1871 года в многодетной семье немецкого иммигранта.

С детства Драйзеру был знаком не сельский Средний Запад Уиллы Кэсер, Андерсона и Льюиса, а забытые переселенцами, лишенные всякой прелести городские поселки штата Индиана. До Драйзера писатели Америки, за исключением Норриса и Синклера, видели свой долг в изображении, по знаменитому выражению Хоуэллса, «наиболее радостных сторон жизни, являющихся в то же самое время и наиболее американскими». Появление Драйзера с его скептическим взглядом на американскую Мечту произвело подлинную революцию.

Драйзер рос в крайней бедности, в обстановке, где девушкам постоянно угрожала «кривая дорожка», а юношам — тюрьма. Он впервые обратился к серьезному чтению, работая репортером в газете, и те немногие, кого он избрал в качестве наставников, оказали на начинающего писателя неизгладимое впечатление.

Свой общий взгляд на искусство прозы Драйзер перенял у Бальзака. Герберт Спенсер снабдил его философией, а пример Томаса Гарди, откликнувшегося на спенсерианство, укрепил воззрения Драйзера. «В моем понимании человек — это бесконечно малая величина, пытающаяся не сбиться с курса, если можно вообще говорить о каком-либо курсе в таинственном и хаотичном мире. Короче говоря, во всем, с чем мне пришлось столкнуться в жизни, я не разглядел и тени смысла. Я по-прежнему плыву по течению, смущенный и удрученный всем, что представляется моему взору». Текучесть, изменчивость — вот в чем суть жизни, по мнению Драйзера; сочувствие к людям становится ведущей темой в его произведениях. «Дайте мне жить настоящей жизнью», — восклицает один из персонажей его романа «Стоик», опубликованного посмертно.

Величайшая заслуга Драйзера-писателя состоит в пос-

ледовательном, верном, вплоть до мельчайших деталей, воспроизведении той жизни, которую он сам знал, что называется, из первых рук. Так обстоит дело уже с его ранним романом «Сестра Керри» (1900). Отправившись в Чикаго в поисках работы, Керри Мибер, такая же бедная провинциалка, как и сестра самого Драйзера, встречается с коммивояжером Чарлзом Друэ и становится его любовницей. Через Друэ Керри знакомится с Джорджем Герствудом, управляющим баром, который, скрыв от нее и свои семейные неурядицы, и совершенную им растрату, уговаривает Керри бежать с ним. В Нью-Йорке Герствуд пытается вновь вернуться к своей профессии, но в фокусе повествования уже находится сама Керри, которая, избавившись от незадачливого любовника, становится преуспевающей певичкой, звездой варьете. Удел же Герствуда — безработица, а затем и самоубийство.

Роман Драйзера был запрещен к публикации по обвинению в аморальности — имелось в виду отсутствие угрызений совести у героини, которую в итоге ее греховной жизни поджидала не расплата, а, напротив, шумный успех. Но гораздо более убедителен в романе образ Герствуда, все подробности деградации которого обрисованы уверенной и беспощадной рукой. Герствуд вовсе не «дурной человек» (такого рода понятия вообще чужды драйзеровскому образу мышления), он просто жертва случая. Герствуд непредумышленно становится вором: вытащив деньги из сейфа и пораженный величиной суммы, он раскаивается в своем поступке. Но уже поздно: дверца сейфа захлопывается, банкноты остаются в руках у Герствуда.

«Дженни Герхардт» вышла в свет в 1911 году. Перед нами снова «падшая женщина», и снова Драйзеру нет никакого дела до благостной «справедливости», торжества которой в романе требовало от писателя время. В отличие от Керри образ Дженни более правдоподобен благодаря, видимо, отсутствию у нее особых претензий на «интеллектуальность». По словам Драйзера, в характере Дженни «глубине чувства не всегда соответствует уровень ее интеллекта». Но писатель симпатизирует своей героине: «Готовность услужить, прийти на помощь говорит о благородстве натуры, но общество редко ценит по достоинству эти качества». Дженни всегда готова откликнуться на любой зов, и это, в глазах романиста, свидетельствует о ее природной неиспорченности.

В «Финансисте» и «Титане» Драйзер разрабатывает тему, которая всегда будоражила его воображение. Он пишет о путях к богатству, об американских миллионерах второй половины XIX столетия. Юношеские годы Фрэнка Каупервуда, сына банковского служащего из Филадельфии, протекают накануне Гражданской войны. Два образа, извлеченных Драйзером из биологии, служат обоснованием жизненной стези Каупервуда-«финансиста». Еще мальчиком, наблюдая за схваткой омара с лангустой, юный Фрэнк делает вывод: «Так и повсюду: каждый живет за счет другого». В конце романа Каупервуд, только что отбывший срок в тюрьме по обвинению в воровстве и готовый вновь ринуться в погоню за богатством, уподобляется Драйзером черному морскому окуню *Mysteroperca Bonaci* с его «непревзойденным умением приспособливаться к любым обстоятельствам». И Каупервуд, и *Mysteroperca*, в глазах романиста, служат «движущей вселенной, лишенной атрибута божественной благодати». Иначе говоря, Драйзер не судит о своем герое с нравственной точки зрения. Каупервуд—это все равно что великолепное выхолощенное животное, для которого цель всегда оправдывает средства и которое добывается заслуженного успеха лишь благодаря своей жизнестойкости и бесцеремонности в действиях (что, впрочем, вытекает одно из другого). Образы, почерпнутые из животного мира, теснятся на страницах «Финансиста». Каупервуд и его любовница Эйлин сравниваются с двумя леопардами «одинакового темперамента»; маклеры на фондовой бирже напоминают «стаю изголодавшихся чаек... готовых наброситься на любую неосторожную рыбешку». В то же время Драйзер настойчиво проводит параллель между Каупервудом и торговыми династиями времен итальянского Возрождения; как и они, Каупервуд ошеломительно великолепен.

Нет сомнения, что воцарение в Америке бесконтрольного финансового капитализма казалось Драйзеру следствием вмешательства в жизнь людей аналогичных естественных законов. В результате под его пером родилось вдохновенное произведение (уступающее только «Американской трагедии»), в котором весьма фундаментально и в то же время в яркой форме прослежено развитие капитализма на протяжении второй половины XIX века.

Роман «Титан» менее удачен, и в основном потому, что Драйзеру уже с трудом удастся поддерживать чита-

тельский интерес к фигуре Каупервуда. Писатель сопоставляет своего героя то с Ганнибалом у врат Рима, то со знаменитыми елизаветинцами. И хотя изображение финансового мира Чикаго 70—80-х годов вызывает любопытство, образ самого Каупервуда как-то тускнеет. В «Титане» Драйзер уже не сообщает ничего нового; роман этот малооригинален и статичен.

Несмотря на многочисленные уязвимые места, «Американская трагедия», бесспорно, величайшее творение Драйзера. Ее фабула проста. Клайд Грифитс, сын уличных проповедников из Канзас-Сити, мечтает о роскошной жизни. Он поступает рассылным в отель, но, попав в дорожное происшествие, вынужден бежать из города. В Нью-Йорке он встречает своего дядю Сэмюела, владельца фабрики по изготовлению воротничков, расположенной в захолустном Ликурге. Чувствуя себя морально обязанным перед юношей, Грифитс дает племяннику место на своей фабрике. Вскоре Клайд совращает молодую работницу Роберту Олден, которая ждет от него ребенка. Затем у Клайда появляются шансы жениться на богатой Сондре Финчли, и он вместе с Робертой отправляется на прогулку к отдаленному озеру с твердым намерением избавиться от надоевшей ему девушки. Но смелость покидает Клайда. Случайно лодка, на которой они катались, переворачивается, и Роберта тонет. В итоге долгого процесса, становящегося частью политической игры, Клайд приговорен к казни на электрическом стуле.

Сразу же возникает два вопроса-близнеца: действительно ли мы имеем дело с трагедией и насколько эта трагедия специфически «американская»? Конечно, роман Драйзера далек от «трагедии» в общепринятом понимании этого термина, будь то классическая трагедия или книги типа «Тэсс из рода д'Эрбервилей» и «Джуд Незаметный» Томаса Гарди. Клайд Грифитс — пассивная жертва обстоятельств, «тупой мул», по выражению Уиндема Льюиса; сам Драйзер говорит о нем как о «душе, которой не суждено было вырасти». Он эгоистичен (что неоднократно подчеркивается писателем), слаб, нерешителен и, если судить трезво, вряд ли должен рассчитывать на читательскую симпатию. «Почему бы не покончить с этим сукиным сыном и закрыть дело!» — раздаются возгласы в судебном зале. Возмущенных горожан можно понять: ведь речь идет о «никчемном, никудышном человечике». Клайд Грифитс — антипод трагического

героя, но Драйзер делает его героем своей «трагедии».

Сочувствие Драйзера Клайду Грифитсу настолько глубоко и безгранично, что мы попадаем под власть этого чувства даже против собственной воли. Но роман Драйзера совсем не сентиментален, и его автор толкует о более общих, внеличных проблемах. Говоря нам правду о безвольном человеке, неизменно склоняющемся под властью обстоятельств, романист утверждает всеобщность, характерность судьбы Клайда. Если трагедия действительно имела место, то суть ее в противоречии между тем, что человек ожидает от жизни, к чему он подготовлен полученным воспитанием, и открывающейся перед ним действительностью.

В названии романа Драйзера, быть может, помимо воли автора, скрывается уничтожающая ирония. «Вот какой род трагедии возможен на американской почве», — как бы говорит нам Драйзер, но его подход к теме настолько серьезен и искренен, что, невзирая на незначительность фигуры Клайда Грифитса, мы можем согласиться с романистом и повторить вслед за Уилфридом Оуэном: «Где слышится скорбь, там должно быть место и для трагедии».

Но в чем специфика национального колорита книги? По мысли Драйзера, она — в подчеркивании контраста между американской Мечтой о достатке и даже роскоши доступной немногим, и той нищетой, в которой живут миллионы американцев. Причем под «нищетой» подразумевается не просто безденежье, но и нищета духа. Драйзер мастерски раскрывает сложность этого краеугольного тезиса своей книги. Вспомним хотя бы о родителях Клайда, славящих имя господа и не имеющих медного гроша за душой, о его собственных самоуничижительных размышлениях на пороге отеля в Канзас-Сити, этого символа преуспевающей Америки, и, наконец, о том чувстве ужаса, охватившем Клайда при одной мысли о непроходимой бедности, в которой жили старики — родители Роберты.

Драйзер смело смотрел в лицо фактам американской реальности и в этом отношении стоял выше любого другого писателя своей эпохи, откликнувшегося на призыв Гарди: «Если хочешь сделать жизнь лучше, не закрывай глаза на дурное». Вот почему он остается отцом современного американского романа, живым фактором нынешнего литературного процесса. В первые два десяти-

тилетия XX века, когда литература США не могла похвастаться выдающимися достижениями, Драйзер являл собой героическую фигуру одинокого гиганта. Конечно, были в ту пору и другие писатели: Уилла Кэсер, Андерсон, Эллис Глазгоу, реалистически воссоздававшая картины американского Юга, наконец, Эдит Уортон, автор «Итены Фрома», драматического повествования о новоанглийском фермерстве и выдержанных в духе Генри Джеймса зарисовок воздействия богатства на моральный облик его обладателей. Но все они, вне зависимости от степени таланта, стояли как бы на периферии американской жизни; один только Драйзер ставил перед собой цели, сопоставимые с творчеством крупнейших английских романистов своего времени, только он один чувствовал бы себя равным среди равных в их обществе.

«Мой двадцать третий день рождения. Закусывал в грязной луже». Вот запись Паркмена из путевого журнала 1846 года, и нелегко найти нечто подобное в дневниках какого-либо другого деятеля культуры. Бесспорно, никогда еще ветер не гулял так свободно на дне рождения историка. Не было привычного запаха документов, не было надежного чувства рабочего кресла. Уже в течение трех недель Паркмен путешествовал по трудным и опасным дорогам Орегона, и в записях, сделанных неделю-другую назад, он дал волю воображению, описывая разнообразные испытания, через которые ему пришлось пройти между восемнадцатью и двадцатью двумя годами от роду.

«Шоу и Генри пошли на буйволов. Г. убил двух быков. Во время завтрака капитан ведет себя очень нервно, как старушка: ему не нравится вид холмов, отделенных от нас по крайней мере полумилею,—там могут быть индейцы, готовые совершить конную атаку. В полдень оседлал лошадь и поехал в горы—полно антилоп,—прилег на голую скалу и сравнил мое нынешнее положение с тем, как я жил в римском монастыре».

Несомненно, никто из историков не начинал строить жизненные планы так рано и не учился писать так упорно, как Паркмен. Уже к восемнадцати годам весь абрис огромного труда «Франция и Англия в Северной Америке» сформировался в его сознании; оставалось только собрать материал и приступить к работе. Известно, какое значение биографы Гиббона придавали его бескорыстной службе в хэмпширской милиции; но что же тогда сказать о молодом историке, который перед тем, как начать свой первый том, «Заговор Понтиака», находит необходимым совершить долгое путешествие в Евро-

пу, в Рим, где останавливается в монастыре Страстей господних, чтобы проникнуться духом симпатии к миссионерам-католикам, героям второго тома (опубликованного двадцать четыре года спустя), а после этого предпринимает поездку в Орегон на поиски индейского фольклора, подрывая таким образом навсегда свое здоровье ради того, чтобы собрать второстепенный материал?

Паркмен писал неровно (как отмечает заслуживающий восхищения редактор этих дневников, «у него была, похоже, прирожденная склонность к некоторой высокопарности, точно так же как с рождения ему изменял слух»), однако эти недостатки вкуса исчезают в мощном напоре самого сюжета, подобно тому как это происходит с сочинениями Мотли, а в наши дни — с сочинениями Черчилля. Он путешествовал по опасной пустыне с единственным спутником, как и один из персонажей его эпоса и как герои Фенимора Купера, пробудившего его гений; он питался собачьим мясом вместе с индейцами и кочевал вместе с ними, он наблюдал за тем, как племена готовятся выйти на тропу войны, и слушал вести о гибели индейцев-менял. Начиная с XVII века ни один историк не жил и не страдал так ради своего искусства. Подобно Прескотту, он почти лишился зрения и должен был пользоваться проволочной решеткой, чтобы удерживать перо, он страдал от мизантропии и меланхолии, которая, словно пес, вылизывающий собственные внутренности, лишает жизненных соков его ранние дневники («Эти ничтожные лица, эти тонкие, слабые, покачивающиеся фигуры, — встречая их на Бродвее, испытываешь отвращение и первобытную ненависть к человеческой природе»). Работа, задуманная в восемнадцать, начатая в двадцать восемь, была завершена в пятьдесят девять, за год до смерти, — ценой здоровья и борьбы со временем. Это было призвание поэта, которому он следовал со страстью и отчаянием, презирающим любые последствия, и как свидетельство гворческих усилий дневники Паркмена так же важны, как и дневники Генри Джеймса. И как же близко напоминает нам все семейство Джеймсов и их странную меланхолию одно из писем Паркмена: «В промежутке между 1852 и 1860 годами перебои в мозговой деятельности происходили с большими и на вид бесконтрольными колебаниями. Были приливы и отливы. Незначительные и порой необъяснимые причины порождали приступы, которые длились месяцами почти без

перерыва. Когда наступало облегчение, я использовал передышку для сбора материала и подготовки основы будущей работы, если ее удастся когда-нибудь осуществить. В моменты обострения мое положение было незавидным. Я не мог ни слушать то, что мне читают, ни участвовать в беседе, даже на самые незначительные темы. Сон был плохой и часто вообще не приходил одну или две ночи, когда мозг пребывал в состоянии крайнего возбуждения, которое надо было любой ценой погасить, ибо работа мысли приносила невероятные страдания. Усилия, потребные для того, чтобы успокоить возбужденный орган, были так утомительны, что я часто поднимался и проводил целые часы на улице, находя отвлечение и облегчение в разглядывании полицейских и бродяг в сквере перед Бостонской площадью и рискуя сам сойти за бродягу. К концу ночи это мозговое возбуждение, казалось, истощало самое себя и уступало место чувству тяжести и подавленности, которое переносить было гораздо легче».

Мистер Мэйзон Уэйд — превосходный редактор, чуткий к особенностям стиля Паркмена, его достоинствам и недостаткам; он хорошо знает предмет и необыкновенно настойчив в установлении даже самых эпизодических героев книги. Его примечания нередко столь же красноречивы, сколь и сам текст — например, о Старом Дике, забавном трудяге с озера Джордж, который ловил гремучих змей и демонстрировал их в ящике, на котором было написано: «В этом ящике гримучая змия, которую выловили на Черных Халмах. В прошлый июль ей стало семь лет. Шесть пенсов за вход. Детям половина или даром»; или о странном типе, Джозефе Бранте, он же Тайнданега, вождь племени мохок и франкмасон, который спас от казни собрата по ордену, подавшего ему условный знак. Бранта принимал у себя Босуэлл, его портрет писал Ромни...

Мистер Уэйд обнаружил эти дневники в старом бостонском доме Паркмена на Каштановой улице, действуя с романтической и парадоксальной простотой честертоновских детективов.

«Индийские трофеи Паркмена все еще висели на стене; на полках все еще стояли изрядно потрепанные издания Байрона, Купера и Скотта, которые всегда входили в число его любимых писателей; а посреди комнаты, накрытый чехлом, стоял стол, за которым были

написаны великие исторические труды. Стол был двухтумбовый; на одной стороне ящики были, со всей очевидностью, исследованы и освобождены от своего содержимого; на другую сторону не обратили внимания; здесь хранились недостающие дневники и обширная корреспонденция, в том числе наиболее важные из писем, отправленных и полученных Паркменом».

Для широкого читателя наиболее интересной из уэйдовских находок является дневник путешествия по Орегону, который редактор справедливо предпочел основанной на нем работе — первой и наиболее популярной работе Паркмента, популярной, быть может, только благодаря редактуре, приспособившей ее ко вкусам времени и осуществленной другом историка Чарлзом Элиотом Нортон, «который подверг ее тщательной баудлеризации по линии антропологических сведений и наблюдений за жизнью Запада, казавшихся, по-видимому, слишком грубыми для его утонченного вкуса». Мистер Уэйд приводит несколько примеров этой стерилизации — в лжекуперовском духе — живого, подвижного стиля дневника. От этих «куперизмов» — еще явно дающих себя знать в «Заговоре Понтиака» — Паркмен постепенно освобождался. Поначалу литература и жизнь, разделенные мечом, чувствовали себя неуютно на брачном ложе, так что в ранних книгах не найдешь и следа той оригинальности в стиле и построении характеров, что свойственны дневникам. Вот, например, как изъясняется в них некий мистер Смит из Палермо:

«Не морочь мне голову своей Тарпейской скалой. Я видел ее, и, больше того, парень, который собирался повести меня туда, хотел содрать полдоллара. «Эй ты, — сказал я, — неужели ты воображаешь, будто я заплачу тебе за то, что ты покажешь мне старую кучу камней? Я могу посмотреть скалы и поинтереснее, в любой момент и бесплатно, так что исчезни». Я скажу вам, как я поступаю обычно, — продолжал мистер Смит. — Входя в церковь, я не глазею по сторонам, как это обычно делают; я прохожу ее вдоль и поперек, а затем заношу результаты измерений на бумагу. Тогда у меня действительно что-нибудь да останется».

А вот старый солдат неподалеку от границы с Канадой:

«Я вошел в бар и увидел старика с беззубым ртом, морщинистым, выжженным на солнце лицом и маленькой

соломенной шляпой, сдвинутой на сторону; широко расставив ноги и уперев локти в колена, он сидел на стуле и приветствовал меня следующим образом: «Здорово, здорово! Как делишки? Еще не двинул на войну, а? Ну, вроде войны еще нет, хотя глядь, и начнется, это уж точно, клянусь дьяволом!» Затем он принялся говорить о своих соседях, отозвавшись об одном как о «гнуснейшем, подлейшем, ничтожнейшем щенке, который когда-либо появлялся в этой дьявольской стране», и уподобив другого «облезлой козе, у которой нет молока»; третьего обозвал «полным ничтожеством».

Только в третьей книге, «Иезуиты в Северной Америке», жизнь и литература, к обоюдному удовольствию, вступили в настоящий брак. В захватывающем «Описании» жизни иезуитов, которое составляет большую часть его труда, Паркмен вновь обнаруживает яркий дар индивидуализации речи: священник Брессани с горьким юмором пишет своему настоятелю после пытки: «Никогда бы не подумал, что человека так трудно убить», а в другом письме иронически оправдывается перед генералом иезуитского ордена, благополучно пребывающим в Риме: «Не уверен, узнает ли Ваше преосвященство почерк того, с кем Вы были некогда близко знакомы. Бумага испачкана, и буквы прыгают: дело в том, что у автора невредимым остался только один палец на правой руке и ему никак не удастся остановить кровь, текущую из открытой раны, чтобы она не марала бумагу. Чернилами ему служит порох, смешанный с водой, а столом — земля».

К этому времени Паркмен также оценил возможности прямого повествования:

«Ноэль Кабанель появился в миссии позднее, ибо достиг поселения гуронов только в 1643 году. Он ненавидел жизнь индейцев — дым, вши, тухлая пища, невозможность уединения. Он не мог работать при свете дымного костра в жилище, среди шумной толпы индейцев и индейнок с их собаками и беспокойными, визжащими детьми. Он был органически неспособен к языкам, и пять лет изучения не привели к видимым результатам. Дьявол нашептывал ему в ухо: оставь этот неблагоприятный и тяжелый труд, вернись во Францию, где тебя ожидают приятные и полезные дела. Кабанель не слушал, а когда искушение стало слишком сильным, он связал себя торжественной клятвой остаться в Канаде до конца дней своих».

И, доведя брак до счастливого конца, Паркмен научился, по необходимости, придавать своей поэтической прозе желаемый эффект, как, например, в следующем описании бессмертия индейцев:

«По всеобщему представлению, однако, все тени собирались в одну и ту же обитель. Души в своем земном обличье прокладывали путь через темный лес в селения мертвых, питаясь прогнившей корой деревьев. По прибытии они целый день сидели в скрюченной позе больных, а когда наступала ночь, отправлялись, взяв в руки тени луков и стрел, охотиться на тени животных среди теней деревьев и скал; ибо все вокруг, одушевленное и неодушевленное, было равно бессмертно, и все отправлялось вместе в мрачную страну мертвых».

В своем последнем дневнике Паркмен описывает отчаянную борьбу с бессонницей—часы, проведенные в постели, удлинялись, часы сна укорачивались. Один раздел, «Полвека борьбы», оставалось закончить и поместить в полагающееся ему место, завершая грандиозный план. Время сна сократилось до трех с половиной часов в сутки и только однажды за три года, отчет о которых помещен в дневнике, поднялось до восьми. В этом математически бесстрастном календаре есть что-то, воскрешающее дух Кабанеля. Историк дал клятву сорок лет назад и сдержал ее.

1951

ПОСЛЕ УЖИНА С БОМБОЙ

...Когда, почему возникает мысль о том или ином персонаже—как на это ответить? Скажет ли женщина, когда именно был зачат ее ребенок...

По поводу Пайла из «Тихого американца», впрочем, могу кое-что вспомнить. Пайл—вымышленная фигура. В журналисте Фаулере действительно много от меня самого. Правда, никаких сцен ревности с моим участием в реальной жизни не происходило, и никакого романа с вьетнамской девушкой я не заводил—это сочинено. От моего личного восприятия вьетнамской войны против французов в какой-то мере—мысль Фаулера о необходимости объективно освещать события, не отдавать заведомо предпочтение одной из сторон. Я с огромным сочувствием относился к Вьетнаму и все же при том, как все

там сложилось, немного сочувствовал и французам — к американцам, которые пришли им на смену, сочувствия никогда не возникало.

Да, в Фаулере есть кое-что от меня. А с Пайлом... Однажды я поехал к приятелю, полковнику французской армии, у него была небольшая вилла к югу от Сайгона. И встретил там одного американца, мы провели потом вместе весь вечер, он назвал себя представителем какой-то миссии, связанной с поставками продовольствия. На обратном пути в Сайгон он всю дорогу доказывал мне, что необходима некая «третья сила» — не коммунисты, не французы, а националисты — видимо, тогда впервые и пришла мне в голову мысль ввести в свое повествование такой вот персонаж — молодого, в чем-то наивного американца, который носит с идеей «третьей силы»...

Газетная хроника и импульс к творчеству... Я добросовестно слежу за прессой. Каждый день прочитываю одну французскую и одну английскую газету и по три — в воскресные дни. Не знаю, как Достоевский, но сам не припомню, чтобы почерпнул из них сюжет для своей книги. Однако как знать... На что-то, быть может, они меня еще натолкнут...

Как смотрю на перспективы международной ситуации? Большого оптимизма она мне не внушает (смеется), и все-таки — как бы не сглазить — надеюсь на лучшее, без особой, впрочем, уверенности.

Никак не найду ответа на один вопрос: допустим, Америка и Россия смогут договориться об уничтожении ядерного оружия, как его уничтожить практически? Где его можно захоронить — не отправлять же в космос? Такая нелепость — вся эта гонка, кто кого перещеголяет в средствах сверхубийств... Каждой из двух держав под силу уничтожить мир, какая разница, кто лучше вооружен — одна или другая? Одно только утешает: нет, кажется, сейчас в мире безумца, как во времена Гитлера...

Против американцев я в принципе ничего не имею, у меня там много друзей, только их внешнюю политику почти всегда я находил скандальной — и во Вьетнаме и сейчас, в Сальвадоре, американский народ здесь ни при чем, все дело в администрации... Питал я какие-то надежды на Картера, но он их не оправдал... Особенно меня возмущает их нынешнее вмешательство в Сальвадоре — по-моему, то, что они творят там, — попросту бесчестно. Не знаю, читали ли вы на днях в газетах сообщения

по поводу фотоснимка, сделанного Хейгом и опубликованного во французском «Фигаро магазин». Было сказано, что на этом снимке — трупы индейцев мескито в Никарагуа, якобы убитых и сожженных сандинистами. На самом же деле — теперь это знают все — фотографии относятся ко временам гражданской войны в Никарагуа, и жертвами оказались как раз сами сандинисты — это их тела сожгли подручные Сомосы. Д'Эското, министру иностранных дел Никарагуа, я доверяю гораздо больше, чем словам генерала Хейга. Я не верю, что Никарагуа снабжает Сальвадор оружием — моральную поддержку, возможно, и оказывает, но это другое дело, а всем этим сообщениям западных корреспондентов о захваченном оружии не верю...

Что еще мог бы сказать об Америке? Слишком уж много меркантилизма, потребительства в их обществе... С другой стороны, не всеобщее ли это сейчас поветрие? Только, может быть, у вас, в России, иначе... Возможно, я чересчур оптимистичен на этот счет, но все-таки, мне кажется, в России духовность в большем почете, чем в Соединенных Штатах или Англии...

Культ насилия... Это ужасно, прежде такого не было. Мы играли в войну, в солдатиков, у нас были игрушечные ружья, но это была только игра — мы не стремились выскочить на улицу, чтобы ударить кого-то, убить... Нынешние девицы в джинсах или киноковбои не кажутся больше героями воображаемого мира, за чьими подвигами на экране мы когда-то с увлечением следили. Жестокость, насилие, которые дети видят сегодня на экране, приучают их, мне кажется, спокойно проходить мимо жестокости и насилия в жизни. Когда я встречаю на улице малыша-«ковбоя», у которого за поясом игрушечный револьвер, мне делается не по себе... Да, я и сам так же разгуливал в детстве, но сейчас, мне кажется, это выглядит как-то иначе, тревожнее...

...На днях я получил необычное письмо, оно и взволновало меня, и обрадовало. Прислала его семидесятилетняя англичанка, мать молодого писателя, он живет в Америке. Несколько лет назад он написал замечательный, по-моему, роман «Благородный враг» и прислал мне гранки. Я ему ответил, что хотел бы сам оказаться его автором — такая это сильная книга.

И вот семь лет спустя — письмо от его матери. Оказывается, в ту пору, когда он писал эту книгу, его

разбил паралич — отнялась вся нижняя половина тела, и в довершение, не успев закончить книгу, он стал терять зрение. Издателям все это пришлось не по вкусу, и он решил, что все кончено, что других книг не будет. Вот тогда-то, рассказывает его мать, он получил мой ответ, и он так его окрылил, что произошло почти чудо — зрение начало восстанавливаться, и, хотя передвигаться он может только в коляске, жизнь его с тех пор более или менее наладилась, во всяком случае, сейчас он полон оптимизма, энергии, снова пишет. Такое по-настоящему трогает...

Величайших писателей дала миру Америка — Генри Джеймса, Мелвилла, Марка Твена... Фолкнер? Некоторые его книги меня восхищали — не могу сказать, правда, чтобы я боготворил их, как Мелвилла и Джеймса или отчасти Твена. После них ничто уже не доставляло мне такого удовольствия...

Над чем сейчас размышляю? В данный момент, можно сказать, пуст. Мелькают время от времени мысли о том, с чего начну книжку об Омаре Торрихосе, как будет строиться первая глава — и все... Других замыслов пока нет, полоса отлива...

Планы поездок? Их тоже нет. Получил на днях приглашение приехать в Сан-Сальвадор — но, пожалуй, слишком я уже стар для такого путешествия (смеется)... И потом, не хочу, чтобы меня убили...

1982

ЧЕРНЫЙ ЮМОР СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ

(ИЗ ИНТЕРВЬЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»)

Грэм Грин закончил свою новую книгу «Воспоминания о Торрихосе» и со дня на день ждал ее сигнального экземпляра. Но в этот короткий период писательского отдыха — недолго, до следующей книги, — вторгся увесистый пакет из США. Писатель секунду с недоумением подержал его в руках.

Содержимое пакета превзошло все догадки...

Писатель рассказывает, что ему удалось получить переставшее быть секретным досье, которое велось на него агентами ФБР.

Сразу и не разберешься в этом калейдоскопе номеров входящих, исходящих, дат поступления и отправления, неведомых лиц, коим адресована информация, печатей, штампов... Однако над всеми этими мелкими штрихами, как балки несущей конструкции, довлеет черная тушь, похоронившая основной текст. Не перышком — малярной кистью поработали рецензенты из ФБР! Что позволяет узнать, например, эта страничка? Прежде всего это типографского тиснения официальный бланк ФБР. На таких бланках агенты службы стучат свои донесения на граждан «свободной» страны, на гостей США, на интересующих их людей во всем мире. Послание адресовано конкретно директору ФБР. Объект наблюдения — Грэм Грин, писатель. Отправитель рапорта — секретный агент 62-0. Замысловатый иероглиф внизу, где обязан расписаться «специальный уполномоченный агент», расшифровать ничуть не легче, чем сам кодовый номер 62-0. Вот и все! Информационная часть доклада погребена под разлитым морем туши.

— По досье ФБР, — говорит писатель, — я могу узнать такие сведения о себе, как дата и место рождения, время первого и последующих приездов в США... Из рубрики «Особые приметы» — в какую пору жизни сколько весил. Да-да, в килограммах! Не подумайте, что ФБР оценивало мой писательский вес... — Грин смеется. — Ну и еще: я могу заключить, что слежка за мной велась всю жизнь. Даты докладов ретушеры отчего-то не закрасили!

— 1957 год, к которому относится конкретно эта страничка, из досье на вас... Уже написан «Тихий американец», уже зарождаются «Наш человек в Гаване», а вслед за ним и знаменитые «Комедианты». С этих произведений латиноамериканская тема прочно вошла в ваше творчество, может быть, даже стала ведущей. Своим последним произведением, насколько можно судить, вы снова возвращаетесь к ней?

— Да, с 1976 года я часто бывал в Панаме. Торрихос познакомил меня с сандинистскими руководителями, когда они еще были в изгнании. Он включил меня в делегацию своей страны и даже выдал мне панамский паспорт — для участия в церемонии подписания договора с США о Панамском канале... Я лично всей душой верю в здравые силы Америки. Верю, что именно чувство здравомыслия американского народа удержит рейгановскую администрацию от вторжения в Никарагуа и Сальвадор,

которые могут обернуться «вторым Вьетнамом» для страны. А если расширить масштаб, если мыслить категориями не одного континента, а целого мира, то я нахожу поведение нынешних руководителей США глупым, опасным и безответственным прежде всего из-за того, что они то и дело отвергают все разумные предложения Москвы...

— Вы догадывались раньше, что ФБР ведет за вами слежку?

— Я всегда догадывался и даже наверняка знал, что каждый мой шаг, каждое слово и движение наблюдалось и подслушивалось. Так что же? Отложить перо? Замолчать? Наоборот, это всегда придавало мне задора. Мысль о дестабилизации Советского Союза с помощью гонки вооружений вынашивает уже не первая американская администрация. И Рейган не первый, кому придется проглотить горькую пилюлю разочарования. Я трижды был в СССР. В последний раз с сыном. И та поездка в некоторой степени была моим подарком ему в день рождения. Мы вместе—я глазами много прожившего человека, а он глазами юноши, начинающего жить,—увидели вашу страну одинаково. Ни шантажом, ни угрозами, ничем не удалось запугать Москву. Стоило бы это хорошо запомнить тем, кто все еще рассчитывает увидеть у своих ног мир, хотя не в силах поставить на колени даже маленький соседний народ, когда он восстает против диктаторов...

«ДЕЛО СТОИЛО ТОГО, ДЖЕК!»

Однажды холодным зимним днем, вскоре после Сталинградской битвы, я стоял у Кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской революции похоронен Джон Рид. Помню, я сказал себе (или, скорее, обращаясь к этой небольшой плите): «Что ж, дело стоило того, Джек!» Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, кто погребен у Кремлевской стены?

Собственно, я не вправе называть его «Джек». Я не мог знать Джона Рида лично, ибо родился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается, как соприкосновение с живым родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи.

Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И революция сделала этого человека — сначала бесстрастного наблюдателя и репортера — преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером.

И все же разве только это мы знаем о нем? Разве «Десять дней, которые потрясли мир» — единственная эпитафия ему, вся история его жизни?

Когда Рид приехал в Россию в начале революции, современники уже знали его как прославленного репортера. Он начал свою журналистскую карьеру с публикации беспощадно правдивого отчета о стачке в Патерсоне в штате Нью-Джерси. Он укрепил свою репутацию смелого репортера, умеющего живо и оригинально освещать события, репортажами из Мексики, из армии Панчо

Вильи. Только он один в качестве репортера радикального журнала «Метрополитен» рассказывал своим соотечественникам правду о мексиканской революции. Вернувшись из Мексики, Рид почти сразу же отправился в Европу на один из фронтов мировой войны. Его правдивые репортажи о тяжком труде окопной войны вызвали сенсацию в Америке, принесли ему известность и открыли перед ним блестящее будущее прославленного журналиста. Будь Рид человеком меньшего масштаба, он мог бы считать свою карьеру вполне обеспеченной. Но Рид никогда не был узколобым обывателем. Он обладал почти невероятной способностью правильно оценивать факты и разбираться в людях. В Мексике он сумел увидеть, что Сапата — подлинный революционер; позже он понял, что мировая война — чудовищный обман народов, шовинистическая ловушка.

Он был тогда совсем молодым человеком, и публикуемая статья Ли Голда раскрывает перед нами новые обаятельные черты характера Рида, каким он был в ту пору. Точно яркая вспышка на мгновение освещает нам молодого Рида, человека, который через несколько лет поднялся в свой полный рост в коридорах Смольного.

Публикуемая статья в большей своей части основана на письмах, которые Рид писал тогдашнему редактору «Метрополитена» покойному Карлу Хови. Эти письма стали известны совсем недавно, после того, как жена Хови умерла в Голливуде. Тамара Хови, дочь редактора и жена Ли Голда, просматривая бумаги родителей, натолкнулась на письма и документы, связанные с именем Рида. Это была волнующая находка, и Ли Голд сделал очень много для того, чтобы систематизировать письма и факты, разместить их в правильном порядке и снабдить необходимыми историческими комментариями. И вот перед нами ожил молодой Рид — высокий, худощавый, юношески порывистый, вспыльчивый и в то же время сдержанный, порой эксцентричный, иногда растерянный, но всегда полный надежд и решимости говорить людям только правду.

Последнее письмо жены Рида Луизы Брайант, несомненно, один из самых искренних и полных чувств человеческих документов: Луиза совершила долгое и трудное путешествие в революционную Россию для того, чтобы соединиться с мужем. Она писала, как, увидев наконец Рида, подумала, что «...он стал старше, печаль-

нее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он не хотел ничего для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины страстного самоотречения, которой он достиг».

Описывая трагическую смерть Рида и его погребение у Кремлевской стены, она вспоминала: «...после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади... Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...»

«Это был один из наших...» Вот она, настоящая эпитафия Джону Риду. Джек был американцем, и все же русский солдат может сказать: «Это был один из наших...» Люди из многих стран похоронены у Кремлевской стены, они отдали жизнь не только за победу русской революции, но и за лучшее будущее всех народов, за всемирную борьбу против агрессии, эксплуатации, угнетения, войны и варварства.

Это — единственное братство, не знающее ни границ, ни расовых и национальных барьеров. И мне хочется повторить: «Дело стоило того, Джек!»

1962

«ПОЕДИНОК ИДЕЙ»

Если читать книги Дж. Д. Сэлинджера, не вдумываясь в то, в какой среде они возникли, они представляют собой не более как сентиментальное и трогательное описание детства и юности в нашем сложном мире. Но когда, читая их, задумываешься над тем, какое общество сформировало Сэлинджера и его героев, то обнаруживаешь, что книги эти гораздо глубже, поскольку они могут служить иллюстрацией социальной морали нынешних Соединенных Штатов.

Сам Сэлинджер, собственно, и не претендует на роль социального моралиста, но тем не менее каждый написанный им рассказ представляет собой, по сути дела, аполог, скрытый под тонким покровом юношеской психологии и

довольно прочно сколоченный с помощью хороших сюжетных ходов. Его романы и рассказы — это повествование о еще не сформировавшихся умах, ощупывающих окружающее их общество и отвергающих его, даже когда они в конце концов подчиняются ему и становятся его жертвами.

Героем своей первой книги «Над пропастью во ржи» Сэлинджер (намеренно или нет) избрал как раз такую фигуру, которая наилучшим образом отражала бы точку зрения средних слоев американского общества, — пятнадцатилетнего подростка по имени Холден Колфилд, находящегося на пороге зрелости; чувствительного мальчика, воспринимающего все окружающее кожей, глазами и разумом, подобного хрупкому растению, которому предначертано судьбой либо расцвести в тепличной атмосфере, либо увянуть и погибнуть.

Холден Колфилд начинает свое повествование (это действительно свободное повествование, а не рассказ с четкой фабулой) с последнего дня пребывания в подготовительной школе, из которой он уже исключен. С каждой страницы его рассказа бьет ключ инстинктивного неприятия всей системы воспитания, которая существует в средних слоях общества, — школы, родителей, других мальчиков и всех тех норм общественного поведения, с которыми он сталкивается в силу своего личного чувствительного мировосприятия. Он оставляет школу и отправляется в Нью-Йорк, где проводит ночь в гостинице. Затем он тайно является домой и посвящает маленькую сестренку Фиби в свои планы бегства. Он встречается с водителями такси, проститутками, развратниками, девушками, с прежними приятелями, посещает отели и бары. И наконец, когда ему удастся отговорить сестру от совместного бегства, он смотрит, как весело и радостно катается она на карусели, и заключает свой рассказ словами: «Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!»

За время своего сложного путешествия Колфилд описывает самые разные стороны повседневной жизни Америки или, во всяком случае, то, как он сам с ними столкнулся, а также рассуждает об уровне жизни выходцев из средних слоев населения. Чувствительная натура и бунтарь даже в мелочах, он отчаянно борется за то, чтобы выжить; уцелеть в этом сугубо материалистическом и корыстолюбивом мире у него нет никакой надежды. Он сломлен тупостью и вульгарностью того, что его окружа-

ет. Однако его поражение подано не как урок, а скорее как еще один симптом. По сути дела, для Колфилда нет ни урока, ни возможности выбора. Существуют только он и его невинность, которая в этом мире не может уцелеть.

В романе «Над пропастью во ржи» автор проводит психоанализ окружающего его общества, используя форму фрейдистской беседы. Он ведет рассказ от лица Холдена Колфилда, юноши, обладающего своим собственным взглядом на мир. Холден находится в остром конфликте с обществом. Но этот рассказ о его борьбе подан таким образом, как если бы мальчик просто лежал на кушетке и свободно говорил все, что приходит ему на ум, как раз так, как это и должно быть во время психоанализа. Повествование начинается и прекращается как будто совершенно произвольно, хотя на самом деле здесь все подчинено строгому порядку изложения. Комментарии Колфилда, к чему бы они ни относились, поданы так, словно он извиняется за право иметь собственное мнение (хотя и очень определенное), а его оценка людей, сколь бы ни была она сурова, всегда смягчена добавлением дружеского, всепрощающего эпитета «старина».

Старина Стрэдлейтер—его школьный враг, старина Спенсер, старина Салли, старина Алли, старина Д. Б., старушка Фиби. Это придает всем образам одну и ту же эмоциональную окраску, как если бы автор равно относился ко всем ним, как если бы он не хотел никого из них обидеть. Однако к концу романа Сэлинджер-Колфилд успевает подвергнуть критике внушительный набор лозунгов американского среднего класса.

Краткий список того, что Сэлинджер определенно не любит и даже резко отвергает, включает в себя: подготовительные школы, кино, спорт и спортсменов, родителей, учителей, шоферов такси, пианистов коммерческих джазов, философию «двинь ему в челюсть», благотворительность, певцов белых джазов, Эрнеста Хемингуэя, Сомерсета Моэма, сэра Лоуренса Оливье, Бродвей, Центральный парк, разговоры о футболе, разговоры об автомобилях, опрятность, зычные голоса, юмор газеты «Сатердейвнинг пост», Йельский университет, Руперта Брука, рождество в Нью-Йорке, официальную религию, рождественские представления в «Радио-сити», шикарные гостиницы, гомосексуалистов, все виды мошенников и т. д. и т. п. Можно листать страницу за страницей, и на каждой из них мы найдем декларации величайшего

недовольства всеми этими священными коровами Америки, а список того, что ему нравится, гораздо короче: дети (прежде всего), вежливость, музеи, целомудрие, хорошие книги, поэзия, сигареты (прежде всего), виски, Ринг Ларднер, Скотт Фитцджеральд, монахини, честность и любой искренний поступок, кто бы его ни совершил.

В целом это детский взгляд на мир, мир, полный надежд невинности. Говоря о себе, Сэлинджер как-то писал: «Некоторые из моих лучших друзей — дети. Вообще-то все мои лучшие друзья — дети». Это не случайно. В том мире, который на каждой странице книги описан Сэлинджером как насквозь фальшивый, в том обществе, где вкусы совершенно извращены (вкусы, но не ценности — Сэлинджер, по существу, никогда их не затрагивает), писатель может восхищаться только неоформившимся миром детской невинности и стремиться остаться в нем. У него нет другого выбора, нет иных желаний — ничего, кроме сожаления о потерянном рае чистой детской души.

1964

СПРЯЧЬТЕ СПИЧКИ ОТ Г-НА МИНИСТРА!

Мистер Каспар Уайнбергер, духовный отец нового плана США о достижении абсолютного военного превосходства над Советским Союзом, слывет изысканным интеллектуалом. И все потому, что его планы считаются скорее «интеллектуальными», нежели военными. Сама идея, будто мистер Уайнбергер может каким-то образом разработать стратегию и систему ядерного оружия, которая способна, по словам газеты «Санди таймс», «поставить СССР на место», очень напоминает веру в героя известного американского комикса — «супермена», то есть сверхчеловека, — действия которого не ограничиваются ни здравым смыслом, ни физическими возможностями нормального человека. Даже представитель правых политических кругов Дэнис Хили после своего недавнего визита в Москву заявил, что он согласился с Л. И. Брежневым, когда тот назвал этот американский план «опасным заблуждением».

В самом деле, теория сверхчеловека давно знакома Европе. Супермен может быть героем комикса в Америке и может даже быть идеальным героем в представлении

мистера Уайнбергера, но европейцы имели опыт общения с живыми «суперменами» — это тот опыт, за который народы Европы заплатили более чем сорока миллионами человеческих жизней, да и самой Америке этот опыт обошелся ни много ни мало в сто пять тысяч могильных крестов. Таким образом, подлинная сущность этой «новой» интеллектуальной теории сверхчеловека хорошо известна каждому простому европейцу, известна не по комиксам, а как реальная угроза жизни, жизни наших детей, угроза будущему всего нашего континента.

Понимание этого и является отправным моментом борьбы, которая идет сейчас в каждой западноевропейской стране против американского плана — «снабдить» нас крылатыми и другими ракетами, нейтронными бомбами, не интересуясь, нравится нам это оружие или нет. Для того чтобы Европа приняла это оружие, мы должны поверить в примитивную идею необходимости американского господства в Европе, не обращая внимания на связанный с этим риск для нас самих. И хотя у нас есть политики, которые охотно принимают сию американскую теорию, которые даже поддерживают ее перед национальными собраниями, парламентами и на международных конференциях, тем не менее существует весьма ощутимое противодействие опасной идее... Спасибо, не хочется, чтобы наше будущее зависело от ядерных угроз Соединенных Штатов, от состояния нервов двадцатилетнего американского солдата, постоянно держащего палец на спусковом крючке.

Американская администрация заявляет, что каждый, кто отвергает идею, будто Восток угрожает Западной Европе, подкуплен Советским Союзом, который, по словам администрации США, тратит семьдесят миллионов долларов на «пропаганду идей мира в Европе».

Это заявление, заметим ...оскорбительно для европейцев, которые в угоду американскому мифу должны жить в условиях ядерного риска и помалкивать к тому же. Возможно, американцы страдают чем-то гораздо более серьезным, чем преданность иллюзиям: как же можно перепутать понятия войны и мира настолько, что уже нельзя отличить одно от другого...

Если каждый здравомыслящий человек, который выступает против американского ядерного оружия в Европе, является платным советским агентом, то во всех странах Западной Европы — буквально «миллионы» по-

добных агентов, сторонников мира, выражаясь нормальным человеческим языком. И неудивительно. Идея мира в Европе опирается на реальные факты европейской жизни, она основывается на страданиях, которые Европа пережила в двух мировых войнах, на понимании, что означает подвергнуться опасности в наш ядерный век. Мы-то знаем, чего боимся.

Иные люди, участвующие в кампании протеста против размещения ядерного оружия и американских военных баз на Европейском континенте, не испытывают прямых симпатий к Советскому Союзу. При этом большинство из них осознает, что истинная военная угроза исходит скорее из Вашингтона, чем из Москвы, и поэтому эти люди боятся именно американских ракет на европейской земле. Только две европейские страны безоговорочно согласились разместить на своей территории ядерное оружие среднего радиуса действия — Италия и Великобритания. Остальные страны либо наотрез отвергли крылатые ракеты и ракеты «Першинг-2», либо «приняли» их с оговорками. Например, руководители Западной Германии заявили, что допустят оружие средней дальности в ФРГ только в том случае, если серьезные и искренние переговоры о сокращении вооружений между СССР и США не достигнут положительных результатов. Но даже подобная уступка подвергается критике. Недавно около 200 тысяч человек провели в Бонне демонстрацию протеста против размещения любых ядерных ракет на территории ФРГ.

Если считать, что политика министра обороны США мистера Уайнбергера отмечена печатью высокого интеллекта, то остается только гадать, что же именуется в США интеллектом, ибо невозможно определить политику США, даже если она направлена на удовлетворение интересов собственной страны, иначе как упрямую, наглую или просто опасную. Согласитесь, ни одна из этих характеристик не может быть всерьез отнесена к категории «интеллектуальных».

В то время как Европа начала выступать против ядерных ракет на европейской территории, американские заправилы от политики неожиданно преподнесли еще двух монстров: нейтронную бомбу и новую теорию, согласно которой они на самом деле могут вести и «выиграть» ограниченную ядерную войну на Европейском континенте. Дело в том, что и нейтронная бомба и

теория ограниченной ядерной войны являются лишь частями той мозаики, которую представляет собой новая стратегическая политика Вашингтона, слепленная из идей «конфронтации» и «уничтожения» коммунизма повсюду на земле.

Полноте! Эта стратегия президента США Рейгана — всего лишь вариант старой приевшейся политики Джона Фостера Даллеса, творца политики «холодной войны». Но разница не только в том, что СССР сейчас во много раз сильнее, чем прежде, но и в том, что многие страны освободились от господства США не только в Африке и на Востоке, но косвенным образом и в Европе. Первоначально, во времена «холодной войны», правительства всех западноевропейских стран, включая и лейбористское правительство Великобритании, все-таки следовали в фарватере политики США. Но времена уже не те. И хотя общественное мнение Великобритании сейчас не настолько остро ощущает ядерную угрозу, как в 60-х годах, тем не менее у нас есть нечто такое, чего не было тогда, — лейбористское движение, решительно стоящее за запрет крылатых ракет и нейтронной бомбы.

В начале 1981 года в Мюнхене я стал свидетелем того, как организация писателей Западной Германии опубликовала воззвание ко всем писателям Западной Европы — против любых ракет и атомных бомб на европейской земле. Это воззвание было подписано всеми известными западноевропейскими и многими европейскими писателями. Это событие широко освещала пресса ФРГ, а также газеты «Таймс» и «Гардиан» в Великобритании.

Когда я смотрю на список тех, кто подписал воззвание, и вижу имена талантливых литераторов, книги которых читают на всех континентах, я начинаю думать, что, даже если бы народы Европы не знали, что такое война, какие страдания она приносит и какое печальное наследство оставляет людям, и если бы им при этом пришлось выбирать между интеллектом подписавших это воззвание и интеллектом мистера Уайнбергера, я знаю, каков был бы их выбор.

У ТРЕТЬЕЙ ВОЙНЫ ИСТОРИКОВ НЕ БУДЕТ

Когда я вижу на нашем телевизионном экране американского летчика, объясняющего с указкой в руках, по какой траектории он выпустил ракету в ливийский самолет, когда министр обороны США приезжает к нам коммивояжером нейтронной бомбы, когда представитель ЦРУ заявляет во всеуслышание: «Нам нужно больше шпионов», то мелькает мысль, что я уже пережил что-то подобное.

Это было в конце 30-х. Та же угнетающая международная обстановка, то же самое опасное пренебрежение к миру, к человеческой жизни.

Остро сознавая эту тревожную параллель, я все-таки склонен полагать, что моим современникам удастся уберечь мир от новой войны. Страдания прошлого научили нас многому. В ответ на нарастание опасности поднимается сильная организованная волна антиядерного, а теперь антинейтронного движения. Посмотрите, сколько организаций отстаивают идеи разоружения только в одной Англии: «Мирная кампания за разоружение», «Движение за ядерное разоружение», «Движение за создание безъядерной зоны в Европе», «Британская ассамблея за мир», «Лейбористское действие за мир», «Квакеры»... И это только начало длинного списка групп, для которых мир остается главной человеческой ценностью.

А где же деятели культуры? Я рад ответить: они здесь же, в этих рядах. С большим интересом мы встретили «Обращение европейских писателей», с инициативой которого выступили наши западногерманские коллеги¹... Читая эту критику теории «ограниченной войны» и

¹ О его поддержке уже заявили английский Пен-клуб и Английская писательская гильдия.

призыв к незамедлительным переговорам о разоружении, я подумал, что обращение может стать основой для еще более страстного, наступательного документа, в котором бы мастера культуры Европы предупредили: «Наша земля — одна! Не играйте с атомом!»...

В эти дни я работаю над автобиографической книгой под условным названием «От антифашистской войны к войне „холодной“». Приходится нередко встречаться с молодыми английскими литераторами. И каждый раз я радуюсь интересу к поучительным страницам истории. Они особенно поучительны сегодня. Я бы сказал, предельно поучительны. Ведь у третьей мировой войны историков и биографов уже не будет.

НА СТОРОНЕ ЖИЗНИ

Все мы, присутствующие сегодня в Софии, находимся здесь потому, что нас глубоко тревожат судьбы мира на земле, нависшая над ним и так обострившаяся за последнее время угроза самому существованию человечества. Некоторых из нас, кто приехал с Запада, особенно беспокоит равнодушие к этой угрозе, явно наблюдаемое среди большинства населения наших стран. Возможно ли, спрашиваем мы себя, чтобы тысячи, миллионы людей были способны оставаться столь невозмутимыми, глядя, как их правительства готовятся к ядерной бойне? Как могут люди, не числящие в своем родстве кровожадных монстров, даже не глупые и не жестокие, а, напротив, добрые и человечные, спокойно внимать рассуждениям о массовом истреблении миллионов себе подобных, не задумываясь при этом над тем, какая чудовищная форма уничтожения, истребления уготована для них самих и их детей? Ответ может быть только один: они не в состоянии вникнуть в смысл всего этого — возможно ли в самом деле вникнуть в смысл того, о чем не имеешь понятия? Чтобы познать истину, которая выходит за рамки личного опыта, необходимо иметь доступ к правдивой информации. Огромные массы людей на Западе не имеют доступа к правдивой информации о подготовке к третьей мировой войне и ее возможных последствиях. Их лишают этой информации, лишают сознательно те, кто контролирует наши средства массовой информации. Международные монополии держат под контролем наши средства информации подобно тому, как они контролируют, прямо или косвенно, наши правительства и все стороны нашей жизни.

Разрядка напряженности — тема, предаваемая анафеме средствами массовой информации: на моей родине, в

Великобритании, на нас обрушивают нескончаемые потоки дезинформации относительно всего, что хоть в какой-то мере связано с разрядкой,—финансируемые и инспирируемые правительством потоки антисоветской, антикоммунистической пропаганды против идей мира.

При всем том их воинственные словоизвержения не вызывают ответной реакции, на которую, казалось, могли бы рассчитывать вдохновители. Для людей, над которыми постоянно нависает все более грозная тень инфляции, сокращения штатов, безработицы, все прочее—чуть более отдаленное, сколь бы серьезным оно ни было,—как правило, ускользает из поля зрения. Однако попробуем оставить в стороне бремя частных забот и попытаемся разобраться, так сказать, в чистом виде, в том, какое влияние оказывают или пытаются оказать средства информации на отношение людей к разрядке и вопросам мира вообще.

Начать придется со скандально низкого интеллектуального и культурного уровня нашей информационной продукции. Людям постоянно внушают тривиальнейшее представление о том, что есть человеческое существо, у них настойчиво отбивают охоту к сколько-нибудь серьезному и ответственному размышлению. Фильмы, транслируемые по телевидению, перенасыщены сценами насилия, зримого насилия, которое в наше время стало неотъемлемой частью развлекательных программ, что же касается фильмов о войне, то общее их количество не поддается исчислению. Изображение войны в наше время превратилось в основную форму развлечения, и зачастую бывает трудно отличить реальную, настоящую войну от войны вымышленной. Все это не случайно. Война превратилась в спектакль, заснятый камерой, в нечто, происходящее всего лишь на экране, не всамделишное, нам, зрителям, ничем не грозящее. Приблизить и в то же время отстранить—вот две задачи, скрытая цель которых сделать реальное нереальным. Лошадиные дозы кинодействительности, преподносимые без серьезного или вообще без какого-либо анализа, приводят к желаемому результату—окончательному умерщвлению способности к эмоциональному восприятию.

В старых же, мелодраматических лентах о второй мировой войне, которые также демонстрируют на телеэкранах, мы вновь и вновь сталкиваемся с несколько иным, утешительным образом некой эрзац-действительности,

который скорее убаюкивает, нежели пробуждает чувства.

Цель этих фильмов, как мне кажется,—с помощью скрипок за кадром и счастливого конца создать атмосферу ностальгии, вызвать ощущение, что нечто подобное уже было и в тот раз закончилось для нас благополучно, почему бы хэппи-энду не повториться и в следующий раз? Нам сознательно не напоминают, что зло, с которым мы сражались во время последней войны,—это реальное зло фашизма, иначе в голову может прийти мысль, что фашизм и сегодня—реальное зло, в борьбе с которым необходимо объединить усилия; не напоминают нам и о том, что 20 миллионов тех, кто был в ту пору нашим советским союзником, погибли в этой войне, благодаря чему Великобританию не раздавил сапог нацизма; не напоминают ни о том, против какого врага столь героически сражались болгарские партизаны и болгарский народ, ни о цене, которую заплатили другие восточноевропейские страны за освобождение от ига нацистской оккупации. Реальный облик исторического прошлого сознательно размывается, затушевывается, чтобы не напомнить нам невзначай о чем-нибудь таком, что способно расколдовать экранные чары. Английского зрителя не приглашают ни принять участие в создаваемом на его глазах сценарии истребления человечества, ни даже выступить в роли его комментатора—достаточно с него обычной роли: пассивного потребителя продукции масс-медиа, молча соглашающегося с тем, что было задумано и случилось без его ведома.

Сколько должно пройти времени, пока большинство, а не только отдельные люди, осознает наконец весь ужас планов наших правителей, планов, которые они пытаются освятить именем народа? Когда разбуженное сознание позволит воскликнуть большинству: «Хватит! Мы этого не хотим!»?

Наши нынешние властители с помощью своей многоголовой гидры средств информации хотят заполучить согласие народа на политику войны, согласие равнодушное, но тем не менее согласие, ибо они усвоили урок, преподнесенный историей: когда народ говорит «нет» достаточно громко и ясно, это может не только перечеркнуть избранный политический курс, но даже покончить с самой войной. Ведь вынудило же все возрастающее возмущение мировой общественности в конце концов администрацию США прекратить военную агрессию во

Вьетнаме. Памятуя это, в сегодняшней Великобритании средства информации очень осторожно, поистине с макиавеллиевской изощренностью, приучают среднего англичанина не вмешиваться в происходящее, а согласно кивать головой. Власти стремятся не допустить осознанного восприятия происходящего. Человека пытаются отвлечь, отстранить, затуманить его сознание, успокоить, обмануть. Все это делается. Мало того, делается под лозунгом укрепления демократии. Но что такое демократия? Как только правда перестает служить демократии, демократия перестает быть таковой.

Нам говорят, что социализм—синоним агрессии и экспансии, что он—угроза демократии, что он—враг человечества. И разумеется, нам никогда не говорят о действительной угрозе, которую представляет социализм,—угрозе существованию капитализма. Что же до утверждения, будто социализм—враг человечества, то сейчас в мире достаточно примеров, способных еще и еще раз доказать обратное: что на самом деле, а не в одной лишь теории именно социализм—живая реальная надежда человечества. Подобные доказательства могли бы оказаться катастрофическими для обвинителей; и потому средства массовой информации заняты их сокрытием либо искажением.

Основа социализма—мир, и если в чем и нуждается он для расцвета—это во времени, в перспективе мирного развития; дайте социализму время, дайте ему мир без войн, и он окажется несокрушимым адвокатом собственной правоты—ни у кого на этот счет не останется сомнений. Отсюда и следует обращение капитализма к политике, цель которой—не дать социализму мира, не дать ему времени. Отсюда тотальная монополия на средства массовой информации, отсюда и запрограммированный их курс на ложь, на извращение фактов.

Общественное мнение монополии рассматривают как предмет купли-продажи, как нечто, чем можно и должно умело пользоваться. Это фашистский принцип. Известно, что стихия общественного мнения, если ее раскачать, может оказаться неуправляемой; военный бизнес стремится обратить ее в стихию поистине губительную: силам мира это следует иметь в виду. Правда, покушаясь на общественное мнение, поджигатели войны—транснациональные корпорации—вынуждены в наши дни принимать в расчет открытие собственных исследо-

вателей рыночной конъюнктуры: оказывается, человеком движет не только собственнический интерес — рычаг капиталистической психологии, которая с помощью средств массовой информации от века внедрялась в сознание публики, но и такие понятия этики, как справедливость и несправедливость. А если это так, если большинство поддержит то, что оно с точки зрения морали считает справедливым, и отвергнет то, что сочтет несправедливым, значит, его надо любой ценой убедить, что курс, который ему навязывают, — правильный и справедливый и, наоборот, идеи, против которых его убеждают выступить, — несправедливы. Правде в этой циничной логике места нет.

Чтобы свести концы с концами, наши средства массовой информации прибегают к фальсификации фактов, хуже того, они фальсифицируют сам язык, которым излагают факты: фальсифицируют сами слова. Слова — это драгоценнейшая, тончайшая субстанция. Они облачают смыслом нашу жизнь. С помощью слов мы общаемся, мы обмениваемся мыслями. Но если слова действительно способны облачать смыслом нашу жизнь, они должны сохранять заложенное в них истинное значение, которое выходит далеко за рамки простого поименования предмета или понятия; они должны с точностью выражать оттенки наших намерений и сами получать выражение в нашем поведении. И если смысл, заключенный в них, незамутнен и чист, отражения тоже должны быть соответственно точными. Говоря о чести, не следует путем ловкой подмены именовать ее бесчестьем, слово «надежный» не следует употреблять по отношению к тому, что заведомо ненадежно, словом «оборона» подменять «нападение», говоря о постыдном, нельзя называть его «достойным». Производить такого рода подмены — значит искажать внутреннее содержание слова, иначе говоря, клеветать на его истинный смысл. Это и есть то самое, чем занимаются сегодня наши поджигатели войны: для того чтобы использовать естественную нравственную человеческую реакцию в своих безнравственных целях, они сознательно манипулируют формулами языка — искажают истинное значение употребляемых понятий. В результате слова, и без того часто обвиняемые в обмане и лжи, навлекают на себя еще больше подозрений: люди перестают считать их надежными полпредами смысла.

Отказывая в доверии словам, они перестают верить в

побуждения и намерения, в чувства, которые за ними скрыты,—во все побуждения, все намерения и все чувства. Слова способны, будто на крыльях, поднимать дух человека, и потому, когда язык поступает в распоряжение фальсификаторов, опороченными оказываются далеко не одни слова.

Мир в наши дни—этот синоним самой веры в завтрашний день человечества—зависит от желания и стремления людей понять друг друга. И помочь нам здесь способен лишь тот язык, который в полном смысле слова отвечает этому стремлению. Ибо когда слова теряют истинный смысл, мы теряем способность пытаться с их помощью лучше понимать друг друга, приближаться друг к другу; напротив, мы отдаляемся друг от друга и оказываемся в изоляции, менее защищенными перед натиском продажной пропаганды и грубой силы. Я верю, что наш долг, долг писателей,—восстановить, защитить, обеспечить неприкосновенность достоинства языка, защитив и обеспечив тем самым изначальное, главное право каждого человека—право на общение друг с другом. Мы, писатели, работаем со словом—разве мыслимо для нас пройти мимо хотя бы одной попытки постыдного обращения с ним как с расхожей пустышкой, способом одурачить, средством обмана? Словам предначертана иная судьба—служить дару вдохновения, которое через барьеры времени и расстояний мы передаем друг другу, для наших посланий конечной веры в мужество и человечность людей, действующих во имя взаимного блага, а не во вред друг другу. Печатное слово способно существовать столь же долго, как сам мир, как должен существовать мир,—вечно. Давайте же попытаемся поставить это великое орудие нашей профессии—а вместе с ним и нас самих—на единственно подобающее ему и нам место в мире—на сторону социализма, сторону справедливости и морали, сторону жизни. Мы, писатели, обязаны выступать на стороне жизни.

1980

ФРЭНСИС ТРОЛЛОП (1780—1863)

Английская писательница и общественная деятельница, мать Энто-ни Троллопа, много путешествовала—по Америке, Бельгии, Франции, Германии,—что запечатлено в ее путевых записках. Литературную деятельность начала в пятидесятидвухлетнем возрасте, во многом стремясь упрочить материально-финансовое положение семьи, сильно подорванное поездкой в Соединенные Штаты. В 1832 г. ею одновременно были опубликованы роман «Американский изгнанник» и очерки «Национальные нравы американцев» (в 2-х т.), отрывки из которых воспроизводятся в книге.

С. 35. *Я читала «Анну Гейерштейнскую» Вальтера Скотта...*— Полное название романа—«Анна Гейерштейн, или Дева Тумана» (1829). Сюжет его исполнен всякого рода мистических тайн и ужасов, роковых совпадений, зловещих обрядов и «прочих», по выражению биографа В. Скотта Хескета Пирсона, «драматических ухищрений, прельстительных для незрелого ума».

С. 40. *...с мистером Флинтотом... автором нескольких весьма примечатель-ных книг и издателем «Вестерн мансли ревью»...*—Флинт Тимоти (1780—1840)—американский романист, проповедник, издавал журнал «Вестерн мансли ревью» с 1827 по 1830 г. В романах, проповедях, трудах по истории, этнографии, географии стремился, по выражению одного из американских критиков, «растолковать» ученому, университетскому Востоку достоинства жизни первопроходцев на Дальнем Западе, напри-мер в романе «Джордж Мэзон, молодой житель лесов» или «Не покидай корабль. Повесть о Миссисипи» (1829) и «Воспоминаниях о Дэниеле Буне, первом поселенце в Кентукки» (1833) и т. д.

С. 41. *...то, что великому поэту все же лучше было бы не писать...*—Ф. Троллоп разделяла, очевидно, укоренившиеся в буржуазном англий-ском обществе пуританские предрассудки, в силу которых из круга современного чтения исключались комедии Шекспира и поэма Байрона «Дон Жуан» (1819—1824) за «вольности» в описании нравов.

Поп (Поуп) Александр (1688—1744)—английский поэт-просветитель. С литературной жизнью Лондона его познакомил драма-тург Уичерли. Вскоре Поп стал членом Аддисоновского кружка писате-лей и поэтов. Переводы «Илиады» (1720) и «Одиссеи» (1726), ироикомиче-ская поэма «Похищение локона» (1714), сатира «Дунсиада» (1728) принесли ему славу величайшего поэта XVIII в. не только в Англии, но

и во всей Европе. В «Опыте о критике» (1711), следуя за Буало и Драйденом, разрабатывает основные эстетические принципы классицизма.

С. 42. ...«Похищение»! Заглавие, кажется, само за себя говорит!— В поэме «Похищение локона» (Rape of the Lock) речь идет о том, как страстно влюбленный юноша незаметно отрезает у красавицы леди один из локонов, в то время как ее причесывают. Поп употребляет слово «гаре» в смысле «завладеть с целью присвоения». Собеседник Ф. Тролоп воспринимает слово «гаре» в его разговорном смысле — «совершить насилие».

Драйден Джон (1631—1700)—английский поэт-лауреат, прозаик, драматург, переводчик, придворный историограф. Автор двадцати восьми пьес. Теоретик драмы. Особо значительно его эссе «О драматической поэзии» (1668). Ему же принадлежит термин «поэты-метафизики», объединивший в единую группу поэтов философско-теологического направления, живших в XVII в., к которой он относил Джона Донна, Ричарда Крэшоу, Генри Вогэна, Эндрю Марвелла (последний в свите посла побывал в России в 1663 г.).

Мессинджер Филип (1583—1640)—английский драматург. Его пьесы имели злободневный политический подтекст, например «Великий герцог Флорентийский» (пост. в 1627 г.). Отличался независимостью и прямотой суждений, демократизмом. Умер при невыясненных обстоятельствах.

Форд Джон (1586—1639?)—английский драматург. Автор многочисленных пьес (некоторые написаны совместно с драматургом и поэтом Т. Деккером). Наиболее известны и популярны были пьесы Форда «Влюбленный меланхолик» (1620) и «Как жаль ее развратницей называть» (1633).

Грей Томас (1716—1771)—английский поэт, ученый, лингвист. Автор знаменитой «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751), известной в переводе В. А. Жуковского.

Прайор Мэтью (1664—1721)—английский поэт-классицист, в творчестве которого постоянны античные мотивы и сюжеты. Известен как дипломат, сыгравший важную роль при заключении Утрехтского мира (1713), запрещавшего войны за т. н. «Испанское наследство».

Чосер Джефри (1340?—1400)—первый английский поэт, положивший начало реалистической и сатирической традиции английской литературы. Автор «Кентерберийских рассказов», поэм «Троил и Хризеида», «Жалоба Венеры и Марса», сатиры «Парламент дураков». В своем литературно-критическом эссе «Заметки на полях» (1921) английский писатель Олдос Хаксли (см. коммент. с. 317) скрупулезно исследовал «языческий элемент» поэзии Чосера. Д. Чосер был также придворным поэтом, служил при английских королях Эдуарде III, Ричарде II и Генрихе IV.

Спенсер Эдмунд (1552—1599)—английский поэт. Автор пасторального «Пастушеского календаря» и поэмы «Королева фей». Полное собрание его произведений было издано в 1611—1613 гг. с лестным упоминанием о «нашем лучшем поэте». Ввел в стихосложение т. н. «спенсерову строфу», или «девятистишие», в котором 1—8-я строки написаны пятистопным ямбом, 9-я — шестистопным.

С. 43. ...«Стансами» госпожи Хеманс...— Хеманс (Хименс) Фелиция Доротея (1793—1835)—английская поэтесса. Ее сентиментальные сти-

хотворения были популярны в Америке, много печаталась в известных английских журналах того времени, включая «Блэквудс», «Кольерс», «Эдинбург мансли мэгэзин». Ей принадлежат сборники: «Стихотворения» (1808), «Уэльские мелодии» (1822) (очевидно, написанные в подражание «Еврейским мелодиям» Дж. Г. Байрона, 1822), «Лесное святилище и другие стихотворения» (1825), «Гимны для детей» (1834) и т. д. Вместе с другими романтиками, С. Колриджем, Р. Саути, Ф. Хеманс питала интерес к американской экзотике и была хорошо знакома с книгой американского ботаника У. Бэртрама «Путешествия», неоднократно издававшейся в Европе и служившей источником поэтического вдохновения.

...из «Жизни Байрона» Томаса Мура—Мур Томас (1779—1852)—англо-ирландский поэт. Его поэма «Лалла Рук» (1817), сборники «Ирландские мелодии» (1820, 1824) снискали ему огромную популярность в Англии и за ее пределами. Автор многих песен. Друг Байрона, он был первым его биографом, издав «Письма и дневники лорда Байрона с заметами о его жизни» в 2-х т. (1830).

...американского критика, полагающего, что «романы Булвера решительно превосходят романы сэра Вальтера Скотта».—Булвер-Литтон Эдвард (1803—1873)—английский писатель. Наиболее известен его роман «Пэлэм, или Приключения джентльмена» (1828). Создатель романтизированного образа скусающего дворянина-денди. Замечание Ф. Тrollop носит иронический характер, так как романы Булвера из великосветской жизни должны, казалось бы, претить «республиканским» вкусам американских граждан. Ч. Диккенс высмеял пристрастие к подобным светским сочинениям в романе «Николас Никльби» (1839).

ГАРРИЭТ МАРТИНО (1802—1876)

Английская общественная деятельница, сторонница буржуазно-либеральных реформ, экономист, писательница. Родилась в семье фабриканта. Мировоззрение характеризовалось эволюцией к скептицизму и атеизму. В 1853 г. перевела на английский язык «Философию позитивизма» О. Конта. Сотрудничала в газете «Дейли ньюс» (1851—1866), основанной Ч. Диккенсом, и в литературно-критическом ежеквартальнике «Эдинбург ревью». Автор нескольких романов: «Пять лет юности, или Разум и чувство» (1831), «Дирбрук» (1839), «Час и человек. Исторический роман» (1841) и др. Однако широкую известность и прочную литературную репутацию ей принесли циклы очерков «Картинки политической экономии» (1832—1834), книга «Общество в Америке» (1837), «Письма о законах развития человеческой природы» (в соавторстве с Г. Дж. Аткинсоном). Предприняла путешествие в Америку с целью ознакомления с результатами ее государственного устройства как нового социального эксперимента.

Г. Мартино была сторонницей гражданского, социального и экономического равноправия женщины. Именно зависимое, подчиненное положение женщин и негров-рабов более всего и неприятно поразило ее во время путешествия по Америке (1836). Ниже публикуются отрывки из книги «Общество в Америке» (1837).

С. 45. ...И в то же время ей внушают, будто она живет в женском раю.—Г. Мартино верно подмечает тенденцию, господствовавшую в большей части устных и печатных проповедей, социологических тракта-

тах, трудах историков, когда речь заходит о положении женщины в Америке. Так, преподобный Ч. Стирнз в одной из своих лекций утверждал, что «недостойно порядочной женщины и добродетельной матери семейства стремиться к равноправию с мужчиной».

С. 47. *...последнего романа мисс Седжвик...*—Седжвик Кэтрин Мария (1789—1867)—американская писательница, автор бытоописательной прозы из жизни Новой Англии («Редвуд», 1824), исторических романов из времен американской буржуазной революции «Хоуп Лесли» (1827) и «Линвуды» (1835). Очевидно, Г. Мартино ссылается именно на этот роман.

С. 49. *...когда Гаррисон подвергся в Бостоне нападению толпы...*—Гаррисон, Уильям Ллойд (1805—1879)—американский общественный деятель, противник рабовладения, вождь аболиционистского движения. С 1831 по 1865 г. издавал на собственные средства и пожертвования газету «Либерейтор». Основал «Новоанглийское антирабовладельческое общество» (1832) и «Американское антирабовладельческое общество» (American Anti-Slavery Society, 1833). Был также сторонником гражданского равноправия женщин, улучшения участи американских индейцев и поборником трезвости. Непримируемая и бескомпромиссная борьба У. Л. Гаррисона-аболициониста вызывала яростное сопротивление сторонников рабства. Он получал сотни писем с угрозами физической расправы. В 1835 г. подвергся варварскому «нападению толпы», о котором упоминает Г. Мартино, и жестоко пострадал. После смерти У. Л. Гаррисону был воздвигнут в Бостоне бронзовый памятник.

...совершила истинный подвиг, стоящий больше создания любой книги, и объявила себя аболиционисткой...—Г. Мартино имеет в виду американскую писательницу и общественную деятельницу Лидию Марию Чайлд (1802—1880). Уже первые ее произведения, романы «Хобомок» (1824) о «благородном краснокожем» и «Повстанцы, или Бостон накануне Революции» (1825), свидетельствовали о гуманизме и патриотизме. В 1833 году Л. М. Чайлд публикует антирабовладельческий трактат «В защиту тех американцев, коих именуют африканцами». Выход этой книги привел к исключению Л. М. Чайлд из консервативного «Атенеума», литературного кружка Бостона, ее романы перестали раскупаться, она не смогла больше издавать свой «Журнал для молодежи». Л. М. Чайлд тяжело восприняла крушение своей творческой судьбы романистки, почему Г. Мартино считает долгом выразить и сочувствие, и поддержку общественной деятельности Чайлд.

С. 50. *...трактат о рабстве преподобного доктора Чаннинга...*—Чаннинг Уильям Эллери (1780—1842)—унитарианский священник, один из создателей, наряду с Р. У. Эмерсоном (см. коммент. с. 315), философского трансцендентального клуба, группы бостонских ученых и писателей, издававших журнал «Дайэл», аболиционист. В своих речах Чаннинг обосновал основные принципы трансцендентализма, в частности положение о том, что в каждом человеке есть божественное начало. Это было шагом вперед по отношению к ортодоксальному пуританизму. Американский историк литературы Р. Э. Спиллер назвал Чаннинга «бесстрашным духовным пастырем», так как в отстаивании принципов гуманизма, в частности борьбе против рабовладения («Рабство», 1835), У. Э. Чаннинг проявил подлинное мужество и твердость.

С. 51. ...видно... из распространенного убеждения, будто существуют особые мужские добродетели и особые женские.— Г. Мартино имеет в виду учение Аристотеля о «естественной иерархии полов», которая лежит в основе государственного устройства. В соответствии с этой концепцией, утвердившейся в феодальной и буржуазной Европе, а затем и в Америке, мужчинам свойственны ум, социальная активность, воинственность, преобладание разума над чувством, женщине — иррационализм, пассивность, эффективное проявление способностей только в сфере домашних и семейных обязанностей. Концепция Аристотеля получила широкое признание в ряде современных социологических и культурологических трудов консервативного направления, а также в литературе и публицистике на Западе и в известной степени является почвой для антифеминистских настроений в США 80-х годов. Так, в январе 1983 г. конгресс США в очередной раз провалил 27-ю поправку к конституции, гарантирующую уравнивание американских женщин с мужчинами в социально-экономических правах.

С. 55. А пока следует сделать вывод, что принципы Декларации независимости попросту не касаются половины человечества?— Парафраз иронических слов миссис Картер, героини романа-трактата американского писателя Чарльза Брокдена Брауна «Алкуин» (1798): «Конституция лишила политических прав всего лишь половину населения Америки (женщин.— М. Т.) вкупе с неграми, недавними иммигрантами и нищими».

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС (1812—1870)

Величайший представитель английского критического реализма XIX в., «блестящей школы романистов» (К. Маркс), сатирик и юморист.

В январе 1842 г. Ч. Диккенс совершает свою первую поездку в Америку, где его ждет триумфальный прием. Радикально настроенный демократ, молодой Диккенс о своих впечатлениях пишет друзьям, литератору Джону Форстеру (его будущий биограф) и знаменитому актеру Макриди. Первые, благоприятные впечатления скоро уступают место гневу и негодованию, когда Диккенс ближе знакомится с законодательной системой («презренная межпартийная борьба», «подлое мошенничество», «закулисные сделки», «лихой авантюризм»), судопроизводством, рабовладением, нравами прессы, пренебрежением международным авторским правом. «Не такую республику я надеялся увидеть. Это не та республика, которую я хотел посетить; не та республика, которую я видел в мечтах»,— пишет он Макриди.

Вернувшись в Англию, на основе обширной корреспонденции Диккенс создает «Американские заметки» (1842). Сатирические зарисовки американской жизни содержатся и в романе «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». Герой романа, эгоистичный и самоуверенный Мартин, и его слуга, неунывающий весельчак, добрый и бескорыстный Марк Тэпли чуть не погибают в городе «Эдеме», «рассаднике малярии, лихорадки и смерти», который славится как «кладезь золотых надежд», где спекулянты продают гиблые участки земли иммигрантам, приехавшим в Америку, чтобы разбогатеть. В «Эдеме» явно узнавался городок Каир на Миссисипи, в котором побывал Диккенс и который потом так подробно изобразил в своих путевых очерках Энтони Троллоп. Вместе

с тем Ч. Диккенс пишет в предисловии к «Американским заметкам». «...верю и надеюсь, что она (Америка.— М. Т.) успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества», тем самым подтверждая демократический характер своих общественно-политических взглядов.

Печатается по тексту: Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30 тт. М., 1969.

С. 60. ...*при Докторе-Коммонс*.— В ранней молодости Диккенс работал стенографистом в суде по наследственным делам Доктора-Коммонс.

С. 61. ...*Файв-Пойнтс, который по грязи и убожеству ничуть не уступает Сеуен-Дайелсу*...— Сеуен-Дайелс — трущобный, кишевший преступниками квартал Лондона, с половины XIX века городское «дно». Это средоточие воровских притонов было расположено на пересечении семи улиц.

С. 63. *Трудно было бы вам наладить жизнь... без соплеменников и соплеменниц этих двух тружеников*.— В первой половине XIX в. в Америку в поисках средств к существованию эмигрировали разорявшиеся ирландские и шотландские крестьяне, которые использовались на самой тяжелой работе и составляли ядро «рабочих рук» на фабриках и заводах.

С. 64. ...*пирата Поля Джонса*.— Джонс Джон Поль (1747—1792) — американский мореплаватель, участник американской революции. Бывал в России (1788). Послужил прототипом для куперовского «лоцмана» (хотя сильно романтизирован писателем в байроническом духе) в романе «Лоцман» (1823) и главного героя романа Г. Мелвилла «Израиль Поттер» (1855).

С. 66. *Я перенес палату общин... Я присутствовал при выборах в боро и графства*.— После работы в Докторе-Коммонс молодой Диккенс стал стенографистом-репортером в парламенте, записывая выступления членов палаты общин для газет «Миррор ов парламент», затем «Морнинг хроникл». Он присутствовал на парламентских прениях, когда шла борьба за избирательную реформу, возглавлявшаяся торговой и промышленной буржуазией. Существовавшая избирательная система устарела. Право посылать представителей в палату общин имели маленькие поселки, «боро» — т. н. «гнилые местечки» с населением иногда в несколько десятков человек, расположенные на землях крупных помещиков, — а большие промышленные города, например Лидс и Манчестер, были лишены такого представительства. Даже от Лондона посылалось в парламент всего несколько человек. Борьбу за избирательную реформу на местах Диккенс комически изобразил в «Записках Пиквикского клуба» — схватка партий «желтых» и «синих» в городке Итенсуилле.

С. 67. ...*с гиком и свистом умножать кровавые полосы на теле раба*.— Здесь содержится аллюзия: на американском государственном флаге изображены красные полосы.

...*взяв на себя задачу исправлять в новом мире пороки и обманы старого*...— Первые поселенцы, эмигрировавшие в Америку, и прежде всего «отцы-основатели»-пуритане, считали себя «избранниками божьими», которым предстоит основать в Новом Свете новое общество,

свободное от изъянов старой, «разлагающейся» Европы: американский «Адам» создаст здесь, на новом континенте, новый «рай», «Эдем».

С. 69. ...каждый из них настоящий Крайтон.— Крайтон Джеймс (1560—1585)—шотландский лингвист, математик, философ, теолог. Имя его в Англии стало нарицательным для обозначения разносторонне одаренной личности.

С. 74. ...моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу...— Писатель В. Ирвинг (1783—1859) был одним из самых верных и преданных американских друзей Диккенса, в отличие от других литературных «патрициев», которых несколько коробили демократические привычки английского писателя, непринужденная манера общения, яркие жилеты, а также то, что «кости его рук широки и пальцы не отличаются изыщной удлиненностью», и сам он—«человек низкого происхождения».

С. 78. ...кто, говоря о свободе, подразумевает свободу угнетать своих ближних...— Диккенс имеет в виду сенаторов-южан, отстаивавших право рабовладения ссылаками на то, что это «самобытное установление» освящено авторитетом Древней истории, приводя в пример демократический греческий полис, который «тоже» был рабовладельческой республикой. Ниже Диккенс иронически отзывается о южной «аристократии, порожденной лжереспубликой»

ЭНТОНИ ТРОЛЛОП (1815—1882)

Английский романист, сын Ф. Тrollop, проницательный бытописатель нравов английской викторианской буржуазии. Считается учеником и последователем У. Теккерея. Побывал в Египте, Соединенных Штатах, Австралии. Сотрудничал в «Норт америкен ревью». Автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Известность ему принесли циклы романов «Барчестерские башни», «Последние хроники Барчестера» (1867), «Клэверинги» (1867), а также романы из парламентской жизни («Премьер-министр», 1876). Троллопу принадлежат обширные путевые заметки, в частности книга очерков «Северная Америка», лекция «Высшее образование для женщин» (1868), биография У. М. Теккерея (1879), исторический труд «Жизнь Цицерона» (1880), две комедии и изданная посмертно «Автобиография» (1883). В сборнике публикуются отрывки из книги «Северная Америка» (1862).

С. 95. ...отголосав, он может не обременять себя политикой до следующего голосования. ...Однако равенство необходимо не менее свободы.— Интересно сопоставить со словами Троллопа высказывания Р. Киплинга и Дж. Б. Пристли о соотношении в Америке равенства и свободы, что позволяет проследить эволюцию этих социально-политических категорий и отношение к ним американцев в XIX и XX вв.

С. 100. «...Мы—земные боги... Чья стрела способна поразить нас?»— Э. Троллоп тем самым подвергает критике теорию «американского избранничества», в соответствии с которой демократическое общество в Америке должно развиваться совсем по иным законам, что существуют

в монархической Европе с ее феодальными пережитками, сословной иерархией, политической борьбой различных наций и классов, приводящими к войне.

С. 102. ...наш популярный романист... живописал благословенное местечко, назвав его Эдемом...—См. коммент. с. 307.

РОБЕРТ ЛЬЮИС БЭЛФУР СТИВЕНСОН (1850—1894)

Англо-шотландский романист, поэт, литературный критик, эссеист, юрист по образованию. В 1876—1882 гг. сотрудничал в журнале «Корнхилл мэгэзин». Много путешествовал, переселился на о. Самоа в надежде излечиться от туберкулеза. Автор романов, рассказов, стихотворений, книг, путевых заметок, литературно-критических портретов писателей и эссе. Наиболее популярны его романы «Остров сокровищ» (1883), «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886), «Черная стрела: повесть о двух Розах» (1888), «Хозяин Баллантрэ» (1889), «Катриона» (1893, продолжение романа «Похищенный» — 1886).

Из литературно-критических работ наиболее известны «Неприкрашенные зарисовки людей и книг» (1882), «Воспоминания и портреты» (1887). Из путевых — «Эмигрант-любитель» (1895), отрывки из которой публикуются в книге.

С. 118. Он ничего не знает или думать не хочет о законах штата Мэн, о пуританском угнетении, о яростной и жадной погоне за долларом...— Р. Л. Стивенсон имеет в виду традицию жестокой теологической автократии, установившейся в XVII в. в новоанглийских штатах Мэн и Массачусетс, где пуританство выказывало крайнюю нетерпимость в вопросах веры и морали и претендовало на звание единственно истинной религии. Вместе с тем пуритане утверждали, что личная собственность, прибыль, имущественное разделение на богатых и бедных освящены свыше.

...запечатлел в своих мощных, жизнерадостных и переливающихся строках Уолт Уитмен.— Уитмен Уолт (1819—1892)— американский поэт, певец демократии, труда, братства людей, радости жизни. Автор сборника стихотворений «Листья травы» (1855), памфлета «Демократические дали» (1871) и др. Поэт-революционер в области стихосложения.

Торо Генри Дейвид (1817—1862)— американский писатель, мыслитель, натуралист. Представитель философского трансцендентализма, воплотивший на практике его основные принципы, связанные с критическим отношением к «коммерческому духу» современного частного-собственнического общества: близость к природе, духовное самоусовершенствование, неповиновение властям, очищение от вульгарно-материалистических интересов. Основные произведения: «Неделя на реках Конкорд и Мерримак» (1849), философско-романтическая робинзонада «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).

Г. Д. Торо был непреклонным противником рабства негров. социально-политические очерки «О гражданском неповиновении» (1849), «Рабство в Массачусетсе» (1854), речи «В защиту капитана Брауна» (1859).

С. 127. ...он был похож на готорновского Донателло.— Имеется в виду герой романа американского романтика Натаниела Готорна (1804—

1864) «Мраморный фавн» (1860), который из простодушного юноши, «дикаря», «создания природы», в котором есть нечто от первобытного фавна, превращается, по словам писателя, в олицетворение «печального иссушающего самопознания». Роман переводился на русский язык под названиями «Переворот» (1860) и «Монте-Бени» (1861).

С. 128. ...Аполлон должен идти на службу к Адмету.—Как рассказывает древнегреческий миф, после убийства дракона Пифона бог света и искусства Аполлон по решению Зевса должен был восемь лет пасти стада фессалийского царя Адмета. В данном случае выражение приобретает аллегорический смысл: искусство вынуждено служить сильным мира сего.

С. 136. ...а те книги, в которых смелость мысли соединяется с изяществом стиля, можно сосчитать на пальцах.—Это замечание Р. Л. Стивенсона о необходимых художественных достоинствах литературного произведения перекликается с тем, как оценивают его собственные книги Марк Твен и Р. Киплинг. См. «Интервью, взятое у Марка Твена», с. 161.

...Пример — мильтоновская «Ареопагитика». — Полное название: «Ареопагитика. Речь мистера Джона Мильтона в защиту свободы книгопечатания, обращенная к парламенту Англии» (1644), где, в частности, Милтон (1608—1674) говорит: «...Я не отрицаю того, что для церкви и государства в высшей степени важно бдительным оком следить за поведением книг. Я знаю, что они столь же живучи и плодovitы, как баснословные зубы дракона, и что, будучи рассеяны повсюду, они могут воспрянуть в виде вооруженных людей... Тем не менее, если не соблюдать здесь осторожность, то убить хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека: кто убивает человека, убивает разумное существо... тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум...» (Дж. Милтон. *Ареопагитика*. М., 1907. Перевод П. С. Когана).

С. 137. ...существуют различные варианты «Гамлета»...—Трагедия Шекспира «Гамлет, принц Датский» (1601) была напечатана в 1603, 1604, 1611 и 1623 гг. Между изданиями 1603, 1604 и 1623 гг. имеются текстологические расхождения. Так, издание 1603 г. вдвое короче по сравнению с изданием 1604 г. В эпоху Шекспира книгоиздатели нередко печатали пьесы без разрешения автора и труппы, для чего или записывали пьесу во время спектакля, или подкупали одного из актеров, чтобы он воспроизвел текст пьесы по памяти. Именно такой способ и был применен в пиратском издании 1603 г. Появление искаженного текста побудило Шекспира и его труппу противопоставить сокращенному варианту подлинный текст. Правда, и в этом издании нет 83 строк, которые содержатся в издании 1623 г.

С. 140. «Полковник Джек» (1722) — роман Дэниела Дефо (ок. 1660—1731).

С. 141. ...о котором его друг заметил столь же остроумно...—Имеется в виду Р. У. Эмерсон (см. коммент. с. 315).

С. 145. ...Либо Проповедь с горы...—то есть Нагорная проповедь Христа, в которой излагались принципы христианства как вероучения и этической системы с ее основополагающим постулатом милосердия к

ближнему. Стивенсон справедливо ставит под сомнение приверженность Г. Д. Торо к официальной религии. Вместе с тем он не прав, утверждая, что Торо был равнодушен «к чаяниям, думам и страданиям других»: пример — помощь Торо беглым рабам, его страстные речи «В защиту капитана Джона Брауна» и т. п. В «Предисловии» Р. Л. Стивенсон признает односторонность своего первоначального анализа «жизни и мнений» Торо.

С. 147. ...Уитмен, который, я уверен, является учеником Торо. — Р. Л. Стивенсон имеет, очевидно, в виду не только связь У. Уитмена с философией и этикой трансцендентализма (эмерсоновская концепция «героического индивидуализма» и «доверия к себе», то есть всемерного развития всех потенций собственной личности), но прежде всего безраздельную любовь Торо к природе как естественной среде обитания человека.

С. 148. *Оберманн* — герой одноименного романа (1804) французского писателя Эжена Сенанкура.

С. 149. *Неизвестный доброжелатель*. — Очевидно, Р. У. Эмерсон, тайне от друга плативший за него долги.

...той же силой убеждения, как, скажем, *Фальстаф*. — Сэр Джон Фальстаф, персонаж исторической пьесы-хроники Шекспира «Генрих IV» (части I и II) и комедии «Виндзорские насмешницы», весельчак, обжора, плут и трус, вступает в длительные словопрения с Верховным судьей, безуспешно пытаясь убедить последнего в правомерности своего разгульного, беспечального существования.

ОСКАР ФИНГАЛ О'ФЛАЭРТИ УЭЛЛС УАЙЛЬД (1856—1900)

Английский писатель, драматург, поэт, эссеист, снискавший известность как глава эстетского направления в английской литературе и искусстве, близкого французскому символизму конца XIX в. Однако в своем наиболее известном философском романе «Портрет Дориана Грея» (1891) развенчал декадентское представление о самодовлеющем значении красоты, неподвластной законам этики.

О. Уайльд много путешествовал по Англии и Соединенным Штатам. По обвинению в безнравственности отбывал двухлетнее заключение. Выйдя на свободу, уехал во Францию, принял католичество и умер в Париже, где жил под именем Себастьяна Мельмота (литературная аллюзия на роман ирландского писателя Ч. Р. Мэтьюрина (1782—1824) «Мельмот-скиталец», 1820). Наряду с «Дорианом Греем» широкую известность получили сборник новелл-сказок «Счастливый принц и другие рассказы» (1888), пьесы «Веер леди Уиндермир» (1893), «Идеальный муж» (1899), а также «Баллада Редингской тюрьмы» (1898). Интересны социологические наблюдения и эссе «Намерения» (1891). «Душа человека» (1895), «De Profundis» (опубликована посмертно, в 1905 г.).

Публикуемый отрывок представляет собой фрагмент лекции (О. Уайльд совершил по США лекционное турне) на тему «Искусство в повседневной жизни».

С. 154. ...*Песни Китса*.—Китс Джон (1795—1821)—английский поэт-романтик, друг П. Б. Шелли. Автор широко известных «Оды соловью» и «Оды греческой вазе» (1819), поэм «Эндимион» (1818), «Гиперион» (1820).

...*Школа прерафаэлитов*—группа английских живописцев, скульпторов, писателей и поэтов, избравшая своим эстетическим идеалом искусство Раннего итальянского Возрождения (до Рафаэля), например творчество Сандро Боттичелли (1445—1510). Группа получила название после опубликования социологом, критиком и теоретиком искусства Джоном Рескином трактата «Братство прерафаэлитов» (1854), содержавшего эстетическую критику капитализма. В группу входили люди разных пристрастий и убеждений, например поэт и гравёр Данте Габриэль Россетти, поклонник «чистого искусства», и Уильям Моррис, который в 80-х годах стал социалистом. Россетти провозглашал величайшей ценностью «артистический темперамент» художника и необходимость «сращения» поэзии с живописью, а У. Моррис основал предприятия, где кустари изготавливали шедевры искусства. Они должны были убедить в превосходстве ремесленного производства над капиталистическим.

В публикуемой лекции О. Уайльда, несомненно, слышится отзвук моррисовских идей о роли искусства в общественной жизни, о том, что к искусству надо приобщать с детских лет и что этическое и эстетическое воспитание неразрывно связаны между собой. Об этом свидетельствует, в частности, вывод Уайльда: «Дети учатся искренности в искусстве, ненависти к лицемерию. Это наглядное воспитание морали».

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ (1865—1936)

Английский писатель. Родился в Бомбее. Работал репортером в лахорской «Гражданско-военной газете» (1881), где напечатаны его первые рассказы. В 1885 г., после опубликования сборника «Департаментские песни», уже пользуется репутацией известного литератора. Вскоре уезжает в Англию, выбрав самый длинный путь, через Японию и США. В 1892 г. совершает кругосветное путешествие. В 1907 г. Р. Киплингу присуждается Нобелевская премия по литературе. Романы «Ким» (1901), «Пэк из Пэксхилла» (1906), стихотворения, прославлявшие «бремя белого» в колониях, снискали Киплингу репутацию «барда империализма» и певца английской колониальной мощи. Однако после первой мировой войны, на которой без вести пропал его единственный сын, имперские амбиции и симпатии Киплинга несколько пошатнулись.

Большой популярностью пользовались его «Рассказы о животных» (1932), «Все о Маугли» (1933). Несколько лет прожил в США. Свои впечатления от первой поездки в США Киплинг изложил в книге путевых очерков «Американские заметки» (1891) и «От моря до моря» (1899). Ему принадлежат также труды по истории Англии и литературно-критические статьи. Публикуемые в сборнике отрывки взяты из книги «От моря до моря».

С. 161. ...*Да, здесь знали все об «этом самом Клементе»*.—Настоящее имя американского писателя Марка Твена (1835—1910) Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, под которым он и был известен жителям Эльмиры, где проводил лето, и небольшого городка Хартфорда в Новой

Англии, его постоянного места жительства в 80—90-е годы прошлого века.

С. 169. *Ну, а что до книги Роберта...*— Очевидно, имеется в виду роман Р. Л. Стивенсона «Хозяин Баллантрэ». Оценка романа вполне совпадает с эстетической программой самого Стивенсона (см. коммент. к разделу «Р. Л. Стивенсон»).

С. 171. *...спецкорреспондентом на Сандвичевых островах...*— В 1866 г. М. Твен поехал на Гавайские (тогда Сандвичевы) острова от одной из калифорнийских газет. Свои впечатления он изложил в очерке «Сандвичевы острова», где констатировал, что белые принесли с собой «долгий, постепенный и неумолимый упадок» и что не за горами то время, когда «последний гаваец отойдет к праотцам, а его острова—в руки белых» (цит. по книге: М. Твен. Дары цивилизации. М., «Прогресс», 1985, с. 30).

С. 171. *Но смертный недостойн созерцать пиришествва богов!*— Сохранилось воспоминание: когда жена М. Твена, Оливия Клеменс, узнала, что в гостях у них был, и довольно долго (два часа), Киплинг, она упрекнула мужа, почему тот не пригласил его позавтракать с ними, так как «молодой человек, конечно, был голоден».

ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС (1866—1946)

Английский писатель, классик научно-фантастического романа XX в., автор бытописательной и психологической прозы. Был учителем. Защитил работу на звание магистра технических наук. С 1893 г. занимался исключительно литературным трудом. Много путешествовал. Бывал в революционной России, беседовал с В. И. Лениным. По убеждениям—фабианский социалист. Идеи научно-технического прогресса связывал с проблемами нравственного и социального развития общества. Г. Дж. Уэллсу принадлежат 34 романа.

Отрывки, публикуемые в сборнике, взяты из книги «Будущее Америки» (1906).

С. 180. *...как пишет Коттл...*—Г. Дж. Уэллс имеет в виду книгу литератора Джозефа Коттла «Воспоминания о Роберте Саути и Сэмюэле Колридже» (1848).

С. 181. *...что мистер Рузвельт называет «нацией»...*— Имеется в виду президент Теодор Рузвельт (1858—1919). В своих многочисленных речах, статьях, эссе Т. Рузвельт не раз призывал американцев укреплять чувство единства штатов и авторитет федеральных властей и утверждал вопреки «прогрессистам» (то есть социалистам), что в США не может быть общественной розни, что «нация»—единое целое. В то же время в одной из предвыборных речей обрушивался на «злодеев-толстосумов».

С. 182. *«Суть железнодорожной проблемы» Парсона, «Позор городов» Стеффенса, «Бешеные деньги» Лоусона, «История Стандарт Ойл» мисс Тарбелл, «Индустриальная проблема» Эббота... «Богатство против благосостояния» Ллойда.*— Уэллс называет разоблачительные работы американ-

ских публицистов, т. н. «разгребателей грязи», обличавших социальные контрасты Америки, вступившей в эпоху империализма. Наиболее известны и влиятельны были Линкольн Стеффенс (1866—1936), Айда Тарбелл (1857—1944) и Генри Демарест Ллойд (1851—1889), который в работе «Богатство против благосостояния» (1884) нарисовал яркую картину того, как финансовые магнаты прибирают к рукам правительство, церковь, сферу образования и культуры. Это произведение публициста Г. Д. Ллойда, по общему мнению, отличалось высокими художественными достоинствами.

С. 182. «Манассас» (1904), «Джунгли» (1906)— романы известного американского писателя Эптона Синклера (1878—1968).

ДЖОН ГОЛСУОРСИ (1867—1933)

Английский писатель, новеллист, драматург, эссеист. Лауреат Нобелевской премии (1932). Виднейший представитель английского социально-критического реализма XX в. Глубокий знаток литературы, в том числе русской (творчество Толстого, Тургенева), и искусства. Одним из первых среди писателей XX в. (наряду с Т. Драйзером, Р. Ларднером, С. Льюисом) поднимает важную тему нового столетия—противоречие между материальным благосостоянием буржуа и его духовной нищетой. Вершина творчества Дж. Голсуорси—его две трилогии: «Сага о Форсайтах» («Собственник», 1906, «В петле», 1920, «Сдается в наем», 1921) и «Современная комедия» («Белая обезьяна», 1924, «Серебряная ложка», 1926, «Лебединая песня» 1928).

Голсуорси дважды побывал в Америке (1909, 1919), где выступал с речами и лекциями. Тексты, публикуемые в сборнике, взяты из книги «Речи в Америке» (1919) и печатаются с некоторыми сокращениями.

С. 184. Лоуэлл Джеймс Рассел (1819—1891)—американский поэт, ученый, лингвист, редактор, литературный критик, издатель газеты «Национальное антирабовладельческое знамя» и журнала «Атлантик». Профессор кафедры современных языков в Гарварде, посланник США в Испании (1877) и в Англии (1880—1885). Автор сатирической поэмы «Записки Биглоу» (1848 и 1867), в которой с позиции здравомыслящего янки порицал рабовладельческие порядки на Юге и другие социальные пороки, «Притчи для критиков» и знаменитой «Оды живым и павшим солдатам, студентам Гарвардского университета» (1867). Входил в «триумvirат» новоанглийских поэтов наряду с Г. У. Лонгфелло и О. У. Холмсом. При всем бесспорном американском патриотизме глубоко почитал и популяризировал европейскую культуру, этническую и культурную связь с Англией, что отмечает и Дж. Голсуорси. Лоуэлл первым из современников отметил «величие А. Линкольна», выражал тревогу по поводу «катящейся вниз» американской демократии. Оказал огромное влияние на развитие американской литературы как критик. Потомками Д. Р. Лоуэлла были поэтесса Эми Лоуэлл (1874—1925), основательница поэтического кружка имажистов, и выдающийся американский поэт, наш современник Роберт Лоуэлл (1917—1977), противник войны во Вьетнаме и сторонник гражданского равноправия.

Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882)—американский писатель, мыслитель, философ. Глава философско-литературного направления трансцен-

дентализма. В эссе «Природа» (1836) изложил свое учение о природе как «сверхдуше», воплощении божественного начала и человеке — связующем звене между богом и природой. Теоретик этического «героического индивидуализма». В знаменитом очерке «Доверие к себе» (1841) утверждал идеал нравственного самосовершенствования человека, свободного от буржуазного делячества. Вместе с тем принцип «героического индивидуализма» содержал в себе не только тенденцию, критическую по отношению к буржуазной цивилизации, но и возвеличивающую суверенитет «автономной» личности, которая всегда противопоставляет себя обществу как таковому.

Лонгфелло Генри Уодсворт (1807—1882) — американский поэт, прозаик, публицист. Противник рабовладения, войн, межнациональной вражды и антагонизмов. Просветитель и страстный поклонник европейской культуры. «Старый свет,— писал он,— это почти святая земля». С большим интересом изучал историческое прошлое Америки времен революции: «Сватовство Майлза Стендиша» (1858), сборник новелл «Рассказы придорожной гостиницы» (1863), индейский фольклор — «Песнь о Гайавате» (1855).

Уиттьер Джон Грилиф (1807—1892) — американский поэт, публицист. Видный аболиционист. Знакомство с поэзией Р. Бёрнса сказалось в его первом, довольно подражательном поэтическом сборнике «Легенды Новой Англии». Наиболее значителен цикл стихотворений «Песни труда» (1850), в котором Уиттьер восславил фермеров, корабелов, лесорубов. Автор многочисленных антирабовладельческих стихов, отмеченных высокой гражданственностью, например «Послания Массачусетса Виргинии» (1843), вошедших в сборник «Голоса свободы» (1846). Уиттьер писал также прозу на исторические темы: «Страницы из дневника Маргарет Смит» (1849) и др.

Мотли Джон Лотроп (1814—1877) — один из трех наиболее известных американских историков XIX в., наряду с У. Х. Прескоттом и Ф. Паркменом. Был на дипломатической службе в России. Первое исследование на исторические темы — историко-литературный очерк царствования Петра I. Создатель фундаментальных трудов по истории Голландии: «Возвышение Голландской республики» (1856), «История Нидерландской республики по смерти Вильгельма Молчаливого до Синода в Дорте» (1860—1861), «Жизнь и казнь Яна Олденбарневелта, защитника Голландии» (1874).

Холмс Оливер Уэнделл (1809—1894) — американский поэт и писатель, эссеист, врач, профессор анатомии Гарвардского медицинского института (1847—1882), член Бостонского писательского кружка. Автор нескольких поэтических сборников, романов «Элси Вернер» (1861), «Ангел-хранитель» (1867), «Смертельная антипатия» (1885), в которых подверг сатирическому осмеянию кальвинистскую догму предопределения.

С. 189. *Менять образ жизни других людей — это, конечно, прекрасно.* — Голсуорси явно иронизирует по поводу империалистической и колониальной, «цивилизаторской» миссии и политики Англии в колониях и США — на Филиппинах, Гавайях и в Южной Америке.

С. 190. *Демократия все больше подменяется понятием «современная цивилизация».* — Голсуорси не раз выражал несогласие с той точкой зрения, которую отстаивал, например, Г. Дж. Уэллс, что научно-

технический прогресс — неперенное условие демократизации буржуазных институтов страны на ее пути к высшему типу государственности.

С. 191. ...с той особенной суховатой иронией, что была свойственна великому Линкольну.— Американский президент Авраам Линкольн (1809—1865), 16-й президент США (1861—1865), чье имя неразрывно связано с борьбой против рабовладения и стало символом демократических традиций американского народа, был замечательным оратором. Особую известность получили его речи «Дом распавшийся и воссозданный» (1858), «Геттисбергская речь» (1863) и «Речь при втором вступлении в должность президента». Им свойственны выразительность, неопровержимость аргументации, эмоциональный пафос («Настал час, когда я понял, что рабство должно умереть, чтобы нация могла жить»), ироничность.

ДЭЙВИД ГЕРБЕРТ ЛОРЕНС (1885—1930)

Английский писатель, поэт, литературный критик. Наиболее известны его романы: «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1920), «Любовник леди Чаттерлей» (1928). Оказал большое влияние на психологию творчества, «натурфилософию» и этику современного англо-американского романа сложным сочетанием социально-биологического подхода к общественным и моральным проблемам. В частности, воплотил в художественной практике одно из кардинальных положений фрейдизма о превалировании биологического начала над общественными потребностями личности. Защита полноценной естественной жизни людей, «детей природы», сочетается у Лоренса с протестом против пороков машинной, буржуазной цивилизации, ее морали и этики, извращающих «истинную» природу. Отсюда и яростная критика буржуазной стандартизации духа, усредненности, обыденности, прозаизма мышления, занятого умножением материальных ценностей. Это кредо материального, буржуазного трезвомыслия, отрицания здоровых, естественных радостей жизни он усматривал и в социальной этике и практике Бенджамина Франклина. Дж. Г. Лоренс остроумно, но не в ладах с принципами исторической справедливости характеризует ученого, просветителя-материалиста XVIII в., одного из деятелей американской буржуазной революции лишь как пророка и предтечу буржуазных практицизма и целесообразности.

Несколько лет прожил в США. Питал большой интерес к американской культуре, результатом чего явились его «Очерки классической американской литературы» (1923), откуда взяты первая глава и глава о Франклине (печатаются с сокращениями).

С. 200. *Автором этих заметок был Бедный Ричард...*— Ричард Сондерс — вымышленное лицо, от имени которого Б. Франклин публиковал ежегодные «Альманахи Бедного Ричарда» (1732—1757), в которых излагал свои наблюдения над природой и размышления о жизни, цитируя Рабле и Ларошфуко, Драйдена и Свифта. Предисловие к «Альманаху» за 1757 г. приобрело широкую известность и неоднократно публиковалось под названием «Путь к изобилию». Впоследствии сентенции Франклина об умеренности, бережливости и трудолюбии как пути к благосостоянию стали считаться его жизненным кредо.

Английский писатель и эссеист, внук биолога и философа Томаса Генри Хаксли (Гексли, 1825—1895), сподвижника Ч. Дарвина, члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Видным ученым-исследователем был другой внук Томаса— Джулиан Хаксли (брат Олдоса), один из создателей современной синтетической теории эволюции.

О. Хаксли—представитель интеллектуально-философского английского романа XX в.: «Желтый Кром» (1921), «Шутовской хоровод» (1923), «Контрапункт» (1928), социально-политической антиутопии «Прекрасный новый мир» (1932)—о власти стандартизации в технократическом обществе будущего. Разочарование в современной буржуазной цивилизации приводит О. Хаксли к неверию в социальный прогресс как таковой и религиозному обращению (роман «Остров», 1962). В сборнике публикуются отрывки из книги «Смеющийся Пилат» (1926).

С. 206. *Таким образом Бэббит может быть по совести убежден...*—Джордж Ф. Бэббит—герой романа Синклера Льюиса «Бэббит» (1922), ставший символом буржуазного американского мещанства с его культом общепринятости, стереотипного, шаблонного мышления, принимающего любой вид деятельности, лишь бы он приносил деньги.

С. 207. *В Тенесси и других отдаленных районах уже начался крестовый поход против них.*—Имеется в виду получивший скандальную славу т. н. «Обезьяний процесс» (1925), учиненный религиозными властями американского штата Тенесси над школьным учителем Д. Скопсом, знакомившим учеников с эволюционной теорией Ч. Дарвина. Д. Скопс был приговорен к денежному штрафу.

С. 210. *...Книготорговцы не держат Юргена* Кэбелла.—Кэбелл Джеймс Брэнч (1879—1956)—американский прозаик, критик и поэт. Наиболее значительный его фантастический роман «Юрген» (1919) получил широкую известность благодаря образу главного героя, эпикурейца, эгоиста и скептика. Как новоявленный Фауст, Юрген заключает сделку с потусторонними силами и возвращает себе юность. В поисках «справедливости и истины» он совершает путешествие во времени (встречая исторических персонажей, мифических героев и героинь). Откровенная трактовка любовных отношений в романе привела к его запрещению цензурой.

С. 211. *...Драйден, защищая театр времен Реставрации от нападок Джереми Колльера...*—Колльер Джереми (1650—1726), священник-нонконформист, ополчился на современную ему драму эпохи Реставрации, пьесы Конгрива, Уичерли, Бомонта и Флетчера в «Кратком обзоре безнравственности и непотребства на английской сцене» (1698).

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ (1894—1984)

Английский писатель, драматург, публицист, литературный критик. В 30-е годы руководил постановкой собственных пьес и сам играл в них. Творческий путь начал с литературно-критических работ. Первый роман, «Добрые товарищи» (1929), юмористическим колоритом напоми-

нает «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. Второй, «Улица Ангела» (1931), реалистически воссоздает жизнь «маленьких людей» времен экономической депрессии конца 20-х годов. Большую популярность приобрели его пьесы «Опасный поворот» (1932), «Ракитовая аллея» (1933), «Время и семья Конвей» (1937) — комедии характеров, имеющие, как правило, трагический подтекст. Реалистический метод Пристли — писателя и драматурга — развивался в духе сатирической традиции, идущей от Г. Филдинга.

Во время войны Пристли был политическим радиокомментатором, в своих передачах выражавшим уверенность в победе над фашизмом. Эта же уверенность свойственна его романам «Затемнение в Грэтли» (1942) и «Дневной свет в субботу» (1943). Вместе с тем общественно-политические взгляды Пристли отличались непоследовательностью и эклектизмом: от идей лейбористского реформизма и сочувствия социализму он иногда переходил к консервативным идеям и настроениям. Однако Пристли всегда был демократом, искренне озабоченным будущим Англии; этой теме посвящены его романы и историко-документальная проза 60—70-х годов.

В 1946 г. Пристли опубликовал книгу «Тайная мечта», состоявшую из трех частей: «Англия и свобода», «Америка и равенство», «Россия и братство». В сборнике публикуется эссе «Америка и равенство».

С. 214. *Бене* Стивен Винсент (1898—1943) — американский поэт, новеллист, публицист. Автор известного стихотворения «Тело Джона Брауна» (1928), получившего Пулитцеровскую премию, как и опубликованное посмертно стихотворение «Вечерняя звезда» (1945). Бене является также автором текста одноактной оперетты «Всадник без головы» (1937), пьесы «Дьявол и Дэниел Уэбстер» (1939) и нескольких работ историко-патриотического содержания: «Слушая народ» (1941), «Америка» (1944) и др.

С. 219. ...*В сердцеvine американской Мечты лежит именно этот символ — возвращение домой человека...* — Пристли говорит об особом аспекте сложного идейно-политического конгломерата «американская мечта», который был связан с патриархальной, идущей от Томаса Джефферсона концепцией американского идеала: свободный фермер, живущий трудом своих рук, на своей земле, «дома». Интересно сравнить это утверждение Пристли с известным высказыванием Э. Хемингуэя в «Зеленых холмах Африки», где он писал о вырождении американской Мечты, о хищнической и равнодушной к человеку «машинной» цивилизации, превратившей «черт знает во что когда-то хорошую страну». В то же время Хемингуэй утверждает, что в Америку «всегда можно вернуться обратно». С другой стороны, этому высказыванию Хемингуэя словно бы противоречит и название, и содержание романа Т. Вулфа «Домой возврата нет».

С. 222. «*Бэббит*» — великолепный образец этого рода литературы. — В данном случае Пристли имеет в виду социально-критическую американскую литературу, произведения Т. Драйзера, С. Льюиса, У. Кэсер, Э. Глазгоу, С. Фицджеральда и других реалистов 20—30-х годов.

С. 223. ...*источающие яд и горечь рассказы популярного юмориста Ринга Ларднера.* — Ларднер Ринголд Уилмер (1885—1933) — американский но-

веллист-сатирик, изобличавший моральную деградацию человека как следствие своекорыстия, равнодушия, индивидуализма. По словам известного американского литературоведа и критика Максвелла Гайсмара, Ларднер «раньше, чем С. Льюис, открыл и осмелел тип современного ему буржуа, духовно ничтожного «бэббита»...» (сборники новелл «Как писать рассказы. Образцы прилагаются», 1924, «Гнездышко любви», 1926, «Закругляясь», 1929). Судьба Ларднера трагична, он сам был жертвой коммерческого «успеха», который подвергал сатирическому осмеянию: «Впрочем, это можно сказать о любом американском писателе» (Ш. Андерсон). Примечательна судьба сыновей Р. Ларднера: один из них стал в 1936 г. бойцом Интернациональной бригады и погиб в Испании, другой, писатель Ринг Ларднер-младший, автор сатирического романа «Исступление Оуэна Мьюира» (1954), входивший в «голли-вудскую десятку», был обвинен в антиамериканской деятельности в эпоху маккартистской «охоты на ведьм».

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН (1912—1981)

Английская писательница, представительница реалистической традиции английских сатириков и юмористов. Характерна в этом отношении своеобразная трилогия ее романов: «Невероятный Скиптон» (1959), «Ночь, молчание, кто там?» (1963), «На улице Корк, рядом с магазином шляп» (1965). Автор социально-психологических романов «Кристина» (1954), «Хороший слушатель» (1975). Долго работала на радио. Известна как литературный критик. Вместе с мужем, Ч. П. Сноу, неоднократно бывала с дружественными визитами в нашей стране. Питала пристальный интерес к литературе и культуре США. В книге публикуется глава из ее монографии «Голодный Гулливер» (1948), посвященной Томасу Вулфу, и отрывки из книги очерков «Важно для меня» (1974).

В названии «Голодный Гулливер» содержится литературная аллюзия на один из эпизодов знаменитой книги Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». Лилипуты, стремясь избавиться от Гулливера, решают умиротить его голодом. Есть намек и на «духовный голод» Т. Вулфа, не понятого современниками, и на реальные обстоятельства биографии писателя, которому приходилось голодать в годы интенсивного литературного труда, пришедшиеся на время «великой депрессии» конца 20-х — начала 30-х годов.

С. 227. *Юджин Гант*—герой романа Т. Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел» (1929).

Джордж Уэббер—главное действующее лицо посмертно изданных романов Т. Вулфа «Паутина и скала» (1939) и «Домой возврата нет» (1940).

...впервые в жизни чувствует себя «найденным».—Литературная аллюзия: первоначальное название романа «Взгляни на дом свой, ангел»—«О, затерянный».

Миллер Генри (1891—1980)—американский писатель. Долго жил в Париже, где издавал журнал «Феникс». В 1940 г. вернулся в США. Автор трилогии «Тропик Рака» (1931), «Тропик Козерога» (1939), «Черная весна» (1963) и цикла романов: «Благостное распятие» (1949), «Сексус» (1957), «Плексус» (1959), «Нексус» (1960), которые были запрещены по цензурным соображениям.

Шпенглер Освальд (1880—1936)— немецкий философ-идеалист, разделявший идеи исторического релятивизма, в частности представления о гибнущей цивилизации Запада, прошедшей свой «жизненный цикл», выразившиеся в его главном произведении «Закат Европы» (1918—1922).

С. 231. *Перкинс* Максвелл (1884—1947)— редактор издательства «Скрибнерс», обрабатывавший тысячи страниц вулфовского машинописного текста и придававший им романную форму. После смерти писателя Перкинс и редактор издательства «Харпер» Эсуэлл из «миллиона слов» вулфовского рукописного наследия «выкроили», по выражению американской критики, соединив разрозненные фрагменты и эпизоды, романы «Паутина и скала» и «Домой возврата нет».

С. 232. ...далеко от идей Оксфордской группы.— В т. н. Оксфордскую группу входили английские поэты У. Х. Оден, С. Дэй-Льюис и др.

Она имеет мало общего с Бэньямом, скорее, она ближе Блейку.— Бэньян Джон (Баньян, 1628—1688)— английский писатель-пуританин и проповедник. После реставрации католицизма как государственной религии Англии был заключен в тюрьму, где написал знаменитую книгу «Путь паломника» (полное название— «Путь паломника из здешнего мира в грядущий», 1678). В форме аллегорической притчи здесь повествуется о Христианине, который попадает в Город Тщеславия, где шумит суетная Ярмарка Тщеславия (аллегория использовал для названия своего знаменитого романа У. Теккерей). Достигнув реки, на противоположном берегу которой высится Небесный Иерусалим, Христианин «совлекает» с себя «одежды» (бренное земное существование) и, переправившись «через реку» (см. название одного из романов Дж. Голсуорси), вступает в «царство божие».

Д. Бэньян был религиозным писателем, отвергавшим «земное» во имя «небесного», и этим его философия жизни отличалась от мировоззрения великого английского поэта и художника Уильяма Блейка (1757—1827), который, получив пуританское воспитание, тем не менее в творчестве своем сохранял любовь ко всему земному («Бракосочетание Неба и Ада», «Песнь Свободы», 1790).

С. 239. «Хэппенинг» (happening, англ.— «событие», «происшествие», «случай») — вид театрализованного представления, создатели которого стремятся разрушить границу между искусством и действительностью, в частности приемом «единения» сцены и зрительного зала, когда зрители внезапно становятся участниками зрелищного «действия».

КЕННЕТ ТАЙНЕН (1927—1980)

Английский литератор, театральный и кинокритик. До 1963 г. вел специальную рубрику в газете «Обсервер». С 1963 по 1973 г. литературный руководитель Национального театра Великобритании. Автор книг и сборников рецензий: «Тот, кто играет короля» (1950), «Persona Grata» (1953), «Алек Гиннесс» (1954), «Бычьих лихорадка» (1955), «Занавес» (1961), из которой взята публикуемая статья, написанная К. Тайненом во время поездки в США (1960), где он бывал неоднократно, «Carte Blanche» (1975).

Характеризуя состояние послевоенной американской драматургии, К. Тайнен отмечает, что в конце 50-х годов она, подобно прозе и поэзии, преимущественно обращается к изображению самодовлеющего «я», прибегая для этого к экспрессионистским и сюрреалистским приемам, которые якобы яснее выражают «истину», чем «штампы» реалистического искусства. Имея в виду абсурдистскую драму С. Беккета, Ж. Жене, Э. Ионеско, Тайнен относит к тому же направлению пьесы Э. Олби «Случай в зоопарке» (1958) и Дж. Гелбера «Связной» (1958).

С. 244. *Триллинг* Лайонел (1905—1975)—американский литературовед и критик. В его книге «Фрейд и кризис нашей культуры» (1959) особо подчеркивалась связь метода психоанализа с законами творческого воображения, в силу чего эстетические категории вымысла и реального, характера и отношения человека к действительности «подкреплялись» теорией врожденных и «неизменных» инстинктов. В 50-е годы был близок к консервативному направлению в американском литературоведении, т. н. «новой критике».

Оден Уистен Хью (1907—1973)—английский поэт. Родился в Англии. Участвовал в гражданской войне в Испании. В 1946 г. принял американское подданство. В послевоенные годы читал в Европе лекции о поэтическом мастерстве. Сборники стихотворений: «До поры, до времени» (1944), «Век тревоги» (1947), получивший Пулитцеровскую премию, «Щит Ахилла» (1956), «Дань признательности Клио» (1961), «По дому» (1967), «Послание крестнику» (1972).

Барзун Жак (р. 1907)—американский писатель французского происхождения, преподаватель Кембриджского (США) университета, социолог, философ, культуролог. Автор работ «О человеческих предрассудках» (1937), «Дарвин, Маркс, Вагнер» (1941), известен трудами по проблемам романтизма.

С. 247. ...*О Нормане Мейлере и философии хипстеризма...*—Норман Мейлер (р. 1923) в своем эссе «Белый негр» (1969) создал образ новоявленного американского «Адама», хипстера, современной «модели» «естественного человека», отрицавшего гражданственность, провозгласившего законом бытия бездумный гедонизм. Хипстеризм дополнялся конформизмом, «зашнурованностью сознания» некоторой части молодежи конца 50-х—начала 60-х годов.

С. 248. *Кодуэлл Кристофер* (псевдоним Кристофера Спригга, 1907—1937)—английский философ, критик-марксист. Автор книги «Иллюзия и действительность» (1937, русский перевод: М., «Прогресс», 1969). К. Кодуэлл погиб в Испании, сражаясь на стороне Республики.

ЭЛИСТЕР КУК (р. 1908)

Английский журналист, публицист, радио- и телеобозреватель. Долго работал в США, автор книг, статей, эссе по социально-политическим и культурно-историческим проблемам США, в частности сборника радиорепортажей «Беседы об Америке» (1968), из которого публикуются эссе о Фросте и отрывок из политической статьи о Вьетнаме.

С. 249. *Фрост Роберт* (1875—1963)—американский поэт. Был фабричным рабочим, школьным учителем, сапожником, редактировал газету. Начал печататься в 1894 г., но к 1912 г., когда он уехал в Англию, ему удалось опубликовать только 14 стихотворений. Известность Фроста «нашла» в Англии, где он сблизился с Л. Аберкромби, У. Гибсоном и Э. Томасом, поэтами-«георгианцами» (то есть эпохи Георга V, ставшего королем в 1910 г.), писавшими, как и Р. Фрост, о гибели прежнего, патриархального, «цельного» мира сельской жизни под натиском буржуазной цивилизации. Видный английский критик Эдвард Гарнетт, состоявший в дружбе с Дж. Конрадом, Г. Уэллсом и Дж. Голсуорси, высоко оценивая сборник «К северу от Бостона» (1914), писал: «Было бы поистине странно, если бы американцы... с таким радушием открывающие объятия... Рабиндранату Тагору и преклоняющиеся перед его возвышенными стихами о бенгальской жизни, просмотрели бы своего собственного поэта-соотечественника». Советскому читателю хорошо известен поэтический сборник Р. Фроста «На вырубке» (1962). В последние годы жизни Фрост приобщается к политической деятельности. В частности, с миссией доброй воли в 1961 г. он побывал в СССР.

С. 250. *Джеймс Уильям* (1842—1910)—американский философ, брат писателя Генри Джеймса. Основные произведения: «Воля к вере» (1897), «Прагматизм» (1912). Противник детерминизма, утверждал, что истинность идеи проверяется личной практикой человека, его величайшим «экспериментом», которым является жизнь, поэтому идея, «истинная» для данной личности, не обязательно истинна для других индивидуумов. В позднейших философских работах еще полнее развил идеи прагматизма. В «Основах психологии» (1890) делал акцент на функциональной концепции разума как инструмента приспособления индивидуума к окружающей среде—идея, легшая в основу современной американской педагогики.

С. 251. ...«новой» поэзии Чикагской школы...—Чикагская школа—группа поэтов, представителей литературного радикализма 10-х годов, объединившихся на «платформе» журнала «Поэтри», начавшего выходить в Чикаго с октября 1912 г. Инициатором его издания была Гарриет Монро, считавшая традиционные поэтические формы исчерпанными, что, в частности, утверждалось и в программном стихотворении Э. Сент-Миллэй «Возрождение». В группу чикагских поэтов входили Э. Паунд, глава имажистов, Н. В. Линдзи, У. Р. Бене. Здесь печатались английские поэты Р. Олдингтон и У. Б. Йейтс, дебютировали У. Стивенс, Э. Л. Мастерс, Т. С. Элиот, К. Сэндберг.

...увидели Сэндберга Новой Англии.—Карл Сэндберг (1878—1967)—американский поэт, ставший в 20—30-е годы выразителем наиболее радикальных и демократических традиций американской поэзии: сборник «Да, народ» (1936). Автор шести поэтических сборников, многотомной биографии А. Линкольна, певец человека—творца и созидателя. Наиболее яркий продолжатель уитменовской традиции в американской поэзии.

Называя Фроста «Сэндбергом Новой Англии», Э. Кук стремится подчеркнуть демократические традиции его поэзии.

Английский писатель, критик, литературовед. Автор историко-литературных исследований: «Английский роман» (1954), «Традиция и мечта» (1966), «Беспокойный Запад» (1969).

Исследовательские работы У. Аллена характеризуются глубиной анализа, объективностью тона, вниманием к стилистическим достоинствам литературного произведения. В своих оценках английской литературы и литературы США XX в. У. Аллен неизменно ориентируется на высшие достижения социально-критической прозы нашего столетия, рассматривает движение западного романа с позиций сторонника реалистической эстетики, демократических традиций. В сборнике публикуются: авторское предисловие У. Аллена к книге «Традиция и мечта» (1966) и отрывок из второй ее части («Мечта»), посвященный творчеству Т. Драйзера.

С. 259. *Джеймс Генри* (1843 — 1916) — англо-американский писатель, с 1875 г. обосновавшийся в Англии и принявший в 1915 г. английское подданство. Мастер глубокого психологического анализа. Автор романов «Родерик Хадсон» (1876), «Американцы» (1877), «Женский портрет» (1881), «Бостонцы» (1886) и многих других романов и повестей, а также литературно-критических работ, путевых заметок. В творчестве Г. Джеймса соединились традиция европейского реалистического романа и достижения американской литературы XIX в. Основные темы творчества: конфликт художника и общества, противостояние человеческих ценностей лицемерным буржуазным условностям. Творческому методу Г. Джеймса были свойственны экспериментальный поиск, углубленная работа над стилем, иногда становящимся особенно усложненным. Проза Г. Джеймса оказала глубокое воздействие на англо-американскую литературу XX в. Его влияние испытали Дж. Конрад и Э. Уортон, представительницы психологической школы Вирджиния Вульф и Дороти Ричардсон, а также У. Фолкнер и Грэм Грин.

С. 261. *Хоуэллс Уильям Дин* (1837 — 1920) — американский писатель, сыгравший большую роль в развитии социально-критического реализма в США, затронувший в своих произведениях многие, ставшие традиционными, морально-этические проблемы: нравственные потери как цена буржуазного успеха и т. п. Считал главным эстетическим принципом «правдивое отображение обыденного бытия». Длительное время был главным редактором журнала «Атлантик», на посту которого неизменно отстаивал необходимость отображения «реальной жизни». Автор быто-нравоописательной прозы, как правило, разрабатывавшей тему положения женщины в семье и обществе: «Случайное знакомство» (1873), «Неведомая страна» (1880), «Современная история» (1882). Наиболее значителен его социально-психологический роман «Возвышение Сайлеса Лафэма» (1885). У. Д. Хоуэллс выступал как критик (сборник литературно-критических статей «Критика и проза», 1891). В 1888 г. выступил в защиту «чикагских анархистов» — руководителей демонстрации рабочих, расстрелянной на Хеймаркетской площади. Под влиянием социалистических идей Э. Беллами и У. Морриса создал утопические романы «Путешественник из Альтрурии» (1894) и «Сквозь игольное ушко» (1907), где восславил демократический идеал «истинного равенства».

Мамфорд Льюис (р. 1895)—американский историк, социолог. Автор многих работ по социально-политическим и культурологическим проблемам американского общества.

Кревкер Жан (1735—1813) (Гектор Сент-Джон Кревкер)—американский писатель-публицист. Родился во Франции. Принял американское подданство. Разочаровавшись в американской политике, вернулся во Францию. Вновь приехал в Америку в качестве французского консула. Здесь узнал, что его жена погибла, а дети исчезли после индейского набега. Разбитый горем, возвратился во Францию, где и умер. Его главные произведения: «Письма американского фермера» (1782) и «Зарисовки Америки XVIII столетия» (опубликованы в 1925 г.).

С. 266. ...*Ярость многих американских «радикальных романов»*...—Говоря о традиции «радикальных романов», У. Аллен имеет в виду социально-критическую традицию американского реализма, начало которой, по его мнению, положил Фрэнк Норрис (1870—1902) своей трилогией «Эпос пшеницы». Логичнее было бы вести начало этой разоблачительной традиции от сатирического романа Дж. Ф. Купера «Моникины», романа «Моби Дик» Г. Мелвилла, антимилитаристского «Алого знака доблести» С. Крейна.

Драйзер Теодор (Герман, Альберт) (1872—1945)—американский писатель, крупнейший реалист 20—30-х годов, оказавший мощное влияние на развитие социально-критической прозы США. В 1945 г., незадолго до смерти, вступил в Компартию США. На творчество Драйзера (как и на Дж. Лондона и Э. Синклера) большое идейное воздействие оказал английский философ-позитивист Герберт Спенсер (1820—1903), что сказалось в т. н. «Трилогии желания» Драйзера: романах «Финансист» (1912), «Титан» (1914), «Стоик» (1917). В романе «Американская трагедия» (1925) Драйзер подвергает жесточайшему анализу кредо непреложности и закономерности американского успеха. Величайшее достижение Драйзера—художника и мыслителя—нелицеприятный суд над современной капиталистической действительностью как несоответствующей демократической мечте о создании на земле Америки справедливого общества «счастливых, свободных и равных». Именно эту характерную черту «Американской трагедии» отмечает и У. Аллен.

С. 274. *Уортон* Эдит (1862—1937), *Глазгоу* Эллен (1873—1945), *Кэсер* Уилла (1876—1947)—три американские писательницы, которых связывает в своеобразную группу традиция обращения к прошлому Америки и художественного его осмысления в свете реальности XX в. Общим для их мировосприятия было негативное отношение к «новациям» капиталистического развития общества в конце XIX—начале нового столетия. Э. Уортон противопоставила «честную», деловую «аристократию» Нью-Йорка беспринципным выскочкам-нуворишам 80-х годов («каупервудовского» типа). Э. Глазгоу взяла на себя задачу развенчать миф особого, «патриархального» развития американского Юга; Кэсер рассматривает буржуазно-демократическое наследие в свете современных общественно-этических установлений, видя идеал в прежней, «пионерской», фермерской Америке.

Английский писатель, новеллист, драматург, публицист, литературный критик. Один из талантливых, сложных и противоречивых западных прозаиков. Г. Грину, человеку и писателю, свойствен глубокий гуманизм, тонкий психологизм, ненависть к искажающему личность воздействию антагонистической социальной среды. Вместе с тем творчество Г. Грина не чуждо настроений «вселенского» философского и политического пессимизма и скептицизма. В его романах нередко самовластно распоряжается слепой рок, а счастье и сама жизнь человека зависят от непредсказуемых случайностей личной судьбы.

Г. Грин — автор многих социально-политических романов, в частности: «Власть и слава» (1940), «Суть дела» (1948), «Тихий американец» (1955), «Наш человек в Гаване» (1958), «Ценой потери» (1961), «Комедианты» (1966), «Почетный консул» (1973), «Фактор человеческий» (1978), «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1981).

Статья об американском историке Ф. Паркмене взята из книги «Утраченное детство и другие эссе» (1951) и дается с сокращениями. Публикуются также отрывки из интервью и бесед.

С. 275. *Паркмен* Фрэнсис (1823—1893)—видный, наряду с Прескоттом и Мотли, историк США XIX в. По сравнению с трудами Мотли произведения Ф. Паркмена отличаются большим историзмом. Г. Грина, очевидно, привлекла в работах Паркмена («По тропам Орегона», 1849, «Франция и Англия в Северной Америке») тщательно выверенная фактология, стремление «помогаться истины» и отвращение к «риторическим фигурам, которыми так любят себя убаживать писатели-ремесленники» (Паркмен).

С. 283. ...закончил новую книгу «Воспоминания о Торрихосе»...— Более точное название книги— «Мое знакомство с генералом: история сопричастия» (Getting to Know the General. The Story of an Involvement. London, 1984, Bodley Head).

Торрихос Омар—видный политический деятель Панамы, погибший при невыясненных обстоятельствах (подозревается злое участие ЦРУ). Для Г. Грина Торрихос был не только другом, но, очевидно, идеальной общественно-политической фигурой, человеком порядочным и достойным, несмотря на свойственные ему слабости и заблуждения.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (р. 1918)

Английский писатель, новеллист, публицист, литературный критик. Испытанный друг Советского Союза, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973), автор антифашистских романов «Морской орел» (1942), «Дело чести» (1944), романов на антиколониальную и антиимпериалистическую тему: «Дипломат» (1949. Золотая медаль мира, 1953), «Герои пустынных горизонтов» (1954), «Не хочу, чтобы он умирал» (1958), «Последний изгнанник» (1961), «Плененный чужой страной» (1962), «Опасная игра» (1966).

Дж. Олдридж— автор психологического, остросюжетного романа «Правдивая история Лилли Стюбек» («ИЛ», 1985, № 12), автор рассказов, эссе, статей.

В сборник включены предисловие Дж. Олдриджа к статье прогрессивного американского публициста Ли Голда о Джоне Риде, опубликованной в журнале «Иностранная литература» (1962, № 10), отрывок из книги «Поединок идей» (М., «Правда», 1964), эссе из журнала «Смена», № 1, 1982 г.

С. 288. *Сэлинджер* Джером Дэвид (р. 1919)—американский писатель. Произведения Сэлинджера принадлежат традиции критического реализма, выявляющей несоответствие современной американской действительности демократическому идеалу—американской Мечте, противоречие между материальным, научно-техническим прогрессом и духовным оскудением личности в буржуазном обществе. Неприятие окружающего мира сочетается у Сэлинджера с романтическими поисками прочных нравственных ценностей, на которых можно, по его словам, строить жизнь «красивую и мирную». Сэлинджеру близка сатирическая тенденция творчества Ринга У. Ларднера с его отрицанием своекорыстия, банальности и стандартизации американского образа жизни.

С. 290 ...*Сэлинджер определенно не любит... Сомерсета Моэма, сэра Лоуренса Оливье... Руперта Брука*.—Моэм Уильям Сомерсет (1874—1965)—английский писатель, драматург, новелист, эссеист. В лучших его произведениях, романах «Бремя страстей человеческих» (1915), «Луна и грош» (1919), «Сплошные прелести» (другой перевод—«Пироги и пиво», 1929), «Театр» (1937), многих рассказах запечатлена реалистическая картина жизни английского буржуазного общества с его эгоизмом и равнодушием к красоте, добру, подлинному искусству. Вместе с тем писатель не верил в возможность искоренения зла и несправедливости, что обусловило нарочито объективированную, отстраненную творческую манеру.

Стремление скрыть под маской бесстрастия живое чувство неприемлемо для Сэлинджера и его героя.

Оливье Лоуренс (р. 1907)—английский актер и режиссер. На сцене с 1922 г. С 1963 по 1973 г.—руководитель Национального театра. Прославленный исполнитель шекспировских ролей. Сыграл адмирала Нельсона в фильме «Леди Гамильтон» (вместе с Вивьен Ли). В 1947 г. возведен в рыцарское достоинство, что очень импонировало вкусу буржуазной публики, питающей пристрастие к хронике «великосветской» жизни в Англии.

Брук Руперт Чонер (1887—1915)—один из английских «окопных» поэтов, участников первой мировой войны. Умер от малярии и похоронен на греческом острове Скирос.

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ (р. 1900)

Английский писатель, критик, историк, драматург, поэт, переводчик. Член Компартии Великобритании с 1941 г. Автор социально-политических романов «Люди сорок восьмого года» (1948), «Весна, которую предали» (1953), «Маски и лица» (1963), романов на темы из античности: «Рим на продажу» (1934), «Последние дни Клеопатры» (1935) и др. Из стихов особо значительны «Второй фронт» (1944), «Три письма Николаю Тихонову» (1950). Дж. Линдсею принадлежит несколько трудов по истории английской литературы, эссе «Марксизм и современная наука» (1949).

Эссе публикуется по тексту: «ЛГ», 16 декабря 1981 г.

Одна из прогрессивных английских писательниц XX в., начало литературной деятельности относится к 1949 г. Публицистка, бывала в СССР. Результатом поездки явилась книга очерков «Деревенские дети» (М., «Прогресс», 1982, на англ. яз.). Участница III Международной встречи писателей в Софии (осень 1980 г.). Выступление Э. Смит проникнуто решимостью противостоять угрозе войны и идеей необходимости добрососедских отношений между народами.

Выступление Э. Смит на Встрече писателей публикуется по тексту журнала «Иностранная литература», 1981 г., № 3 (с сокращениями).

М. Тугушева

СОДЕРЖАНИЕ

В. Шестаков. Америка глазами англичан	3
Фрэнсис Тrollop. АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВЫ. Пер. И. Гуровой....	29
Гарриэт Мартино. АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. Пер. И. Гуровой	45
Чарльз Диккенс. АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ. Пер. Т. Кудрявцевой*	56
Энтони Тrollop. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Пер. И. Гуровой	95
Роберт Льюис Стивенсон. ЭМИГРАНТ-ЛЮБИТЕЛЬ. Пер. Н. Анастасьева	114
Роберт Льюис Стивенсон. ГЕНРИ ДЕЙВИД ТОРО. Пер. Э. Осиповой	125
Роберт Льюис Стивенсон. НЕПРИКРАШЕННЫЕ ЗАРИСОВКИ ЛЮДЕЙ И КНИГ. Пер. Э. Осиповой	151
Оскар Уайльд. КРАСОТА В ДОМЕ. Пер. И. Гуровой	154
Джозеф Редьярд Киплинг. ИНТЕРВЬЮ. ВЗЯТОЕ У МАРКА ТВЕНА. Пер. М. Тугушевой.....	161
Джозеф Редьярд Киплинг. О ПАРТИЯХ. Пер. М. Тугушевой	172
Герберт Джордж Уэллс. БУДУЩЕЕ АМЕРИКИ. Пер. Н. Анастасьева	176
Джон Голсуорси. В ДЕНЬ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛОУЭЛЛА. Пер. М. Тугушевой	184
Джон Голсуорси. РЕЧЬ В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Пер. М. Тугушевой.....	188
Дейвид Герберт Лоренс. ОЧЕРКИ КЛАССИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Пер. Н. Анастасьева	192
Олдос Хаксли. СМЕЮЩИЙСЯ ПИЛАТ. Пер. Н. Анастасьева	204
Джон Бойнтон Пристли. АМЕРИКА И РАВЕНСТВО. Пер. М. Тугушевой.....	213
Памела Хэнсфорд Джонсон. «ГОЛОДНЫЙ ГУЛЛИВЕР». Пер. Н. Анастасьева	227
Памела Хэнсфорд Джонсон. СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ. Пер. Н. Анастасьева	236
Памела Хэнсфорд Джонсон. ХЭППЕНИНГ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. Пер. Н. Анастасьева	239

Кеннет Тайнен. КУЛЬТУРЕ НЕМОЖЕТСЯ. Пер. М. Тугушевой	244
Элистер Кук. РОБЕРТ ФРОСТ. Пер. И. Гуровой	249
Элистер Кук. ВЬЕТНАМ. Пер. М. Тугушевой.....	255
Уолтер Аллен. ТРАДИЦИЯ И МЕЧТА. Пер. В. Харитонова и А. Мулярчика *.	259
Грэм Грин. ФРЭНСИС ПАРКМЕН. Пер. Н. Анастасьева	275
Грэм Грин. ПОСЛЕ УЖИНА С БОМБОЙ. Пер. Е. Стояновской	280
Грэм Грин. ЧЕРНЫЙ ЮМОР СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ.	283
Джеймс Олдридж. «ДЕЛО СТОИЛО ТОГО, ДЖЕК!» *	286
Джеймс Олдридж. ПОЕДИНОК ИДЕЙ *.	288
Джеймс Олдридж. СПРЯЧЬТЕ СПИЧКИ ОТ ГОСПОДИНА МИНИСТРА!	291
Джек Линдсей. У ТРЕТЬЕЙ ВОЙНЫ ИСТОРИКОВ НЕ БУ- ДЕТ	295
Эмма Смит. НА СТОРОНЕ ЖИЗНИ *.	297
Комментарии	303

Свобода угнетать... (Писатели Англии о США):

С 93 Худож. публицистика. Пер. с англ./Предисл.
В. П. Шестакова.— М.: Прогресс, 1986.— 336 с.

В книгу включены путевые заметки, литературные портреты, очерки английских писателей XIX—XX вв. Ч. Диккенса, Э. Тrollope, Дж. Голсуорси, Д. Б. Пристли, П. Х. Джонсон, Г. Грина и др. Люди разных политических взглядов и симпатий размышляют о политическом и социальном устройстве, культуре, быте и нравах США, о «философии жизни» страны, принявшей на себя миссию возжечь «факел свободы», резко критикуя при этом негативные стороны «демократии по-американски».

Рекомендуется широкому кругу читателей.

С $\frac{4703000000 - 399}{006(01) - 86}$ 93—86

ББК 63.3 (7США)

«СВОБОДА УГНЕТАТЬ»

Писатели Англии о США

ИБ № 14336

Редактор *А. Н. Панкова*

Художник *Б. В. Казаков*

Художественный редактор *В. А. Пузанков*

Технические редакторы *Ю. А. Веникеева,*
Л. Ф. Шкилевич

Корректоры *М. А. Таги-Заде, Н. И. Мороз*

Сдано в набор 26.09.85. Подписано в печать 25.03.86. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64. Уч.-изд. л. 18,12. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1736. Цена 1 р. Изд. № 39786.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано в Московской типографии № 11 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 113105, Нагатинская ул., д. 1.

ВЫХОДИТ В СВЕТ

МАУРЕР Г. Без работы. Устная история безработных: Пер. с англ.

Американский журналист Гарри Маурер проинтервьюировал более пятидесяти безработных в США, представителей разных социальных групп и профессий. В результате родилась книга, герои которой сами рассказывают о себе, как и почему потеряли они работу и что означает для них отсутствие работы с материальной, социальной и психологической точки зрения. Авторский голос искусно вплетен в ткань книги: направляя мысль собеседников, он подводит читателя к пониманию острейшей проблемы капиталистического мира в наши дни.

НЕДАВНО ВЫШЛА В СВЕТ

ВИДАЛ Г. 1876: Роман. Пер. с англ.

«1876» — вторая книга тетралогии американского писателя Гора Видала (р. 1925); первый роман, «Вице-президент Бэрр», вышел в издательстве «Прогресс» в 1977 году.

В новом историко-документальном романе о 100-летию США автор с присущей ему достоверностью и сарказмом запечатлел размах коррупции, поразившей США, рассказав о самых грязных в истории страны президентских выборах 1876 г.

« СВОБОДА УГНЕТАТЬ... »

